



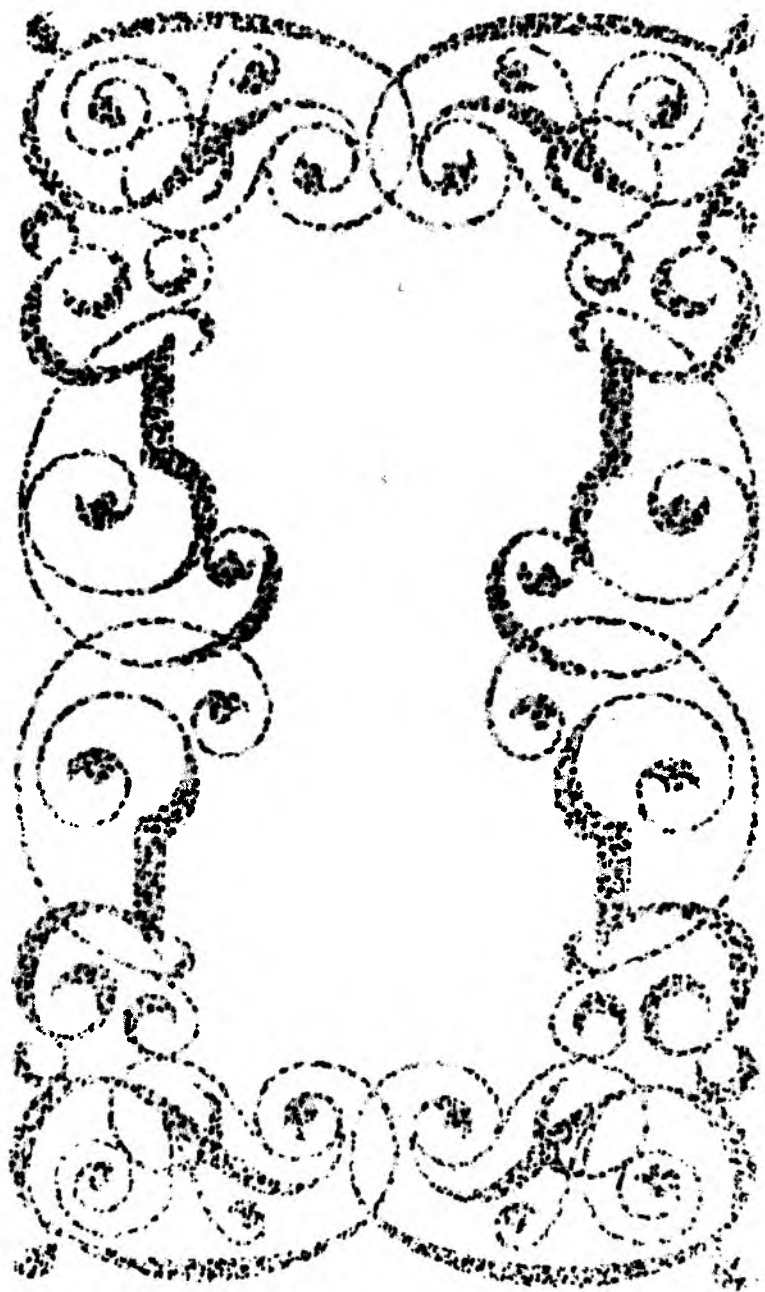
АНДРЕ
МОРҮА

ES

*Собрание сочинений
в шести томах*

1

ТОМ



АНДРЕ МОРҪА



АНДРЕ МОРУА



Собрание сочинений
в шести томах

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992

АНДРЕ МОРУА



Собрание сочинений
том первый

ТРИ ДЮМА
ЧАСТИ I-VII

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992

84.4 Фр
М 79

Переводы с французского

Составление
и общая редакция
Мориса Ваксмахера

Вступительная статья
Зои Киринозе и Владимира Пронина

4703010100 — 2706
М ————— 2706 — 92
080(02) — 92

ISBN 5—253—00560—9

© Ваксмахер М. Составление. 1992.
© Киринозе З., Пронин В.
Вступительная статья. 1992.

МАСТЕР БИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА

Старинное слово «мастер» как нельзя лучше подходит к Моруа. В эпоху всеобщего потребления, серийных, сделанных наскоро вещей, лишенных индивидуальности и рассчитанных на короткую жизнь, поддельных драгоценностей и шедевров искусства он принадлежит к тем, кто знает толк в ремесле и подобно члену средневекового цеха имеет свою марку.

Мастер — всегда профессионал. Он ценит себя и свои творения. Не стыдится назвать меру затраченного труда и сравнить свое создание с изделием, сработанным другим мастером. Не забывает тех, от кого усвоил секреты работы, и с гордостью говорит: я ученик такого-то. И у всякого мастера есть область, в которой он мнит себя первым.

У Андре Моруа это жанр биографии. В огромном наследии писателя, насчитывающем двести томов, включающем романы, новеллы, исторические труды, статьи и философские эссе, именно жизнеописания занимают главное место. Его романы-биографии издаются огромными тиражами, их переводят на многие языки и читают во всех странах. Уловив потребности времени, Моруа создал образец жанра, вторичного и по отношению к жизнеописанию, и к роману, но органически вошедшего в культуру современности, подобно тому, как вливались некогда в эпические сказания народные предания или ложились в стены христианских храмов камни языческих капищ. И XX век хорошо знает этот процесс роста и перестройки, приемлющий и прямые заимствования и цитирования и при всей неоднозначности оценки тоже являющийся частью современной культуры.

Не считая многочисленных литературных портретов, Моруа создал шестнадцать романов-жизнеописаний. Можно сказать, что он писал биографии всю жизнь. Самой популярностью роман жизнеописания в европейских литературах во многом обязан Моруа. Созданный им эталон использован затем в Германии, Франции, Чехословакии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки. В Советском Союзе отношение к биографиям Моруа было сложным. В двадцатые, начале тридцатых годов книги эти переводились, хотя и с оговоркой, что «интерес к интимной жизни знаменитого человека представляется нездоровым», что биография должна быть «прежде всего описанием социальных функций, выполненных им», и, наконец, что «гении не всегда бывают интересными людьми»¹. При таком подходе поток переводов из Моруа вскоре иссяк и появился вновь лишь в последние десятилетия, хотя и в 60—70-е годы у писателя обнаруживали «отголоски ложной романтики», упрекая его не столько за позицию, сколько за следование избранному жанру.

¹ Коган П. С. Предисловие / В кн.: А. Моруа. Карьера Дизраэли. М., 1934.

Впрочем, и на родине признание к Моруа приходило не сразу. Писатель вспоминает, что ему пришлось выдержать тяжелое сражение, завязавшееся вокруг биографии как жанра, и что он «обратился к этому замечательному жанру, которым во Франции пренебрегали, едва ли не по воле случая»: во время первой мировой войны прочел биографию Шелли и поразился сходством между внутренним конфликтом английского поэта и той ситуацией, которую приходилось переживать ему самому.

Ситуация эта проистекала из обстоятельств происхождения и первых лет жизни писателя, родившегося 26 июля 1885 года в небольшом нормандском городке Эльбеф близ Руана, в семье промышленников Эрзогов, давших сыну имя Эмиль. Его отец и мать были по происхождению эльзасцами. Когда в 1871 году в результате франко-прусской войны провинция отошла к Германии, родителям пришлось выбирать между французским и немецким подданством, «Они, естественно, предпочли Францию, и расставание с Эльзасом вылилось в своего рода эпопею. Вместе с четырьмя сотнями своих рабочих они пустились в путь и добрались пешком до Нормандии, там, в Эльбефе, городе, где, как они уже знали, были подходящие условия для производства сукна [...] они основали суконную фабрику. Дела пошли как нельзя лучше, и в 1885 году фабрика была уже обширной и процветающей, одной из первых во Франции в данной отрасли».

История порой завязывает замысловатые узлы. Незадолго до рождения Эмиля Эрзога Франция прощалась с патриархом литературы XIX века Виктором Гюго. В Англии пало министерство вигов во главе с Гладстоном, преемником которого стал Солсбери, сотрудник бывшего премьера Бенджамина Дизраэли. Пройдут годы, и мир будет зачитываться биографиями Дизраэли и Гюго, созданными уроженцем Эльбефа.

Отец Эмиля был пламенным патриотом, он так и не смог примириться с утратой родной земли. Мать будущего писателя отличалась высокой культурой. Любя литературу, она старалась передать это чувство и сыну. С детских лет он погрузился в безбрежный океан, называемый всемирной литературой. Помимо французских классиков, Эмиль изучал древних — Гомера, Вергилия, Овидия, Плутарха, восхищался титанами эпохи Возрождения, читал английских романтиков, преклонялся перед русскими писателями XIX века.

В 1897 году родители отдали Эмиля в Руанский лицей. Руан — бывшая столица Нормандии — один из стариннейших городов страны, известный еще со времени походов в Галлию Юлия Цезаря. Его название постоянно встречается во французских хрониках. В годы Столетней войны Руан стал местом постыдного процесса над Жанной д'Арк. На площади Старого Рынка 29 мая 1431 года она приняла мученическую смерть.

Руан оставил свой след и в истории отечественной культуры; величественные готические сооружения XIII—XV вв. обя-

зательно упоминаются во всех трудах о средневековой архитектуре, гордость Франции составляют уроженцы города — драматург П. Корнель, писатели Б. Ле Бовье де Фонтенель и Г. Флобер, художник Т. Жерико. В этом городе, овеянном историей и славой предков, предстояло учиться юному Эмилю Эрзогу. Не отсюда ли пристальный интерес Моруа к прошлому?

Позднее писатель с благодарностью вспоминал своих учителей из лицея. Но главное событие за годы учебы произошло в 1901 году. Сам писатель так рассказывал об этом: «Я перешел тогда в класс философии, нашим преподавателем стал Ален, звавшийся еще в ту пору Эмиль Шартье. Струя свежего воздуха ворвалась в мою жизнь. Я неожиданно встретил человека, который судил обо всем смело, самостоятельно, отмечая прописные истины, но не властителей дум. «Мысль, — говорил он, — зиждется только на мыслителях». Моя библиотека пополнилась Платоном, Декартом, Гегелем, Огюстом Контom. За ними пришли Стендаль, Бальзак, ибо Ален не сводил философию к профессиональным философам. Мудрость, знание жизни есть повсюду, говорил он. В Гомере, в Библии, в Евангелиях, в «Человеческой комедии» мудрости даже больше, чем в учебниках философии».

Девизом всей жизни Эмиля Эрзога — Андре Моруа стали слова Платона, которые Ален привел на первом же уроке: «Всеми силами души надо стремиться к истине».

Можно сказать, что будущему писателю двояко повезло: ему посчастливилось оказаться на важном историческом и географическом перекрестке, а также у него была возможность наследовать культуру благодаря своей семье и учителям. Став учеником Алена, Эмиль получил премию по философии на общенациональном конкурсе лицеев, степень лиценциата, когда ему было шестнадцать лет. Премии он был удостоен также за переводы с греческого и латинского языков, особо были отмечены его познания в истории. Здесь, в Руанском лицее, появились и первые юношеские опыты Эмиля Эрзога — рассказы, отмеченные влиянием Киплинга. Все говорило о том, что выпускник лицея Корнеля должен поступать в знаменитую «Эколь Нормаль» — лучшее педагогическое заведение Франции. Однако этому воспротивился Ален. «Я вам запрещаю, — сказал он, — переезжать в Париж, где вас засосут литературные кафе... Ваш отец промышленник; идите работать на его фабрику; узнайте, что такое настоящий труд, настоящая Франция. Позднее вы станете писать, но у вас уже будет к этому времени богатый жизненный опыт».

Ученик послушался совета учителя, хотя и боялся загубить свое будущее, боялся, что ему придется расстаться с мечтой увидеть Франса, Барреса, Киплинга, Шоу. Позднее Моруа признает мудрость философа. Став в 23 года одним из руководителей фабрики отца, он, по собственному признанию, «при-

обрел вкус к своему ремеслу, к делу, к руководству людьми». «Среди писателей моего поколения есть такие, которые пишут лучше, чем я (Мориак, Мальро, Арагон), стиль их современнее, поиски — смелее, но я был едва ли не единственным (если не считать Сент-Экзюпери), кто обладал опытом активной жизни, то есть знанием того, на чем стоит общество: труда, отношений руководителя и исполнителей, экономики и политики... Можно сказать, что работа на фабрике во многом сформировала Мору: он стал коммерсантом не только в жизни, но в определенной степени и в литературе. Он научится чувствовать конъюнктуру книжного рынка, эксплуатировать успех.

Вынужденное затворничество в Нормандии способствовало углублению образования: вечера были отданы чтению. Эмиль Эрзог расширял свой кругозор, серьезно изучал философию, классиков мировой литературы. Издалека следил за первыми успехами Ш. Пегги и Р. Роллана, А. Жида и Р. Мартен дю Гара. Читая их книги, он, конечно, завидовал парижскому бытию, шумной славе.

Во время отдыха в Англии в 1903 году будущий писатель восхищался пьесами Б. Шоу, продолжал читать Р. Киплинга, открывал для себя Г. К. Честертона и Г. Уэллса. Зимой по воскресеньям он ездил в Париж, где слушал Бетховена, Франка, Шуберта, посещал спектакли знаменитой Комеди Франсез. Но главным было чтение. В эти годы он вырабатывал хороший вкус, учился писать. Время литературного ученичества стало порой подражания своим кумирам — через подобное прошли все великие писатели. Составив первую книжечку новелл, Э. Эрзог хотел издать ее за свой счет в Руане. Но уже в начале литературной карьеры он проявил требовательность к себе: перечитав гранки, отказался от печатания тиража, ограничившись изданием нескольких экземпляров. Чуть ли не единственным произведением, подписанным его настоящей фамилией, стал психологический рассказ, опубликованный мужем его сестры Жаном-Ришаром Блоком.

Раздавшийся 28 июня 1914 года выстрел в Сараеве гулко отозвался во всей Европе. Война началась между восемью государствами Европы, но постепенно охватила тридцать восемь государств с населением свыше полутора миллиардов человек. Эмиль, воспитанный отцом-эльзасцем, не мог оставаться в стороне. В первый же день объявления мобилизации явился в 74-й пехотный полк в Руане, где десять лет назад проходил действительную службу. Там ему объявили о назначении переводчиком в британский экспедиционный корпус. В книге «Шестьдесят лет моей литературной жизни» (1966) он писал: «...Я принял за беду то, что на самом деле было необыкновенной удачей. Уйди я на фронт со своим любимым полком, я так и остался бы в кругу своих нормандских друзей, с хорошо знакомыми товарищами, чье общество, возможно, ни на что бы

меня не вдохновило. Английские же офицеры, к которым меня забросил проклинаемый мною приказ, были так поразительно экзотичны, что мне захотелось самому в них разобраться, и объяснить их французам. Мало-помалу, между Фландрией и Артуа у меня родилась книга. Она писалась как-то сама собой, без предварительного плана, питаемая боевыми эпизодами, разговорами в офицерской столовой, странной поэзией моих однополчан. Эту книгу я назвал «Молчаливый полковник Брэмбл».

Так обозначился один из интересов Андре Моруа (под этим псевдонимом в издательстве Бернара Грассе вышел роман) — Англия, англичане, английская история, английская литература¹. Книгу молодого автора благосклонно восприняли А. Франс, Р. Киплинг, Ф. Мориак, нашедший в ней близость к Анатолию Франсу. За короткое время тираж романа достиг ста тысяч экземпляров. Это был не просто успех. Это была первая победа!

Андре Моруа принадлежит к писателям, которые могут случайные ситуации своей биографии заставить служить себе как художнику. Работа с англичанами помогла ему разрушить старые негативно-насмешливые стереотипы их восприятия французами, сложившиеся чуть ли не во времена средневековья. Он хотел сделать союзников по войне более понятными своим соотечественникам. Чуть ли не хрестоматийным стал образ английского джентльмена, созданный А. Моруа. Презрение к опасности, сопротивление натиску, по мнению писателя, в глазах англичан даже не проявление мужества, а признак хорошего воспитания: «О маленьком бульдоге, который не уступает огромному псу, совершенно серьезно говорят: вот джентльмен!» Для джентльмена жизнь — это борьба. «Я не люблю щук, — говорил полковник Брэмбл, — потому что это не по-джентльменски. Проглотив крючок, она сдается сразу, не то что лосось: тот борется до конца, даже тогда, когда борьба уже совершенно безнадежна. С экземпляром в тридцать фунтов приходится повозиться часа два. Вот это борьба!» Неудивительно, что портреты подданных Великобритании в романах Моруа пришлись по вкусу жителям британских островов, писатель быстро завоевал англоязычного читателя. Книги его неоднократно издавались на английском языке, а сам автор удостоен признания жителей туманного Альбиона, докторских степеней, его творчество самым серьезным образом и по сей день изучают по ту сторону Ла-Манша.

¹ Английская тема продолжена в романе «Речи доктора О'Греда» (1922), в романизованных биографиях «Ариэль, или Жизнь Шелли» (1923), «Жизнь Дизраэли» (1927), «Байрон» (1930), «Жизнь сэра Александра Флеминга» (1959), в исторических трудах «Эдуард VII и его время» (1933) и «История Англии» (1937), а также в многочисленных эссе, этюдах, статьях и т. п.

Пресса доброжелательно встретила первое произведение Моруа. Было от чего возгордиться молодому автору. Однако Аллен предупредил ученика: «Такая единодушная пресса будет у вас только два раза в жизни: сегодня, по случаю вашей первой книги, и когда вам стукнет 80 — по случаю последней». В день своего восьмидесятилетия А. Моруа признал, что философ оказался также и пророком.

Первый успех дал возможность вступить в избранный круг, о котором он так мечтал. Среди его знакомых были знаменитые государственные деятели А. Бриан, Р. Пуанкаре, Э. Эррио, выдающиеся писатели А. Франс, М. Метерлинк, М. де Унамуно, П. Валери, Л. Пиранделло, Ж. Кокто, Ф. Мориак, А. Жид, Э. Даби, деятели театра и кино Ч. Чаплин, И. Бергман, П. Устинов, Р. Клер, ученые А. Бергсон и Ж. Росстан, художник Ф. Леже — люди разных национальностей, возрастов, взглядов.

Мастер создания биографий и портретов, Моруа творил и собственную жизнь, создавая свой имидж. Так, он вполне серьезно утверждал, что, следуя советам Алена, пытался держаться в стороне от литературной, политической и интеллектуальной моды.

В марте 1919 года Моруа демобилизован из армии в чине лейтенанта. Встал вопрос о карьере: кем быть? Он решил стать профессиональным литератором, хотя и продолжал пока работать на семейной фабрике. Однако успех «Полковника Брэмбла» не отпускал. Моруа решил написать продолжение романа. Так появился в 1920 году роман «Генерал Брэмбл», который позднее был переименован автором в «Речи доктора О'Греда», где читатель вновь смог встретиться с полюбившимися героями. Но на этот раз чуда не произошло: третья книга была встречена критикой сдержанно. Моруа обращается к Шелли; создает вначале роман «Ни ангел, ни зверь», а в 1923 году первый роман-биографию «Ариэль, или Жизнь Шелли», круто повернувший его литературную судьбу.

Изменения происходят и в личной жизни Моруа. В 1924 году внезапно умерла его жена Жанина, родившая за несколько лет до этого двух сыновей — Жеральда и Оливье. К 40-летнему вдовцу вновь пришла любовь. Симона де Кайяве, молодая поэтесса, которой покровительствовал сам Анатоль Франс, стала в сентябре 1926 года его женой, постоянной и неразлучной спутницей и помощницей.

В 20-е годы в творчестве Моруа прослеживаются две основные линии: психологические романы и художественные биографии. Он создал трилогию о жизни трех английских романтиков — П. Б. Шелли, Д. Г. Байрона и Б. Дизраэли, изданную позднее под общим названием «Романтическая Англия». Наряду с книгами об английском короле Эдуарде VII, маршале Франции Лиоте и об изобретателе пенициллина Флеминге выходят в свет и роман «Бернар Кене» (1926), тотчас

же переведенный на русский язык, и «Превратности любви» (1928), в которых Моруа показал себя знатоком движений человеческой души, продолжив жанр традиционного для французской литературы психологического романа.

В 30-е годы, помимо художественных биографий («Тургенев», «Шатобриан») и романов («Семейный круг», 1932, «Инстинкт счастья», 1934), писатель издал ряд исторических трудов, в том числе «Историю Англии» (1937). Интерес Моруа к истории вполне объясним. Угроза фашизма, столь явственно обозначившаяся в начале 30-х годов, поставила перед каждым мыслителем дилемму: расцвет или закат цивилизации, бытие или небытие, война или мир. Писатели, приверженные идеям гуманизма, отвергли идеологию фашизма, столь приглянувшуюся европейским обывателям. Не случаен расцвет публицистики в эти годы. К общественному мнению обращались Б. Шоу и Р. Роллан, А. Барбюс и Л. Фейхтвангер, А. Мальро и С. Цвейг, А. Жид и Т. Манн. Среди этих имен мы не встретим имени Андре Моруа. После начала второй мировой войны он, вспоминая о встрече в 1935 году с У. Черчиллем, писал: «Когда все встали из-за стола, Черчилль взял меня под руку и увлек в маленькую гостиную.

— Нынче, господин Моруа, — произнес он резко, — не время писать романы! Да! И не время писать биографии...

Я взглянул на него с тревогой.

— Теперь нужно только одно: писать каждый день по статье... И в каждой статье нужно на все лады повторять одно и то же: французская авиация, которая когда-то была лучшей в мире, неуклонно утрачивает мощь и занимает сегодня четвертое или пятое место... Немецкая авиация, которой прежде вовсе не существовало, вот-вот станет первой в мире... Все... Больше ничего. Если вы будете кричать об этом во все горло и заставите французов слушать вас, вы окажете своей стране гораздо большую услугу, чем если будете описывать женскую любовь и мужское самолюбие... Культура, литература — все это прекрасно, господин Моруа, однако без поддержки силы культура обречена на гибель».

Но понимая роль политического публициста, биограф Байрона, Шелли и Дизраэли пытался бороться с угрозой при помощи своих книг. Возрождая бунтарский дух творцов прошлого, он хотел дать читателям пример для подражания. Размышляя над историческими судьбами европейской цивилизации, писатель отвергал войны, несущие смерть и разрушения, насилие и кровь. Не потому ли его заинтересовала личность английского короля Эдуарда VII (1901—1910) из Саксен-Кобург-Готской династии, содействовавшего созданию Антанты?

Моруа интересуется свободный человек, человек действия. И это не только художественная декларация. Для 54-летнего писателя был естественным жест, не колеблясь, записаться

добровольцем в действующую армию, когда началась вторая мировая война. Дом Моруа захвачен фашистами и разграблен, творческие замыслы остались нереализованными, нацисты арестовали его мать, казнили племянников.

Подводя итог раздумьям о судьбах родины, Моруа написал в Америке большое эссе «Трагедия Франции» (1940), появившееся на французском и английском языках в издательстве «Мезон франсез», которое начало этой книгой выпуск серии «Голоса Франции». Выступление Моруа вызвало отклики в различных странах мира, в том числе и в СССР, где отрывки эссе были напечатаны в газетах «Правда» и «Красная звезда». Писатель словом и пером фактически участвовал в Сопротивлении.

В годы эмиграции Моруа много ездил по городам США с лекциями о Франции и ее культуре, выпустил в свет «Межуары», два тома «Литературных этюдов», книгу статей «Надежды и воспоминания», двухтомную «Историю Соединенных Штатов Америки». Здесь состоялись встречи с М. Метерлинком, Т. Манном, С. Цвейгом... Нью-Йорк стал в это время столицей европейских мыслителей.

В 1943 году Моруа еще раз доказал, что он — человек действия, приняв решение вернуться в строй. Облачившись в капитанский мундир, писатель отбыл в Алжир, где встретился с А. де Сент-Экзюпери. Он принял участие во французском десанте на острове Корсика, а затем в итальянской кампании. Писатель верил в победу, в освобождение родины. В статье «Дух Франции», опубликованной в «Нью-Йорк таймс», он писал: «Не было еще такого режима, который бы помешал французам высказать все, что у них на душе, — не было и не будет. Французы умеют говорить без слов. Даже заткнув им рот, нельзя заставить их замолчать».

Вернувшись на родину, он нашел страну сильно изменившейся. На смену литературным патриархам приходили новые «звезды». Властителями дум молодежи стали Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, национальными поэтами — Поль Элюар и Луи Арагон. Перед писателем встал вопрос, не потерял ли он свое место в новой Франции, не станет ли он свидетелем агонии собственной литературной славы? Однако сомнения были преждевременны. Книги, написанные в США, были переведены во Франции и нашли своего читателя. Курс лекций о Прусте лег в основу книги «В поисках Марселя Пруста». Сборник новелл «Обед под каштанами» (1951), эссе «Письма незнакомке» (1953), роман «Сентябрьские розы» (1956) читатели принимали так же хорошо, как и книги литературной юности.

Если период между двумя войнами был отмечен особым интересом к Англии и ее культуре, период войны — к США, то послевоенные годы отданы прежде всего французской литературе. На волне послевоенного патриотизма Моруа пишет три книги, посвященные французским романтикам, — «Лелия, или

Жизнь Жорж Санд», «Олимпико, или Жизнь Виктора Гюго», «Три Дюма», которые вместе с вышедшим ранее «Шатобрианом» составили тетралогию о судьбах романтизма во Франции в XVIII—XIX вв. Он выпускает сборники литературных портретов французских писателей — «От Пруста до Камю» (1963), «От Лабрюйера до Пруста» (1964), «От Андре Жида до Сартра» (1965), от «Арагона до Монтерлана» (1967). В год 80-летия вышел в свет последний биографический труд Андре Моруа — «Прометей, или Жизнь Бальзака», эпиграфом к которому он взял слова своего героя: «Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Прометея».

Как и в ранних книгах, его симпатии не на стороне осторожной мудрости, а безоглядного бунтарства. Прометей, брошенный вызов царю богов Зевсу, сделавший, казалось бы, нелогичный выбор, предпочтя Кавказские скалы и мучения радостям жизни и послушанию, близок не только автору «Человеческой комедии», но и его биографу.

В 60-е годы совместно с Л. Арагоном он издал параллельную историю США и СССР. Моруа написал часть, посвященную США. В эссе «Открытое письмо молодому человеку о науке жить» (1966) писатель напоминает о нескольких древних, как мир, истинах, которые не может отменить ни технический прогресс, ни какая бы то ни было философия: «Во-первых, нельзя жить для себя... Второе правило — надо действовать... Третье правило — надо верить в силу воли... Не менее важно и четвертое правило — надо хранить верность. Верность слову, обязательствам, другим, себе самому...» Престарелый патриарх французской литературы в последний раз напрямую обратился к молодому поколению, защищая идеи гуманизма, добра, мира, верности, порядочности, которым он был верен всю свою жизнь.

В 1967 году писатель тяжело заболел. Предстояла операция. Учитывая возраст писателя, никто не мог предсказать исход. Морис Дрюон рассказывал: «Накануне операции я был у Моруа в одной из парижских клиник. На всю жизнь запомнились его последние слова: «Я знаю, что иду в бой. Но в бою, на войне нет полной уверенности, что осколок снаряда попадет тебе в живот, а здесь я отлично знаю, что буду ранен. Я готов»¹.

Бой стал для Моруа смертельным. Диагноз был неумолим: рак. 9 октября 1967 года ушел из жизни один из популярнейших писателей французской литературы XX века. Его заветы остались в публицистике, в многочисленных эссе, которыми Моруа, подобно своим любимым — Монтеню, Паскалю, Алену, пытался наставить читателя, особенно юного, в трудной науке бытия, но более всего в тех примерах, которые, как Роллан, он мог бы назвать «героическими жизнями».

¹ Наркисьер Ф. С. Андре Моруа. М., 1974. С. 218.

Вслед за философами прошлого и наиболее глубокими мыслителями современности Моруа также ставит вопросы о роли личности в истории, об ответственности человека за творимое в его время зло, о возможности переделать мир не путем кровавого переворота, но силой морального примера. Писателю дорога мысль о художнике — выразителе идей и свободы и национальной терпимости: «Я не требую,— писал он,— от современного автора, чтобы он непременно принадлежал к какой-нибудь партии или секте; я прошу его быть милосердным и помогать людям понимать друг друга». Жизнеописания Моруа не только отделены одно от другого временем создания и естественными границами человеческого существования, каждое из которых принадлежит своему времени, своей земле, своим близким, таинственным законам рода, избранному ремеслу, они и объединены общей мыслью о единстве людей. Писателю близка идея эстафеты поколений, принадлежащая просветительской философии XVIII века и получившая на протяжении XIX—XX столетий новый импульс — сначала в полемике против религиозной католической доктрины, затем как аргумент против стремления утвердить социально-исторические приоритеты над общечеловеческими. К ней обращаются почитаемые современники Моруа. Мартен дю Гар, обдумывающий замыслы романа «Жан Баруа» и многотомного цикла «Семьи Тибо», Роллан, завершающий «Очарованную душу»: связь времен не прерывается, каждое поколение достигает доступного рубежа и передает лучшее из наследия тем, кто идет на смену. На похоронах своего учителя, философа и писателя Алена, Моруа так сказал об этом в прощальной речи: «Сократ не умер, он жив в Платоне. Платон не умер, он жив в Алене. Алэн не умер, он жив в нас».

Из духовного родства героев и принадлежности большинства из них одному времени рождается своеобразная цикличность книг Моруа. Построению цикла автор биографий учился у создателя «Человеческой комедии». Как и у Бальзака, персонажи Моруа переходят из тома в том, встречаются читателем, как знакомые. Даже «отселенные» в туманный Альбион или в русскую глушь, они все равно связаны с Францией и друг с другом. Дюма, вызывая обидчика на дуэль, просит Гюго быть его секундантом. Бальзак пишет Еве Ганской о романе Жорж Санд. Шелли путешествует рядом с Байроном... Герои переживают войны и революции, обдумывают одни и те же политические проблемы, решают сходные творческие задачи, читают одни и те же книги и газеты, даже любят нередко одних и тех же женщин.

Цикличность романов порождает представление о мире как театре, в котором трагедии и комедии разыгрываются на одной сцене, и облегчает читателю вступление в этот мир, где надежным проводником является сам Моруа. Комментируя письмо Жорж Санд к врачу Панджелло, он связывает Жорж

Санд с Марселем Прустом: «Ах, как должен был бы нравиться Прусту этот текст, если бы он его знал. Ведь вынужденное молчание Панджело — это сон Альбертины (героини Пруста). Взыскательные любовники хотят, чтобы идол был немым, тогда он их никогда не разочарует». Говоря о дендизме Мюссе, Моруа напоминает, что он «заимствовал его у Байрона», создавшего моду века на поведение и костюмы. Гюго горячо желает, чтобы в Академию кроме него были избраны Бальзак и Дюма, и «это говорит о его здравом смысле и великодушии, так как каждый из них был грешен перед ним». Сплетая боковые линии повествования в единую сеть, Моруа отграничивает художественное пространство, в котором живут его герои.

Все они — люди незаурядные, чья значительность оценивается потомками даже более, чем современниками. Их влияние облагораживает. Моруа не привлекают злодеи, пусть и могущественные. Подобно пушкинскому Моцарту, он тоже верит, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». Честность и смелость для него — основные достоинства разума. Умственные способности человека таковы, каких он заслуживает. Самодовольство, трусливость, раздражительность всегда настигает глупость. Простейшие вопросы оказываются сложными, если к ним приглядеться, но методичность и настойчивость упрощают самые запутанные проблемы. Выбор пути зависит от самого человека. Наибольшую ценность для личности представляет свобода.

В подобной концепции жизни, которую сам Моруа считал почерпнутой у Алена, есть и сильные и уязвимые стороны. Безрелигиозная в своей основе, она делает ставку на ответственность человека перед собой и миром, на силу воли и свободу выбора. Ей недостает высшего смысла бытия, оправдывающего трагизм существования, той «этики в пределе», которую несет Новый завет, призывающий возлюбить ближнего, как самого себя, или по-своему воплощает коммунистическая идея грядущего земного рая, вдохновлявшая и первых христиан и «пламенных революционеров». Но и в этой незавершенности есть свой соблазн, своя привлекательность для читателя, в массе своей обычного человека, не склонного жертвовать собой и пренебрегать сегодняшним днем ради лучезарного будущего.

Моруа и себя не отделял от этой когорты. Давно подмечено, что в коллизиях его романов постоянно просматриваются обстоятельства собственной жизни писателя. Ситуация на первый взгляд кажется парадоксальной. Между потомком испанского еврея д'Израэли, природным лордом Байроном, орловским баринном Тургеневым и сыном эльзасского суконщика Эрзога, взявшего себе псевдоним Андре Моруа, пролегают пространства не только географические. Их разделяет как будто все: взрастившая их среда, исторические эпохи, образование, традиции, темпераменты. И все же сквозь эти весомые пласты

прорывается струя, соединяющая жизнь писателя с жизнью тех, о ком он создает книги. И когда он пишет о том, как юный Дизраэли говорит с презрением о судьбе заурядного адвоката, Бальзак отвергает выгодную женитьбу и работу в нотариальной конторе, а Тургенев упорно противится всем планам матери на его счет, пером Моруа движут собственные воспоминания о работе на отцовской фабрике в Нормандии, где ему было уготовано если не блестящее, то вполне обеспеченное будущее. «Адвокатура! Фу! Тексты закона и безвкусные шутки до сорска лет, а там, если все пойдет благополучно, подагра и титул баронета», — говорит Дизраэли отцу, который резонно отвечает, что опасно «хотеть сразу стать великим человеком». Но ведь это же предостережение, высказанное учителем Аленом, услышал в свое время Эмиль Эрзог: «Вы юноша мягкий, легко ранимый; вы рискуете пережить в Париже «Утраченные иллюзии». Я не хочу для вас такой судьбы — на вид легкой, на деле — опасной». И Моруа постоянно вспоминает с благодарностью о приобретенном опыте и знаниях «того, на чем стоит общество». Современник промышленной революции, он никогда не забывает о роли труда и капитала, особенно когда речь идет о девятнадцатом — двадцатом столетиях, в которых живут его герои.

Ибо воспитывают их не только семья и любимые или негодные учителя. Наставником выступает История. Современник двух мировых войн и революций, перекраивавших уже не только Европу, а весь земной шар с запада до востока, автор исторических трудов, Моруа неизменно включает исторический контекст в свои биографические книги. Значимость его столь велика, что в определенном смысле их можно назвать историческими романами. Уже в годы занятий в Руанском лицее Моруа пристрастился к истории почти в той же мере, как и к литературе. Служба в армии придала этому интересу характер подлинности. На полях сражений и в госпиталях было хорошо видно, что история не шутит, что античный рок имеет и вполне конкретное лицо. Так, уже первая из биографий — «Ариэль, или Жизнь Шелли» начинается с точной даты: «В 1809 году Георг III, король Великобритании, поставил во главе аристократического учебного заведения в Итоне доктора Кита...» Насколько удачно выбран зачин, видно из того, что Моруа повторяет его почти неизменно, варьируя, естественно, имена и даты. «Три Дюма» открываются в первой главе словами: «В 1789 году, вскоре после взятия Бастилии, жителей маленького городка Вилле-Коттре, расположенного к северу от Парижа, на пути из Суассона в Лаон, встревожили слухи о крестьянских бунтах и грабежах»; «Олимпио» — «Около 1770 года в Нанси жил мастер ремесленного столярного цеха Жозеф Гюго, пользовавшийся привилегией покупать для своих поделок лес, сплавляемый по Мозелю...» Прием этот, укоренившийся в литературе благодаря «шотландскому чародею» Вальтеру Скотту,

у Моруа выполняет свое традиционное предназначение: концентрирует внимание читателя, ориентируя его на вполне определенное время и место действия и одновременно внушая иллюзию полной достоверности повествования. Попутно стоит оценить и педагогический такт Моруа, блестящего лектора, собирающего своими выступлениями на литературные и исторические темы толпы слушателей в Старом и Новом свете. Не очень доверяя эрудиции читателя, он напоминает ему, что 1789 год был началом Великой французской революции, а Георг III — английским королем. Затем, как правило, следует характеристика эпохи: «В это время всякая суровая дисциплина пользовалась одобрением высшего круга. Французская революция только что показала опасность либерализма, когда он заражает управляющие классы... И в отношениях между воспитанниками господствовали варварские обычаи. «Маленькие» были «фагами» или рабами «больших». Они застилали их постели, чистили платье и сапоги. Большим почетом пользовался бокс». В подобных зарисовках большое отражается в малом, всемирные катаклизмы — в жизни школы, где обучается Шелли, а обычаи привилегированного колледжа, в свой черед, соответствуют вкусу молодежи, чутко улавливающей «правила игры», с которыми приходится если не соглашаться, то во всяком случае считаться и самым неординарным личностям, таким, как Шелли, Байрону, Дизраэли, чьи биографии Моруа объединил в романтическую трилогию. Тем более явственно это в поздних романах. В творческом воображении Бальзака живет целое общество. Моруа приводит заметку в тетради писателя: «Славный старик — семейный пансион — шестьсот франков ренты — отказывает себе во всем ради дочерей, хотя они обе располагают шестьюдесятью тысячами франков годового дохода, — умирает, как пес, бывший коммерсант».

Моруа уважает цифры и ценит это же свойство у героев. Рассуждая о характере беглого каторжника Вотрена, списанного Бальзаком с авантюриста Видока, он не без восхищения подмечает, что «в нем можно обнаружить кое-что от самого автора», тоже думающего, «что люди пожирают друг друга, точно пауки в банке, и что никто не спросит отчета от негодяя, добившегося успеха». Мечта Бальзака стать «господином Четыре Миллиона» не представляется Моруа ни абсурдной, ни аморальной. Автор «Прометея» видит в ней прежде всего воплощение духа времени, когда в обстановке Июльской монархии гигантские состояния растут, словно грибы после дождя, а сам французский король Луи Филипп получает прозвище «денежного мешка». Столь же быстрыми оказываются и разорения. И скрупулезно перечисляемые суммы долгов Бальзака говорят у Моруа о времени не менее явственно, чем летописи. После ликвидации очередного предприятия — газеты «Кроник де Пари» — у Бальзака насчитывается 18 217 франков срочного долга, 24 000 франков, которые могли быть возвращены позже

и еще 5000 франков дядюшке. Поддается Бальзак и безумной мечте о реках серебра, о венецианском кладе. Он едет на Корсику, где миллион, которого сам так жаждет, получает конкурирующая фирма. Купив земельный участок, Бальзак рассчитывает разводить на нем тропические растения и получать на каждом урожае доход в 400 000 франков в год и кончает дело тем, что заводит черную книжицу, на титульном листе которой значится «грустные расчеты» — списки векселей с указанием суммы процентов и сроков уплаты долгов. Жажда богатства преследует автора «Человеческой комедии», как и все общество его эпохи. «Бальзак был секретарем современного ему общества, я здесь выступаю в роли секретаря Бальзака», — записывает Моруа в авторском предисловии к роману.

Читатель постоянно встречается в книгах Моруа декларативную ориентацию автора на время, в котором живут его герои. Жорж Санд и Мюссе — «дети века»; Дюма и Гюго — наследники революции 1789 года, Бальзак — летописец Июльской монархии... Называя главные даты XIX столетия, Моруа любит обращаться к их оценке его «замечательными людьми». Он цитирует записи Гюго весной 1871 года — «Коммуна столь же безрассудна, как жестоко Национальное собрание. Безумие с обеих сторон». И почти в унисон звучат слова Жорж Санд — «Ужасная авантюра... Трусливый буржуа, переживший все это, хотел бы теперь всех убить... Это страшно».

Но неизменно признавая давящий на человека груз социальных и исторических обстоятельств, Моруа не отказывается и от романтической мысли о самоценности личности. Его герои восхищают. Прежде всего все они красивы. Хорошо зная, что красавцами не рождаются, а становятся под любящим взглядом, он искренне любит не только Байроном или Шелли, но Бальзаком и Флемингом — всеми, кому посвящает свои романы-биографии. Шелли — «мальчик необыкновенной красоты, с живыми синими глазами, вьющимися белокурыми волосами и нежным цветом лица»; Дизраэли вызывающе хорош. Уже в школе он поражает соучеников безукоризненным костюмом, смелым взглядом, матовым, оливковым цветом «красивого, но чуждого лица». Говоря походя об известных физических недостатках создателя «Человеческой комедии», Моруа предпочитает свидетельство Теофиля Готье, который любит его «атлетической шеей, напоминающей колонну, носом необычной формы, высоким и благородным лбом, а главное — его глазами, взгляда которых не выдержал бы даже орел, глазами, способными видеть сквозь стены, читать в сердцах, глазами властелина, ясновидца, укротителя».

Мысль о неординарности, «особости» героя, подчеркнутая уже в портрете, логично развивается всем ходом повествования. Как в романе воспитания, его персонажи всегда искатели, странники, находящиеся в пути. Сюжеты Моруа построены как этапы достижения намеченной цели путем преодоления

препятствий, в том числе и заложенных в собственной природе. Истоки успеха биограф ищет в крепких корнях рода — беррийских крестьянских предках Жорж Санд, лотарингских ремесленниках и солдатах, положивших начало фамилии Гюго, овернских виноградарях и пастухах, чье прозвище Бальса на лангедокском наречии означало «скала». «Я собираюсь, — пишет Моруа в начале книги о трех Дюма, — проследить на судьбе трех поколений последовательные изменения необыкновенного темперамента, родившегося от союза французского дворянина и черной рабыни из Сан-Доминго». Но, признавая фамильные достоинства и недостатки Дюма — силу, храбрость, бунтарство, тщеславие — писатель все же полагает, что темперамент еще не определяет судьбу: «Темперамент лишь канва, по которой вышивают свои узоры события и воля».

Даже «вольный дух» Ариэль становится гениальным Шелли потому, что преодолевает сопротивление аристократической среды. Уже в детстве он не вписывается в рамки привилегированного учебного заведения в Итоне. Сын еврея д'Израэли получает титул и имя лорда Биконсфилда благодаря природным способностям, но еще более — самовоспитанию, самоограничению, силе воли. Моруа подробно излагает принципы, которым следует Дизраэли, его участие в партии консерваторов, лидерство в группе «Молодая Англия», выдвинувшей программу поддержки могущественной королевской власти и социальных реформ, монархии и труда. Автор прослеживает этапы пути своего героя, занимавшего крупные политические посты, сменившего премьера и терпевшего поражения, уходящего в оппозицию. И через сложную вязь этой политической карьеры Моруа неизменно прослеживает главные принципы политики Дизраэли — умиротворение рабочих и активную внешнюю политику, приведшую к присоединению Фиджийских островов, Кипра, к покупке акций Суэцкого канала и провозглашению королевы Виктории императрицей Индии. Но особенно восхищают Моруа те победы, которые одерживает сын безродного еврея, возведенный в пэры и получивший титул графа, над самим собой. Обдумывая в юности причины своих неудач, Дизраэли беспощадно судит себя: «Прежде всего он был напыщен, высокомерен, эгоистичен, тщеславен в жизни, как и в романах. Да, но было ли это действительно недостатком? Всякий человек имеет право быть тщеславным до тех пор, пока не добился своего. Байрон был еще тщеславнее и одержал победу. Да, но Байрон был Байроном. Великому поэту и человеку знатного происхождения скорее простят высокомерие.

Моруа не только излагает «заявки» своих героев на грядущие победы. Ему интересно показать и то, как герои достигают успеха. Вот юный Дизраэли пытается научиться светской беседе: «Верный своему методу, он отмечал этапы: не говорить слишком много для начала, но если вы начали говорить, то вполне владейте собой; говорите сдержанным голосом и всег-

да смотрите на собеседника, с которым разговариваете, обдумайте предварительно сюжеты, которые будут занимательны, никогда не спорьте. Если кто-либо не согласен с вами, сделайте поклон в его сторону и заговорите о чем-либо другом». Еще значимее хитроумных расчетов — трудолюбие героев. Моруа не очень-то доверяет успеху, пойманному на лету. Неистовство в работе Гюго сохраняет с детства до старости. С самого рассвета соседи могут видеть его стоящим за конторкой с пером в руке. Жорж Санд в пору самой страстной любви затворяет дверь на замо́к, пока не выполнит своего дневного урока. Бальзак трудится по 16—18 часов в сутки и отказывается от долгожданной встречи в Вене с Эвелиной Ганской, так как он не успел выправить корректуру. Даже импульсивные Шелли или Байрон методично добиваются поставленной цели, осознавая ее одновременно и прагматически, и возвышенно.

Как и в классическом романе воспитания Гёте «Годы учения Вильгельма Майстера», путь героя у Моруа — философия, а философия — путь. И путь этот оформлен в магистральный сюжет. Его движение видно уже в оглавлениях. В «Олимпио, или Жизни Виктора Гюго» оно четко определяет содержание книги и замысел автора — «сын Лотарингии и Бретани» переживает «конец детства», видит «огни рассвета», познает «час торжества», «любовь и печаль» и, наконец, олицетворяется в Олимпио, «походящем на него, как брат, полубог, рожденный вдали от людей, как единый сплав гордости, природы и любви...» В этом же смысле роман о Шелли назван именем «Ариэля», а книга о Бальзаке имеет первым заголовком «Прометей».

Писателю важно обозначить доминанту героя, идущего от одной цели к другой и неизменно достигающего поставленного рубежа. При этом Моруа — великий открыватель. Первое место среди создателей жанра романа-биографии он занимает и благодаря тому, что в каждом из своих знаменитых героев находит нечто новое, аргументируя свою находку документально. Известный читателю политик, ученый, писатель вдруг предстает в новом свете с непреложностью, которую трудно или не хочется опровергать. Бенджамин Дизраэли, заложивший основы империалистической колониальной политики Англии на Ближнем Востоке и в Азии, существует в памяти потомков как карьерист и удачливый политический деятель викторианской эпохи. В первом переводе романа на русский язык «Жизнь Дизраэли» закономерно была заменена другим названием — «Карьера Дизраэли». Моруа точно перечисляет ее этапы: Дизраэли — депутат парламента в 33 года, канцлер казначейства в 48 лет, премьер-министр в 64 года; политическая борьба для него — игра, в которой побеждает сильный и безжалостный. Все это так. Но в книге Моруа живет и другой, неожиданный Дизраэли — сентиментальный, ранимый, чувствительный. Среди лейтмотивов его биографии главный для писателя — «мотив цветов». Историю женитьбы «Дизи» на небогатой и малообра-

зованной Мэри Энн автор завершает идиллически: старые супруги, лежа больными в разных комнатах, шлют друг другу нежные записки. Молодой французский дипломат в 1872 году «увидел в одной из гостиных странное существо, разукрашенное, как индийская пагода, которое он принял за старого раджу. Это была Мэри Энн, а сзади нее стоял Дизи, нарумяненный, похожий на труп, со своим последним крашеным локоном, прилипшим к плешивому лбу. На груди у Мэри, напоминая икону, висел огромный медальон с портретом мужа. Ей исполнилось восемьдесят лет, ему — шестьдесят шесть. Пара была смешной и трогательной».

Создавая эталон жанра, Моруа одновременно опровергает стереотипы. Привычный для читателя со школьных лет образ эмансипированной женщины, бунтующей против норм морали и доказывающей своей волей и талантом право завоевать равную с мужчиной судьбу, бытует в книге «Лелия, или Жизнь Жорж Санд». Но ключ к образу — в его иной ипостаси. Жорж Санд по своему характеру — великая утешительница. В отношениях с друзьями и близкими ею движет сострадание. Письма к мужу, к Альфреду де Мюссе, Фредерiku Шопену, Гюставу Флоберу, заметки в дневнике, хозяйственные распоряжения по дому и поместью воссоздают светлый христианский облик известной эпикурейки и эгоистки.

Моруа поэтизирует жизнь. В отличие от современников — мятежного Мальро, углубленно рефлектирующего Камю или возводящего духовную цитадель Сент-Экзюпери — он не склонен к трагическим мыслям о смерти. Отблеск обреченности придает его сюжетам скорее оттенок мелодраматической трогательности. В финалах книг присутствуют детали, порождающие у читателя то же любопытство, которое движет толпой на пышных похоронах. Жизнь Бальзака завершается «подобно роману «Человеческой комедии». Стоны страдания, запах заживо гниющей плоти, искаженное мукой лицо гангренозного больного заслоняются красивыми деталями: художник Эжен Жиро пишет пастелью портрет Бальзака на смертном одре: «На этом портрете, сделанном талантливо и любовно, четко выступает голова, красивая, мощная, умиротворенное выражение лица». Над гробом почившей Жорж Санд читают речь Гюго: «Я оплакиваю мертвую и приветствую бессмертную... Великие люди исчезают, но не рассыпаются в прах... Жорж Санд была мыслью; она вне плоти, и вот она свободна; она умерла, и вот она жива — «Patuit dea» (открылась богиня)». Неизменно повторяющейся оптимистической мысли о торжестве гения над смертью часто сопутствует и образ вечной природы. Но не в ее жестоком античном облике, не в равнодушии красоты, сияющей у гробового входа, а в нежной трели соловья над могилой писательницы, оплакиваемой современниками, или в бутоньерках «из свежих подснежников», которые покупают прохожие в Вест-Инде, помня о любви к этим цветам Дизраэли.

В первом романе-биографии Моруа уже рисует прекрасные этюды. В них природа составляет одновременно фон для переживаний героя и выступает его двойником: «Шелли подобрал свои книги, запачканные грязью, и, одинокий, задумчивый, медленно направлялся к прекрасным лугам, окаймлявшим Темзу. Сидя на траве, освещенной солнцем, он смотрел на скользкую реку. Текучая вода, как музыка, превращает грусть в сладкую меланхолию; своим безостановочным движением они вливают в душу уверенность, что все пройдет, забудется... А рядом массивные башни Виндзора. Шелли закрыл книгу и растягивался на солнце посреди цветов...» Уснувший на фоне массивных башен Виндзора среди цветущего луга Шелли напоминает Моруа о языческом боге весны. Но и другие герои биографий для него тоже символы того, что «может сделать в холодном и враждебном мире вечная юность сердца».

В эпилоге одного из первых романов-жизнеописаний Моруа излагает принципы построения произведений подобного рода: это конфликт героя с обществом, в котором победы оборачиваются поражениями, а поражения неотделимы от триумфов, и вечная юность сердца служит двигателем рассказанной истории. Понятно, что при таком сюжете важнейшее место в нем должна занимать любовь. Она его и занимает. Истории взаимоотношений мужчин и женщин разных возрастов и положений, коллизии, постоянно повторяемые и неизменно захватывающие, тем более, что подаются они не как вымышленные, а как происходившие в реальной жизни, связанные с именами известных людей, приобретают особую притягательность. В «Ариэле, или Жизни Шелли» героя окружают любящие женщины. В книге о Байроне чередой проходят роковые создания, к которым принадлежит и сам автор «Паломничества Чайльд-Гарольда». Виктор Гюго посвящает мечты своей юности Адель Фуше, ставшей в конце концов его женой. Аврора Дюдеван, выйдя замуж, вначале жаждет служить супругу и «слить две жизни в одну», а затем, разочаровавшись, становится Жорж Санд и любит других мужчин. Бальзак в своем становлении многим обязан Лоре де Берни. Затем он испытывает длительное мучительное чувство к польской аристократке Эвелине Ганской... Никто из героев Моруа не отличается ни целомудрием, ни постоянством. Они влюбляются, ревнуют, принимают своих избранников и избранниц за ими же выдуманные идеалы и разочаровываются. Но Моруа не смакует банальные интрижки. Он верит, что человек в своей любви равен самому себе, что способность глубоко чувствовать — неотъемлемое свойство творческой личности, что страсти, играющие измученными душами людей, и делают их людьми в высоком смысле слова.

Романтические любовные коллизии — неизменный признак беллетристики Моруа. При этом он не углубляется в трудно расшифровываемые тайны диалектики души, как, к примеру,

Стендаль или Пруст. Успех обеспечивает Моруа сам материал, которым он умело пользуется, создавая у читателя иллюзию подлинной жизни. И не будем забывать, что великие люди остаются собой и в своих письмах и дневниках. Давая им слово, Моруа учит читателя культуре чувства. Вот Гюго пишет актрисе Жюльетте Друэ: «Моя любимая, помнишь ли ты нашу первую ночь? То была карнавальная ночь — во вторник на масленице 1833 года. В каком-то театре давали бал, на который мы должны были ехать оба... Ничто, даже смерть, я уверен, не изгладит во мне это воспоминание. Все часы той ночи проходят в моей памяти, один за другим, словно звезды, пролетевшие перед глазами моей души... Как ты хороша и сколько в тебе любви! В твоей комнатке стояла чудесная тишина. А за окнами Париж смеялся и пел, по улицам с громкими криками проходили ряженные. Мы отдалились от всеобщего празднества и скрыли в темноте ночи собственный сладостный праздник... Никогда не забывай, мой ангел, тот таинственный час, который изменил твою жизнь. Ночь 17 февраля 1833 года была символом, образом великой и торжественной перемены, совершившейся в тебе. В эту ночь ты оставила где-то там, на улице, где-то далеко от себя сутолоку, шум, поддельное ликование, толпу, чтобы вступить в мир тайны, уединения и любви». Восемь лет спустя после первой ночи романтик Гюго силой воображения вызывает вновь ее очарование. Даже романтические штампы, порой почти смешные, вроде «глаз души» или «ангела», звучат у него искренне и возвышенно, а широко разработанный прием контраста — тишины спальни и уличного шума, интимного уединения и массового гуляния «работает» на вечную тему — исключительности, неповторимости возникшего чувства.

По-иному читаются письма Бальзака. Обращаясь к «обожаемой Еве» — госпоже Ганской, упрекающей писателя в том, что его постоянно обманывают в делах, тогда как в своих произведениях он выказывает необычайную проницательность, Бальзак признает этот недостаток, но старается оправдать себя в глазах той, которую хочет покорить: «Увы! Разве Вы любили бы меня, если бы я постоянно не оказывался жертвой надувательства?.. Дни и ночи, напрягая все силы и способности, я работаю, пишу, изображаю, описываю, вспоминаю; я медленно, с трудом летаю над духовными областями литературного творчества; как же я могу стоять обеими ногами на житейской почве? Когда Наполеон находился в Эслинге, он не мог присутствовать в Испании. Если человек не хочет быть обманутым в житейских делах, в дружбе, в своих начинаниях, в отношениях всякого рода, он не должен, любезная графиня и затворница, живущая в уединении, заниматься ничем иным, он должен быть только финансистом, или светским человеком, или деловым человеком...» Это убедительная защита, но и житейский урок — и не только Эвелине Ганской, а

и читателю: деловые начинания приносят богатство и успех, когда предприниматель обеими ногами стоит на земле, а не витает в облаках. Но, как и в случае с Гюго, сквозь иную ситуацию и почти деловой стиль послания прорывается та же мысль: я не такой, как другие, ты не ошиблась в выборе. Романтическое представление об исключительности влюбленных отливается у Моруа во вполне апробированные приемы письма.

Магистральный сюжет у него не усложняется за счет многослойной сюжетной канвы. Боковые ответвления, если и возникают, то непременно подтягиваются к единому центру, воплощенному романтизированной фигурой центрального героя, декларативно открытого вечности. Схожесть персонажей проистекает от наличия авторской концепции жизни, ориентированной на представление о бытии как о созидании. Мысль эта укрепляется у Моруа на протяжении его писательского пути, и поздний роман о создателе «Человеческой комедии» не случайно назван именем Прометея. Когда Бальзак после затворничества появляется «на свет Божий с шедевром в руках», он кажется обессиленным титаном, но «огонь, похищенный им у Юпитера, вдохнул жизнь в сотню созданных из глины человечков». И все герои биографических романов Моруа — дарители огня.

Представление о жизни как о деянии, о подвиге, творимом для блага людей и неизменно сопровождаемом процессом самовоспитания — одно из самых привлекательных свойств Моруа. Заказав свой портрет, его «Прометей» — Бальзак сообщает Ганской: «Я очень доволен, что художнику удалось передать основную черту моего характера — настойчивость в духе Колиньи и Петра Великого, смелую веру в будущее...» Бальзак не только хранит веру в будущее, но не теряет своей склонности радоваться настоящему. Владелице Верховни он драматически описывает свою жизнь: свора кредиторов и свора журналистов преследуют его, «угрожающе оскалив клыки; он полон скорби душевной, он изнурен. Все это было, увы, правдой, однако рядом с этим пассивом нужно поместить в графе актив неизменную жизнерадостность Бальзака: он проигрывает ставку за ставкой, но инстинкт подсказывает ему, что все утрясется. Разве жизнь его не роман? Значит, он выправит его в корректуре».

Роман как жизнь, а жизнь как роман предполагают одновременно возможность подобия и коррекции. Шелли, Дизраэли, Байрон, Гюго, Дюма, Флеминг и Пруст мужественно отказываются от легкого успеха, комфорта, благосостояния, обеспеченной будущности ради поисков абсолюта. Моруа дорогá мысль, что таков всякий истинный художник-творец; таков же и он сам.

Доминанта героя не умаляет роли повествователя. Напротив, именно он предстает в качестве истолкователя мыслей и поступков Шелли, Дизраэли, Тургенева, Флеминга... В голосе Моруа читатель ощущает пафос философствования и назидания.

тельности. В этом смысле стиль его напоминает об интонации романтиков, хотя и лишен присущей многим из них иронической самооценки. Открыв наугад любую из биографий, мы встречаем целый каскад авторских умозаключений: «Только любовь делает прекрасными пейзажи и города, только она озаряет их своим светом, но никак не красота обстановки создает любовь»; «Общая работа, общая тревога сближает мужчину и женщину»; «Ревность рождается тогда, когда третий понимает, что двое других — это сообщники, а он в стороне»; «Уверенность в несчастье не так горестна, как подозрение». Дюма-отец несет «тройное бремя — жить на свете, быть мужчиной, да еще мужчиной, которого непрерывно атакуют женщины».

В 1830 году Гюго, Виньи и Дюма образовали «Триумvirат драматургов. Но триумvirаты всегда недолговечны»; «Вся итальянская аристократия приветствовала Бальзака. Италия умеет чтить художников»; «У каждой женщины появляется интерес к человеку, которого любила ее подруга. Жорж Санд разглядывала Дидье любопытным и благосклонным взором... Чувственные люди обладают инстинктом»... В россыпи подобных афоризмов Моруа пронизателен, умен, образован, порой тривиален. Ученик великой плеяды французских классиков — от Ларошфуко до современников, он не чуждается банальности, хорошо помня, что расхожие истины обладают наибольшей прочностью. К тому же они — самые доступные, а автор романов-жизнеописаний откровенно рассчитывает на успех. И Моруа умело влетает эти маленькие — свои и заимствованные — шедевры в сюжеты книг.

Дополнительный эффект такого приема — в создании особого тона его прозы, доверительной беседы с читателем, польщенным присутствием и вниманием столь блестящего собеседника. Моруа учитывает диалогическую природу сознания. Включение в линейные сюжеты жизнеописаний, где повествование логично и последовательно ведется от рождения до смерти героя, писем, мемуаров, воспоминаний современников, автокомментариев, часто опровергающих уже высказанные истины, создает для читателя пространство, где он волен сам выбирать то представление о великом человеке, которое ему более по вкусу. Аристократ духа и мученик оборачивается в наслаждениях плоти плебеем и эгоистом, великий труженик — сибаритом, расчетливый карьерист — преданным мужем. Однако автор не теряет при этом из вида и своей главной идеи, предлагает не выбор текстов, не картотеку документов, он создает всегда единое произведение, роман, акцентирует некоторые моменты так, что разнородные фрагменты выявляют не концепцию Дизраэли, Флеминга или Бальзака, а самого Моруа.

Его роман двойственен, как всякое художественное произведение. С одной стороны, Моруа как бы излагает точные факты, историю самой жизни и в этом смысле авторский текст имеет самостоятельное значение, подобное документу. С дру-

гой, он вымышлен, содержит «риторическое соединение» вещей и знаков вещей и «порождает двойной эффект, подчеркивая одновременно и условность условного и его безусловную подлинность»¹. Интерпретация Моруа не может точно отразить жизнь. Она — искажение, но в той мере, в какой искажением можно назвать любое суждение вообще.

Моруа очень настаивает на этом достоинстве своих книг. «Кто-то придумал, — пишет он в литературных воспоминаниях, — определение: «беллетризованная биография». Оно меня ужаснуло и продолжает ужасать по сей день. Я в своих биографиях ничего и никогда не «беллетрирую», я не сочиняю ни ситуаций, ни разговоров... Я придерживаюсь фактов...»


Справедливости ради заметим, что Моруа здесь не вполне прав, ибо факты уже самой их компоновкой порождают определенную интерпретацию. Романтический штамп присутствует в его книгах. На одном уровне он соединяется с традицией сюжетосложения, в которой жизнь предстает борьбой, поединком гордого одиночки с обстоятельствами, с трагическим уделом человеческим. На другом, благодаря вторжению документа, «внешнего текста», рождается новое сообщение. Читатель сравнивает себя с великим человеком, внимание концентрируется, рождается смысловая игра.

Приемы Моруа повторяются. Не столько жизнь в ее полноте перевоплощается в роман, сколько роман начинает строиться как этапы чьей-то жизни. «Разительной особенностью современного мира, — заметил Моруа в одной из своих лекций, — является существование в нем двух культур: культуры массовой и той, которую принято называть «элитарной». Развитию массовой культуры способствовали новые технические средства информации и распространения: многочисленные дешевые издания, радио, телевидение, кино. Эта культура нуждается в огромной аудитории и стремится к универсальности».

Неизменно широкая читательская аудитория Моруа как во Франции, так и далеко за ее пределами, свидетельствует, что писатель уловил потребность времени и откликнулся на нее полнее, чем непосредственные предшественники или более даровитые современники. Возведение жанра к стандарту — свойство массовой культуры, гарантирующей легкость восприятия и обеспечивающей массе некое единство. Наделяя толпу общими чувствами, массовая литература превращает ее, по выражению просветителя Руссо, в «моральное существо» — «une personne morale». Именно в этом видит свою главную задачу мастер биографического жанра Моруа, твердо верящий, что «жить вместе с великим человеком, понимать его, им восхищаться — полезно».

Зоя КИРНОЗЕ
Владимир ПРОНИН

¹ Лотман Ю. М. Текст в тексте / Труды по знаковым системам. XIV. Тарту, 1981. С. 15.



ТРИ ДЮМА.
ЧАСТИ I-VII

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Мало есть имен более известных миру, чем имя Дюма-отца. В любой стране читали его книги и продолжают их читать. Поэтому мне нет необходимости оправдывать свой выбор. Изучая жизнь Жорж Санд и Виктора Гюго, я натолкнулся в процессе работы на новые документы,— и мне пришлось добавить к моей галерее романтиков портрет Александра Дюма. Критики поколения Думика — Брюнетьера, признавая в нем человека, наделенного недюжинными природными способностями, отказывали в таланте его произведениям. Прекрасная книга господина Анри Клуара возвратила Дюма его законное место в истории французской литературы.

Его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и рачочителен. Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и скаредным? Рубеж, отделяющий в наши дни литературу серьезную, которую только и уважают, от литературы развлекательной, в прежние века не существовал. «Мольер вышел из балагана,— пишет Роже Кайуа,— и без труда перешел от простонародного фарса к придворной комедии. Бальзак обычно публиковал свои романы в газетах, позднее так же будут поступать Диккенс и Достоевский. Гюго на протяжении всей жизни умел завоевывать и сохранять любовь самой широкой аудитории». Гомер был поэтом для всех.

Бальзака, Диккенса или Толстого совершенно заслуженно ставят выше Дюма, и я, со своей стороны, их предпочитаю, но это не мешает мне сохранять горячую любовь к писателю, который был отрадой моей юности

и в котором я и поныне люблю силу, жизнерадостность и великодушие. Гюго ставил его в один ряд с лучшими писателями своего времени: «Ты уходишь от нас вслед за Дюма, Ламартином и Мюссе», — писал он в «Надгробии Теофилю Готье». Значит, автор «Отверженных» не считал, что писатель унижает себя, если его читают больше пятисот человек. Прибавим, что в жизни Дюма было не меньше приключений, чем в его романах. А это подлинное наслаждение для биографа.

Некоторым читателям, возможно, покажется странным, что я уделил так много внимания в этой работе Дюма-сыну. «Какой Дюма?» — спрашивал Анри Клуар и отвечал: «Единственный», имея в виду Дюма-отца. Я надеюсь, что мне удастся побудить этого столь справедливого критика пересмотреть свою точку зрения. Жизнь Дюма-сына малоизвестна. Я привлек множество ранее не публиковавшихся документов. Его переписка, гораздо более обширная, чем у Дюма-отца, поможет читателю лучше узнать его. Я надеюсь, она позволит понять, почему он не мог не написать тех пьес, которые изумляют, а иногда и шокируют зрителя наших дней.

На самом деле отец и сын вопреки видимости были очень близки. Оба унаследовали какие-то черты генерала Дюма. Обоим пришлось с ранних лет бороться против жестокой несправедливости. Дюма-отец много страдал из-за расовых предрассудков, Дюма-сын — из-за незаконного происхождения. Обоим пришлось доказывать себе, что они ничуть не хуже, а даже лучше других. Их любимые герои — Вершители Правосудия: мушкетеры у Дюма-отца, моралисты у Дюма-сына.

У отца «очищение от страстей» достигается путем отказа считаться с реальностью. Его называли хвастуном, вралем, но, по-видимому, он, как и Бальзак, не мог отделить реальное от воображаемого. Судьба отца служила постоянным уроком для сына. Расточительный отец породил бережливого сына, отец легкомысленный — сурового резонера. Дюма-сын решил после бурно проведенной юности перестроить жизнь в соответствии со своими принципами. Он потерпел неудачу, и в этом заключается драма его жизни. Дюма-сын разыгрывал в жизни одну из драм Дюма-сына. Я постарался нарисовать точный портрет этого раздираемого противоречиями человека.

Я должен выразить свою признательность множеству лиц. Незнакомые мне люди, узнав, что я пишу книгу о семействе Дюма, любезно прислали мне бесценные документы, ранее не публиковавшиеся. Александр Липпман, внук одного Дюма и правнук другого, разрешил мне ознакомиться с дневником его отца. Г-жа Балашовская-Пети, которой меня представил мой любезный коллега и друг Эмиль Анрио, подарившая в свое время Национальной библиотеке бумаги Дюма-сына, великодушно открыла передо мной свое частное собрание, точно так же как и г-жа Сенкевич, г-жа Руссо, г-жа А. Дюмениль, Франсис Амбриер, г-н Альфандери, г-н Альфред Дюпон, г-жа Прива, г-н Даниэль Тиро, г-н Рауль Симонсон, г-н Жозе Камби и десятки других. Люсьена Жюльен-Каин любезно перевела для меня некоторые тексты, опубликованные в России. Национальная библиотека, библиотека Арсенала и куратор собрания Шпельберх де Ловенжюль оказывали мне всяческую помощь. Архивы Суассона, Лаона и Вилле-Коттре дали мне возможность познакомиться с документами, проливающими свет на военную карьеру генерала Дюма. И наконец, моя жена, как и обычно, была моим вторым я.

А. М.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВИЛЛЕ-КОТТРЕ

Послушайтесь моего совета: женитесь на негритянке с Вест-Индских островов. Из них выходят прекрасные жены.

Бернард Шоу
«Дом, где разбиваются сердца»

Я собираюсь проследить на судьбе трех поколений последовательные изменения необыкновенного темперамента, родившегося от союза французского дворянина и черной рабыни из Сан-Доминго. Три человека, о жизни которых я расскажу, обладали, хотя и в разной мере, одними и теми же достоинствами (как бы различно они ни проявлялись): силой, храбростью, рыцарственной самоотверженностью, ненавистью к подлецам и одним и тем же недостатком — тщеславием, порожденным мечтой об отщениии. Но мало знать темперамент человека, чтобы понять его судьбу: темперамент лишь канва, по которой вышивают свои узоры события и воля.

Итак, перед вами мой памятник трем Дюма.

Глава первая,
В КОТОРОЙ ДРАГУН ПОЛКА КОРОЛЕВЫ
ЗА ТРИ ГОДА СТАНОВИТСЯ ГЕНЕРАЛОМ
РЕСПУБЛИКИ

В 1789 году, вскоре после взятия Бастилии, жителей маленького городка Вилле-Коттре, расположенного к северу от Парижа, на пути из Суассона в Лаон, встретили слухи о крестьянских бунтах и грабежах. Городок этот славился красивым замком эпохи Возрождения, принадлежавшим некогда королевской семье. Людовик XIII подарил этот замок вместе с герцогством Валуа своему брату, и с тех пор им владели герцоги

Орлеанские, то есть младшая ветвь Бурбонов. Людовик XIV часто приезжал туда поухаживать за любезной его сердцу невесткой Генриеттой Английской, которую ее муж Филипп Орлеанский совершенно забросил, чтобы без помех предаваться наслаждениям со своим фаворитом шевалье де Лореном. Позже король привез туда Луизу де Лавальер и представил фаворитку мадам Генриетте, которой пришлось с почестями принимать у себя в доме свою бывшую фрейлину.

1 сентября 1715 года сын Филиппа Орлеанского и Генриетты, тоже Филипп Орлеанский, стал регентом Франции. И на целых восемь лет Вилле-Коттре превратился в пристанище повес и распутников, составлявших двор регента. «Замок,— пишет Сен-Симон,— стал ареной диких оргий и пиров, на которых гости — и мужчины и женщины — ходили голыми». Из письма госпожи де Тенсен мы узнаем, что эти сборища назывались «ночами Адама и Евы». Герцог Ришелье рассказывает:

«По знаку мадам де Тенсен, предводительницы пиршеств, сразу после шампанского тушили огни, и обнаженные сотрапезники предавались бичеванию, на ощупь отыскивая друг друга в кромешной тьме; гости покорно повиновались установленному распорядку, что немало забавляло Его Высочество. Безудержная любовь к наслаждениям передалась слугам замка и даже горожанам Вилле-Коттре, чьи нравы становились все более распущенными. Нередко случалось, что регент приглашал на свои празднества и ужины именитых жителей Вилле-Коттре, которые не смели ему отказать, челядь всех рангов и званий, а то и простых садовников...»

Об этих оргиях следует напомнить потому, что их влияние на местные нравы сказывалось еще спустя полвека и этим отчасти объясняется та циническая и наивная терпимость, с которой Дюма-отец всегда относился к распутству. Однако пребывание двора в маленьком городке принесло ему процветание. Судьи, судейские чиновники и приближенные Орлеанского дома построили себе красивые особняки. Прекрасный лес, где охотился и завтракал на траве Людовик XIV, привлекал любителей прогулок. Приезжих было так много, что в городе безбедно существовали владельцы тридцати трактиров и гостиниц. Одна из гостиниц, под вывеской «Щит», принадлежала Клоду Лабуре, бывшему дворецкому его королевского высочества герцога Орлеанского.

Благодаря такому прошлому Лабуре пользовался особым авторитетом. Поэтому, когда разразилась революция, он стал командиром местного отряда национальной гвардии. Вилле-Коттре, городок мирный и зажиточный, имел все основания бояться грабителей, рыскавших, по слухам, в окрестностях. Офицеры гражданской милиции попросили правительство Людовика XVI прислать солдат для защиты города. Драгунский полк королевы, расквартированный в Суассоне, отрядил двадцать кавалеристов, которые прибыли в Вилле-Коттре 15 августа 1789 года. Все окрестные жители собрались на площади у замка, чтобы полюбоваться драгунами, красовавшимися во всем великолепии своих мундиров. Один из них больше других привлекал к себе взгляды. Это был статный мулат с бронзовой кожей; изящество движений придавало его могучей фигуре аристократизм.

Когда солдат распределяли на постой, Мари-Луиза Лабуре попросила отца, который, как командир национальной гвардии, имел право выбора, взять к себе красавца мулата.

Мари-Луиза Лабуре — своей подруге Жюли Фортен:

«Драгуны, которых мы так долго ждали, прибыли позавчера... Приняли их очень тепло и охотно разобрали по домам. Мой отец остановил свой выбор на одном цветном молодом человеке из этого отряда; он очень мил. Зовут его Дюма, но товарищи говорят, что это не настоящая его фамилия и что он будто бы сын знатного дворянина из Сан-Доминго... Он такой же высокий, как кузен Прево, но манеры у него лучше, так что, как видишь, моя милая и добрая Жюли, это очень славный молодой человек...»

Хозяева сразу же полюбили Дюма: добротой он был так же щедро наделен, как и силой. Командиры Дюма сообщили Лабуре, что солдат этот — сын маркиза и что настоящее его имя Дюма Дави де ля Пайетри, что соответствовало истине. Отец его, бывший полковник и генеральный комиссар артиллерии, потомок нормандского дворянского рода и маркиз милостью короля, в 1760 году отправился на острова, решив попытать счастья на Сан-Доминго. Он купил плантации в западной части острова, неподалеку от мыса Роз, и там 27 марта 1762 года от чернокожей рабыни Сессеты Дюма у него родился сын, которого при крещении нарекли Тома-Александр.

Мы не знаем, была ли потом рабыня возведена в

ранг супруги. Ее внук уверяет, что была. Однако, если вспомнить нравы и обычаи того времени, брак этот представляется маловероятным; нет ни одного документа, который бы его подтверждал, но нет и ни одного, который позволил бы его отрицать. Молодая женщина управляла хозяйством маркиза. Тот признал ребенка и привязался к маленькому мулату, живому и сообразительному.

В 1772 году чернокожая мать умерла. Ребенок сначала воспитывался у отца в Сан-Доминго, но в 1780 году маркиз де ля Пайетри, с тоской вспоминая о соблазнах столичной и придворной жизни, вернулся в Париж. Согласно обычаю французские плантаторы-дворяне, возвращаясь во Францию, сыновей смешанной крови брали с собой, дочерей оставляли на островах. Молодому мулату было тогда 18 лет. Цвет кожи придавал ему экзотический вид; черты лица у него были правильные, глаза великолепные, фигура стройная, а кисти рук и ступни — изящные, как у женщины. Его принимали в свете: ведь он был сын маркиза; смолodu он пользовался большим успехом у женщин. Он поражал своей силой: однажды вечером в Опере какой-то мушкетер, войдя в ложу, где сидел Дюма, оскорбил его. Молодой Дюма Дави де ля Пайетри схватил обидчика и швырнул его через перила прямо на зрителей партера. За сим последовала дуэль, на которой он ранил своего противника, потому что был так же искусен в фехтовании, как и во всех телесных упражнениях.

И все же юному островитянину жилось в Париже несладко. Маркиз, крепко державшийся за свою мощь, давал ему мало денег. В 79 лет он женился на своей экономке Франсуазе Рету. Тогда сын, доведенный до крайности, решил завербоваться в королевскую гвардию.

— Кем? — спросил его отец.

— Простым солдатом.

— Превосходно! — сказал старик. — Но я, маркиз де ля Пайетри, бывший полковник, не могу допустить, чтобы мое имя трепали среди всякого армейского сброда. Вам придется завербоваться под другим именем.

— Согласен. Я завербуюсь как Дюма.

И под этим именем он поступил в драгунский полк королевы.

В полку он быстро прославился своими геркулесовыми подвигами. Никто, кроме него, не мог, ухватившись

за балку конюшни, зажать лошадь в шенкелях и подтянуться вместе с нею; никто, кроме него, не мог, засунув по пальцу в четыре ружейных дула, нести на вытянутой руке все четыре ружья. Этот атлет читал Цезаря и Плутарха, но он завербовался под простонародной фамилией, и потребовалась революция, чтобы его произвели в офицеры.

В августе 1789 года, в те дни, когда Лабуре оказывали Дюма самое радушное гостеприимство в гостинице «Щит», революция уже началась, но никому и в голову не приходило, что она зайдет настолько далеко и уничтожит освященные веками правила производства в офицеры.

Мари-Луизе Лабуре, девушке серьезной и добродетельной, понравился красивый и великодушный молодой человек, которого делало неотразимым сочетание незаурядной силы, красивого мундира и таинственного происхождения. Когда молодые люди открылись хозяйину гостиницы во взаимной любви и выразили желание пожениться, Клод Лабуре поставил им единственное и весьма скромное условие: свадьба будет сыграна, как только Дюма получит чин капрала.

В конце года драгун вернулся в полк. Нашивки капрала он получил 16 февраля 1792 года. Как и большинство молодых мулатов благородного происхождения, а их в те времена во Франции было немало, Дюма решительно стал на сторону революции. Ведь только она позволяла ему надеяться на уравнивание в правах. По всей стране формировались полки добровольцев. Знаменитый шевалье де Сен-Жорж, который, как и Дюма, был смешанной крови, личность широко известная в конце XVIII века, мушкетер, композитор и, по мнению принца Уэльского, «самый обворожительный из всех цветных джентльменов», тоже был покорён новыми идеями; он сформировал Легион свободных американцев и стал его командиром. Он предложил Дюма чин субалтерна. Другой офицер, полковник Буайе, наслышанный о храбрости молодого драгуна, пообещал сделать его лейтенантом. Сен-Жорж набавил цену и зачислил Дюма капитаном. Дюма сразу же умножил список своих подвигов, один захватив в плен тринадцать вражеских стрелков. Короче говоря, 10 октября 1792 года его произвели в п о д п о л к о в н и к и.

Военный министр — гражданину Дюма, подполковнику:

«Сим извещаю Вас, сударь, о Вашем назначении на вакантную должность подполковника кавалерии Легиона свободных американцев... Вам надлежит вступить в должность не позднее чем через месяц по получении сего письма, в противном случае сочтут, что Вы отказались от должности, и вместо Вас будет назначен другой офицер...

Временно исполняющий обязанности военного министра.

Лебрен».

Таким образом, драгун, отправившийся на войну с мечтой о чине капрала, стал в тридцать лет подполковником. Он с лихвой выполнил обещание и завоевал свою прекрасную невесту. Свадьба состоялась 28 ноября 1792 года в мэрии Вилле-Коттре. Свадьба на скорую руку: типичная свадьба офицера и дочери именитого горожанина. Свидетели: подполковник Эспань и лейтенант де Без из 7-го гусарского полка, расквартированного в Камбре; Жан-Мишель Девиолен, инспектор вод и лесов, родственник Лабуре, полномочный хозяин во владениях герцога Орлеанского, и г-жа Франсуаза Рету, вдова Дави де ля Пайетри, мачеха жениха. Медовый месяц: семнадцать дней в гостинице «Шит», — потом новобрачному пришлось отправиться вдогонку за полком, оставив дома беременную супругу.

Северная армия: 30 июля 1793 года Дюма производят в генералы, 3 сентября того же года «цветной» становится дивизионным генералом. А семь дней спустя Мари-Луиза Дюма разрешилась от бремени девочкой, которую называли Александрина-Эме. Эпические времена, когда армия делала генералов быстрее, чем женщины детей.

Но революция не особенно церемонилась со своими генералами и перебрасывала их с места на место, как мячики. Получив назначение на пост главнокомандующего Пиренейской армией, влюбленный муж, проезжая через Вилле-Коттре, смог пробыть там всего четыре дня.

Клод Ламбуре — своему другу Данре де Фавролю, 20 сентября 1793 года:

«Генерал прибыл к нам 15-го и уехал от нас 19-го, то есть вчера, в почтовой карете. Через несколько дней он будет в Пиренеях. Дитя чувствует себя хорошо, Мари-Луиза тоже. При супруге она держалась очень мужественно и дала волю слезам лишь после его отъезда; сегодня она снова взяла себя в руки. Она утешает себя мыслью, что все эти жертвы идут на благо нации. Пожалуйста, пришли мне в четверг дюжину цыплят. Мне придется угощать офицеров, которые приедут из округа инспектировать бывший замок...»

Теперь и лес и замок, столь дорогие герцогам Орлеанским, стали именовать бывшими так же, как и их владельцев.

По разным военным документам можно было бы проследить за всеми перебросками мячика, но это и скучно и бесплодно. Комиссары Республики, откомандированные в действующие армии, не любили генералов. Свои письма они обычно заканчивали: «С братским приветом», — но относились к ним отнюдь не по-братски, особенно если генерал, как Дюма, был либерален с гражданским населением. После того как он приказал изрубить на дрова гильотину, его окрестили «Человеколюбом». Байоннские комиссары встретили вновь прибывшего генерала, посланного им Комиссией по организации и перемещению войск, весьма неприветливо и потребовали убрать его. Комиссия, не пользовавшаяся авторитетом, покорила и вскоре перебросила Дюма с поста главнокомандующего Пиренейской армией сначала в Вандею, а потом в Альпы, где он, как всегда, совершал подвиги, достойные героев древнего эпоса. С отрядом в несколько человек захватил гору Мон-Сени, где засели австрийцы, вскарабкавшись по отвесному утесу с помощью кошек, добравшись до вершины, его люди остановились перед палисадом противника, не зная, как его преодолеть. «А ну, пустите меня!» — сказал генерал и, хватая своих солдат за штаны, одного за другим побросал их через палисад прямо на поверженного в ужас противника. Маневр, достойный Гаргантюа.

В термидоре второго года Республики (1794) Комитет общественного спасения назначил Дюма начальником Марсовой школы в лагере Саблон (Нейи-сюр-Сен). На первый взгляд это было большой честью. Предполагалось, что школа будет превращать сыновей санкюлотов в офицеров Республики. Но школа только что приняла самое активное участие в термидорианском перевороте, и, хотя она внесла свою лепту в дело свержения Робеспьера, Тальен все же считал опасным оставлять у ворот Парижа столь пылких молодых людей.

Через три дня после назначения Дюма школа была распущена, а генерала отправили в армию, расположенную в районе Самбры и Мааса. Два месяца спустя новое перемещение:

«Гражданин, ты назначаешься главнокомандующим

Брестской армией с штаб-квартирой в Рене. С братским приветом».

Этот пост оказался столь же эфемерным, как и остальные.

«Комиссия по организации и перемещению пехотных войск — гражданину Дюма, бывшему главнокомандующему Брестской армией, 13 февраля 3-го года единой и неделимой Французской республики:

«Гражданин, комиссия предупреждает тебя, что, поскольку ты не имеешь назначения, твое пребывание в Париже противоречит закону от 27 жерминаля. Следовательно, ты должен выбывать в ту коммуну, которую выберешь, и уведомить комиссию о своем месте жительства. С братским приветом

Комиссар Л.-А. Пилль».

Дюма устал от бесцельных переездов и нереальных назначений. Смелый человек, он любил сражаться и побеждать; человек открытый, он ненавидел интриги и подозрения. Он подал в отставку и уехал к родителям жены, в Вилле-Коттре, где и провел восемь первых месяцев 1795 года. Он жил там безмятежно и счастливо до тех пор, пока 14 вандемьера 4-го года Республики Конвент, боявшийся «золотой молодежи», не вспомнил о военачальнике, пользовавшемся репутацией человека честного и надежного. Дюма, не медля ни минуты, сел в карету, но прибыл в Париж с опозданием на день. Конвент уже успели спасти другие генералы-якобинцы, в их числе и молодой человек с римским профилем по имени Наполеон Буонапарте.

Глава вторая

ГЕНЕРАЛ БОНАПАРТ И ГЕНЕРАЛ ДЮМА

Директория захватила власть, но популярности она не приобрела. Страна была разорена. Только война могла придать этому балаганному правительству какое-то подобие престижа. Поэтому директоры обратились к извечной мечте французских королей — завоеванию Италии. Главнокомандующим Итальянской армией был назначен Буонапарте. «Генерал Вандемьер» мог рассчитывать на признательность Барраса, одного из директоров, который, в свою очередь, тоже был уверен в этом художавом офицере, так как подкинул в постель корсиканцу одну из своих бывших любовниц — креолку Жозефину Богарне.

Дюма, проведя несколько месяцев в Альпийской армии, перешел в части Бонапарта, к этому времени офран-

цузившего свою фамилию. Хотя Дюма и его товарищам едва перевалило за тридцать, они считали себя старыми служаками, и им казалось оскорбительным попасть под начало желторотого юнца двадцати шести лет от роду. Но сразу же по прибытии в Италию Бонапарт с его умом и авторитетом сумел подчинить себе этих храбрых вояк. Презирая людей, он относился ко всем без различия, как к вещам, а не как к существам, себе подобным. Деспот по природе, он окружал себя только людьми раболопными. Он наделял славой лишь тех генералов, которым она была не по плечу.

Честный Дюма не внушал ему опасений. Поэтому, когда тот в октябре 1796 года прибыл в Милан, Бонапарт и в особенности Жозефина, как уроженка Мартиники, любившая все, что напоминало ей о родных островах, оказали ему самый теплый прием. К тому же главнокомандующему были нужны такие люди, как Дюма. Несмотря на обильный урожай побед, Бонапарт чувствовал себя неуверенно. Директория скупилась на деньги и людей. Итальянская армия была измотана. А Дюма один стоил целого эскадрона. Его легендарные подвиги могут показаться невероятными, но тем не менее они не вымышлены. Из писем Бонапарта мы узнаем, что генерал Дюма лично отбил шесть знамен у численно превосходящего противника, что, умело допросив шпиона, он выведал планы австрийцев, что под Мантуей он остановил армию Вурмзера,— в этом бою он дважды менял подстреленных под ним коней. Подобно героям Гомера, герои итальянской кампании не были свободны от чувства соперничества. Время от времени какой-нибудь новый Ахилл в трехцветной перевязи удалялся в свой шатер. Всякий раз, когда Дюма почитал себя обиженным, он грозил подать в отставку. Однако Бонапарт хорошо знал, что его легко умиротворить, поручив ему опасное дело. Для этого богатыря было настоящим счастьем очутиться одному в толпе врагов, победить их силой и ловкостью и остаться хозяином поля. Если бой велся за правое дело, господин Человеколюбец убивал, не испытывая угрызений совести. В его отваге чувствовался вызов. Да, он цветной, это так, но он этим горд и хочет быть во всем первым.

Генерал Тибо, служивший с ним, оставил нам такой его портрет:

«Под началом Массена служил еще один дивизионный генерал, мулат, по фамилии Дюма, человек весьма способный и, кроме того, один из самых смелых, самых сильных и самых ловких людей, мною виденных. Он пользовался необычайной популярностью в армии: все только и говорили, что о его рыцарской отваге и невероятной физической силе... И все же, несмотря на его храбрость и на все его заслуги, из бедняги Дюма, которого можно было назвать лучшим солдатом своего времени, генерала не получилось».

Дюма и вправду скорее слыл хорошим рубакой, чем искусным стратегом, но Бонапарт нуждался только в рубаках. Стратегию он брал на себя.

Ознакомившись с подлинными мемуарами свидетелей, убеждаешься в том, что знаменитая стычка под Клаузеном отнюдь не выдумка: генерал у въезда на Бриксенский мост действительно задержал в одиночку целый эскадрон. Мост был очень узким, и на Дюма могли наступать одновременно не больше двух-трех человек. Едва они приближались, он разил их одного за другим. Сам он был трижды ранен, плащ его в семи местах пробил пули, но наступление врага он остановил. После такого подвига солдаты готовы были идти за ним хоть на край света. Австрийцы прозвали его «Черным дьяволом». Генерал Жубер, его друг и начальник, почитал его новым Баярдом. Но Александр Бертье, офицер генерального штаба и правая рука Бонапарта, отнесшийся с неприязнью к боевым генералам, всячески старался опорочить «Черного дьявола» перед главнокомандующим. И тот некоторое время отказывался признать заслуги героя. И вновь вскипел гнев Ахилла. Однако Дюма совершил столько подвигов, что Бонапарту пришлось все же приказать Жуберу: «Пришлите ко мне Дюма».

Дюма, почитавший себя обиженным, отказался идти. Французская революция не прошла бесследно для армии, и таким генералам, как Гош, Марсо и Дюма, славившимся своими республиканскими симпатиями, чувство независимости явно мешало соблюдать дисциплину. С другой стороны, Дюма, у которого порывистость, как это характерно для жителей Антильских островов, сочеталась с приступами апатии, по временам охватывало глубокое отвращение ко всему окружающему. И при первой же неприятности он с тоской вспоминал о Вилле-Коттре и посылал в штаб прошение об отставке. К счастью, его адъютант был начеку и всегда прятал

прошение в ящик. Когда же наконец Дюма явился в штаб-квартиру, Бонапарт встретил его с распростертыми объятиями.

«Добро пожаловать, тирольский Горацій Коклес!» — сказал главнокомандующий.

Прием был настолько лестным, что славный Дюма не стал упорствовать в своей обиде. Он тоже протянул руки, и они братски обнялись. Бонапарт назначил Дюма губернатором провинции Тревизо. Дюма сумел завоевать горячую любовь населения и, уезжая, получил благодарность от муниципалитетов Местра, Кастель-Франко и других городов за мудрое и мягкое правление. Он вполне заслужил, чтобы о нем сказали, как позже о другом французском генерале: «Приехав к нам врагом, он уезжает всеми любимым другом». Бонапарт в это время с триумфом въезжал в Париж.

После подписания мира с Италией генерал Дюма получил отпуск. 20 декабря 1797 года он вернулся к своей семье в Вилле-Коттре. Маленький городок, столь процветавший десять лет тому назад, пришел в упадок. Двор герцога Орлеанского давал работу всему городу. Теперь в Вилле-Коттре больше не появлялись знатные вельможи со свитой, не приезжали богатые путешественники. Прекратилась охота в лесу. Гостиница «Щит» пустовала. Лабуре, на котором лежало бремя забот о дочери и внучке, решил закрыть гостиницу, «только пожирившую его сбережения», и жить скромно на деньги, скопленные за годы процветания.

С приездом зятя-генерала, важной персоны в армии Республики, возникли новые планы на будущее. Клод Лабуре продал все движимое имущество гостиницы «Щит» за 1340 франков. Генерал Дюма, со своей стороны, расстался с пятью из шести лошадей, составлявших его личную конюшню, и выручил за них 980 ливров и 10 су. В 1798 году Лабуре снял за 300 ливров в год скромный, но довольно просторный дом, в котором с того времени и жила вся семья.

А меж тем в Париже Бонапарт становился надеждой всех французов. Чтобы успокоить Директорию, он объявил, что отныне у него одна мечта: прогнать англичан из Египта, а если удастся, то и из Индии. «Лишь на Востоке,— говорил он,— есть еще территории достаточно обширные, чтобы основать империю, достойную древних». Не будь Бонапарта, Директория никогда не

возымела бы столь фантастических прожектов. К тому же директоры, побаивавшиеся победителя, надеялись таким путем удалить Бонапарта из Франции. 12 апреля 1798 года Бонапарт стал главнокомандующим Восточной армией.

Он тотчас же призвал к себе Дюма. Он считал, что Дюма слишком честен, чтобы быть по-настоящему умным, но очень хотел поручить этому генералу, умевшему, как никто другой, увлечь за собой солдат, командование кавалерией в Египетском походе. И Дюма снова прощается с родными и догоняет своего командира в Тулоне.

Бонапарт принял его, лежа в постели, в их общей с Жозефиной спальне. Жозефина, прикрытая одной простыней, плакала.

— Вы только подумайте, генерал,— сказал Бонапарт,— она забрала себе в голову сопровождать нас в Египетском походе! Вот вы, Дюма, разве вы берете с собой жену?

— Конечно, нет! Я думаю, она бы меня очень стесняла.

— Если нам придется провести там несколько лет,— сказал Бонапарт,— мы пошлем за женами. Дюма, который делает одних девчонок¹, и я, которому и это не удается, приложим все силы, чтобы сделать по мальчишке. Он будет крестным отцом моего сына, а я — его.

И он ласково похлопал Жозефину по округлостям, вырисовывавшимся под простыней.

Жозефина утешилась. Она всегда быстро утешалась, даже, пожалуй, чересчур быстро.

Выходя от Бонапарта, Дюма встретил Клебера, с которым был дружен.

— Кстати, ты не знаешь, для чего мы туда едем? — спросил Дюма.

— Чтобы дать Франции новую колонию,— ответил Клебер.

— Вовсе нет. Чтобы дать ей нового короля.

— Не спеши,— сказал Клебер,— поживем — увидим.

¹ 13 февраля 1796 года генеральша Дюма произвела на свет еще одну девочку, Луизу-Александрину, которая умерла, когда ей не было и года.

— То-то и оно, что увидим.

Честный Дюма был прав. Эта грандиозная и бессмысленная авантюра была нужна только одному человеку, который хотел таким образом поднять свой престиж. Оказавшись в Египте полновластным и бесконтрольным хозяином, Бонапарт «вел себя там, как султан». Отношения новоиспеченного властителя и республиканского генерала за эту кампанию вконец испортились. Дюма проявил себя таким же смельчаком, как всегда. Кавалеристы, которых он вел в наступление, отбросили мамелюков к Нилу. Когда он, вздымая на дыбы лошадь, размахивал саблей над головой, даже самые храбрые арабы с криком «Ангел смерти!» в ужасе кидались врассыпную.

Но вскоре победоносную армию обуяло уныние.

Дюма — Клеберу, 9 термидора 6-го года:

«Наконец-то мы прибыли, мой друг, в эти края, куда так стремились. Бог мой, как не похожи они на то, что рисовалось в воображении даже самым трезвым людям!

Не терпится узнать, как ты себя чувствуешь и когда сможешь снова принять командование дивизией, которая сейчас в очень плохих руках. Мы тебя очень ждем. Люди у нас вконец распустились. Я делаю все, что в моих силах, чтобы хоть как-то добиться порядка, но ничего не получается. Солдатам не платят денег, их не кормят, и ты можешь себе представить, какой это порождает ропот...»

Генералы не понимали целей войны и опасались, как бы Бонапарт не использовал их для удовлетворения своего честолюбия. Как-то в палатке Дюма несколько человек собрались полакомиться арбузами — и тут впервые прозвучали вопросы: «Стоило ли покидать Францию, ее густые леса и плодородные равнины ради этого огнедышащего неба и голых пустынь? Уж не империю ли хочет основать Бонапарт на Востоке?.. Пристало ли старым солдатам нации, патриотам 1792 года, служить интересам одного человека?»

У каждого честолюбца есть своя полиция, и один из присутствующих немедленно доложил властителю об этих разговорах. И с тех пор главнокомандующий стал называть тирольского Горация Коклеса не иначе, как «этот черномазый». Вот как генерал Бонапарт описывает свое столкновение с Дюма Деженету, главному врачу Египетской армии:

«Когда я прибыл в Гизу, мне сообщили, что в армии есть недовольные и что многие генералы к ним присоединились; они

даже утверждали, будто заставят меня прекратить наступление. Я знал, что Дюма был одним из заводил и что Мюрат и Ланн с ним заодно. Я приказал позвать Дюма и сказал ему: «Я знаю обо всем. И если бы я верил в то, что вы или ваши единомышленники хоть на минуту всерьез думали осуществить ту чепуху, которую вы забрали себе в головы, я немедленно отдал бы приказ страже расстрелять вас у меня на глазах; потом я собрал бы моих гренадеров, чтобы вас осудить; я покрыл бы позором ваши имена...» Тут Дюма заплакал, и я понял, что он добрый малый и действовал по чужому наущению. Впрочем, он никогда не отличался особым умом. К тому же я давно забыл все это...»

Сын генерала Дюма в своих «Мемуарах» тоже рассказывает об этом случае. По его версии, Бонапарт якобы сказал Дюма:

— Генерал, вы пытались деморализовать армию... Вы произносили бунтарские речи. Смотрите, как бы мне не пришлось выполнить свой долг! Ваш высокий рост не помешает мне расстрелять вас через два часа.

Александр Дюма утверждает, что отец его смело ответил:

«— Да, я говорил, что ради чести и славы моей родины я согласен обойти весь земной шар, но, если бы речь шла об удовлетворении ваших прихотей, я и шагу не сделал бы.

— Значит, вы не дорожите мною и готовы меня покинуть?»

— Да, как только я уверюсь, что вы не дорожите Францией.

— Вы ошибаетесь, Дюма».

Разговор этот не так уж неправдоподобен. Дюма был храбр, а Бонапарт в хорошем настроении — снисходителен.

Как бы там ни было, Дюма продолжал вести себя героически: он подавил восстание в Каире, первым вошел в великую мечеть и отослал захваченные сокровища Бонапарту.

Дюма — Бонапарту:

«Гражданин генерал, как леопард не может сменить шкуры, так и честный человек не может изменить своей совести. Посылаю вам только что захваченные мною сокровища, оцененные в два миллиона. Если я буду убит или умру от тоски, вспомните, что я беден и что я оставил во Франции жену и ребенка. С братским приветом».

Но в душе Дюма уже охладел к войне. Красавца мулата охватила ностальгия, столь частая у креолов. Он попросил разрешения вернуться во Францию. Сделать это было нелегко: на Средиземном море хозяйничали

англичане. Бонапарт, который был не прочь избавиться от недовольного генерала, разрешил Дюма уехать. Но даже если бы он и хотел предоставить ему корабль, он все равно не смог бы этого сделать. В конце концов Дюма все же зафрахтовал маленькое суденышко «Бель-Мальтез» и с несколькими товарищами вышел в море. Капитан обещал доставить их во Францию. Но оказалось, что «Бель-Мальтез» не годится для плавания в открытом море, и, когда стала собираться буря, путешественники укрылись в ближайшей бухте: это оказался порт, принадлежавший Неаполитанскому королевству.

Бедный Дюма, до которого в Египте не доходили новости из Европы, в своем неведении полагал, что Парthenопейская республика, основанная на заре Французской революции неаполитанскими патриотами, примет его с большим почетом. На самом же деле республика прекратила свое существование: после Абукирской катастрофы англичане и австрийцы содействовали реставрации Бурбонов в Неаполе. В Таренте республиканский генерал попал в руки правительства авантюристов, которое призывало вести против Франции негласную войну, прибегая к отравлениям и убийствам. Вскоре генерала перевели в Бриндизи, и тут он понял, что его жизнь в опасности.

«На следующий день после моего приезда в замок Бриндизи, когда я прилег отдохнуть, через прутья зарешеченного окна ко мне в комнату влетел большой пакет и упал на пол. В нем было два тома книги Тиссо под названием «Сельский врач». Записка, вложенная между страницами, гласила: «От патриотов Калабрии: смотри слово «ЯД». Я отыскал это слово в тексте: оно было дважды подчеркнуто. Я понял, что мне грозит опасность...

Прошло несколько дней... Тюремный врач посоветовал мне есть бисквиты, размоченные в вине, и вызвался мне их прислать. Через десять минут после его ухода принесли обещанные бисквиты. Я точно выполнил его предписание, но к двум часам пополудни у меня начались такие сильные спазмы в желудке и рвота, что я не смог обедать. Приступы боли все усиливались, и я лишь чудом не отправился на тот свет. Характер спазм и рвоты свидетельствовал об отравлении мышьяком...

В результате я почти оглох, полностью ослеп на один глаз, и меня разбил паралич... Эти симптомы одряхления появились у меня в тридцать три года и девять месяцев, что явно доказывает, что в мой организм ввели какой-то яд...»

В конце концов 5 апреля 1801 года генерала Дюма по случаю перемирия обменяли на знаменитого австрийского генерала Мака. Он вышел из тюрьмы изувеченным, полупарализованным, с язвой желудка. Тюрьма

превратила атлета в калеку. Много воды утекло за время его заключения. Бонапарт разогнал Советы, сверг Директорию, одержал в Италии победу при Маренго и отправил Мюрата освобождать Рим и Неаполь. Во Флоренции Дюма вновь встретился с Мюратом, своим верным другом и товарищем по оружию. Прославленные кавалеристы бок о бок сражались в Италии и Египте. Мюрат, как и Дюма, сердечный человек и истинный рыцарь, с готовностью протянул руку помощи поверженному судьбой герою. И хотя он теперь был деверем первого консула, чью младшую сестру Каролину пленили его храбрость, любовь и красота, Мюрат пренебрег злопаметством Бонапарта и сделал для своего друга все, что мог. Благодаря ему Дюма удалось послать из Флоренции курьера в Вилле-Коттре.

Дивизионный генерал Дюма — гражданке Дюма, Флоренция, 8 флореаля 9-го года республики: «Всего час назад, моя любимая, я встретился с нашим достойным другом Мюратом. Из-за своего доброго отношения к тебе он стал мне самым дорогим другом, и я до конца дней своих не устану выказывать ему благодарность. Я отправляю отсюда, как я тебе уже писал, памятную записку консулу с перечнем тех мучений, которые я претерпел по вине презренного неаполитанского правительства. Я не хочу описывать это в подробностях, потому что не должен огорчать тебя,— ты и без того достаточно истерзана долгими лишениями. Надеюсь, что через месяц я смогу, наконец, пролить бальзам утешения на твою удивительную душу. Я видел все твои письма генералу Мюрату и Бомону и то письмо, в котором моя обожаемая Эме пишет о своей красивой маменьке (sic!), я покрыл его тысячью поцелуев, так же как и те строки, которые ты приписала. Не могу выразить, насколько я тебе благодарен за то, что ты столь же горячо привязана к девочке, как и я, о чем свидетельствует твоя забота о ее воспитании. Благодаря такому поведению, поистине достойному тебя, ты стала мне еще дороже, и я не дождусь часа, когда смогу выразить тебе свои чувства. До свидания, моя возлюбленная жена, отныне тебе будет принадлежать еще большее место в моем сердце, потому что пережитые нами несчастья лишь укрепили связывающие нас узы. Поцелуй наше дитя, дорогих родителей, а также всех наших друзей. Безгранично преданный тебе

*Ал. Дюма,
дивизионный генерал».*

Генерал был столь любезен, что поручил своей супруге передать тебе 50 луйдоров; ты сможешь послать за ними сразу же по получении письма».

«Супругой» этой была Каролина Бонапарт. Бедный Дюма не подозревал еще ни о своей опале, ни о той пропасти, которая отделяла семью, ставшую самодержавной, от тех, кто пять лет назад были ей равны.

Орфография письма сомнительная, пунктуация — ужасная, но стиль очарователен и напоминает нам письма генерала Гюго. Эти солдаты, надолго оторванные от своих семей, проникались к ним самой трогательной любовью. Жены, дети становились для них тем дороже, чем более недостижимы они были. А Дюма, перенесшему немало страданий в Египте и еще больше в тюрьме, мирный семейный очаг в Вилле-Коттре, любящая жена и по давню должны были казаться раем. Госпоже Гюго, романтической бретонке, выданной замуж против воли, супружеская жизнь представлялась малопривлекательной; генеральша Дюма, мягкая и мудрая уроженка Валуа, сама выбрала себе мужа и любила его всем сердцем.

1 мая 1801 года генерал прибыл в дом Лабуре и свиделся наконец со своей молодой женой, дочерью восьми лет и родителями жены, которые начинали стареть. У изувеченного геркулеса не было ни гроша за душой: тюремщики отняли у него все деньги, которые он имел при себе, а жалованья за последние два года он так и не получил. Ну и что с того? Разве он не генерал Дюма, храбрец из храбрецов? Разве у него нет чина, нет прав? Разве у него не осталось в армии надежных друзей, таких, как Мюрат и особенно Брюн, сохранивший верность республиканским идеалам? Он бомбардировал военные канцелярии письмами. Тщетно! Бонапарт никогда не прощал недостаточную преданность своей персоне. Главному врачу Деженету, который, обследовав Дюма, нашел, что он очень плох, и хлопотал за него, первый консул написал:

«Так как вы считаете, что по состоянию здоровья он уже не сможет спать по шесть недель кряду на раскаленном песке или в трескучие морозы на снегу, прикрывшись лишь медвежьей шкурой, то как кавалерийский офицер он мне больше не нужен. Его с успехом можно заменить первым попавшимся капралом...»

Изгнанник осмелился обратиться к самому властителю.

Генерал Дюма — генералу Бонапарту, 7 вандемьера 10-го года:

«Генерал-консул, вы знаете, какие несчастья мне пришлось пережить! Вам известны мои стесненные обстоятельства! Вы помните о сокровищах Каира!.. Медленное отравление, жертвой которого я стал в неаполитанской тюрьме, настолько подорвало мое здоровье, что к тридцати шести годам на меня обрушились болезни, которыми обычно страдают лишь люди преклонных лет. Меня

постигло и другое горе, генерал-консул, и, должен признаться, для меня оно гораздо ужаснее тех бед, на которые я вам уже жаловался.

Военный министр в письме от 29 фруктидора прошлого года известил меня, что мое имя попало в список генералов запаса. Сами посудите, каково мне, в мои годы, с моим именем, быть вот так, одним росчерком пера, сброшенным со счетов. Я старше всех офицеров одного со мной звания. И вот уже генералы моложе меня получают назначения, а я, я — обречен на бездействие!.. Я взываю к вашему сердцу, генерал-консул, да внемлет оно моим жалобам. Позвольте мне надеяться, что вы сами соблаговолите защитить меня от врагов, которых я, возможно, нажил себе».

Ответа не последовало. Он попытался найти поддержку у начальника генерального штаба Леопольда Бертье, брата своего старого врага по итальянскому походу, и пригласил его поохотиться в живописных окрестностях Вилле-Коттре. Бертье приехал, увез дичь и прислал благодарственное письмо:

Леопольд Бертье, бригадный генерал, начальник генерального штаба — генералу Дюма, 7-й дополнительный день 10-го года:

«Мы доехали благополучно, дорогой генерал, и сожалеем лишь о том, что не смогли подольше остаться с Вами, чтобы засвидетельствовать Вам, как глубоко мы были тронуты тем радушием и дружбой, с которыми Вы нас принимали. Было бы очень любезно с Вашей стороны, если бы Вы приехали на несколько дней в мою деревушку Шампиньоле. Мой адъютант, постоянно находящийся в Париже, привез бы Вас. Не забудьте только отослать собаку накануне. Я заверяю Вас, что Вы у нас не соскучитесь. Помните, что Вы мне обещали приехать и что не в Ваших правилах изменять своему слову. Я надеюсь увидеть Вас в первые дни вандемьера, потому что в дни сбора винограда наша равнина прекрасна, как никогда. Непременно приезжайте, дорогой генерал, и предоставьте мне возможность оказать вам столь же радушный прием, каким Вы почтили меня.

Прошу вас засвидетельствовать мое почтение Вашей супруге. С дружеским приветом...»

В конце писем теперь расписывались не в республиканском братстве, а в воинской дружбе; но Бертье был из тех людей, для которых соображения карьеры выше всякой дружбы, и уж он никак не стал бы противиться решению первого консула.

24 июля 1802 года в доме на улице Лормеле Мари-Луиза произвела на свет сына, которого записали под именем Александра Дюма. Позже (в 1831 году) в акты гражданского состояния внесли поправку: к фамилии Дюма прибавили — Дави де ля Пайетри. Генерал попросил своего старого товарища генерала Брюна быть крестным отцом ребенка.

Дюма — Брюнц, 6 термидора 10-го года:

«Мой дорогой Брюн, с радостью сообщаю тебе, что вчера утром моя жена разрешилась от бремени большим мальчишкой; он весит девять фунтов, и в нем 18 вершков. Так что, если он будет так же быстро расти после своего появления на свет, как рос до, похоже, что он не подкачает. Да, кстати, хочу тебя предупредить: я рассчитываю, что ты будешь крестным отцом. Моя старшая дочь, которая посылает тебе нежный привет и воздушный поцелуй, будет тебе кумой. Приезжай поскорей, хоть новорожденный и не выказывает желаний покинуть этот мир; приезжай поскорей, потому что я уже давным-давно тебя не видел и очень хочу с тобой повидаться.

Алекс. Дюма

Р. С. Я распечатал письмо, чтобы сообщить тебе, что озорник только что пустил струю выше головы. Неплохое предзнаменование, а?»

Брюн — Дюма, 10 термидора 10-го года:

«Суеверие не позволяет мне исполнить твою просьбу. Я пять раз был крестным отцом, и все мои пять маленьких крестников умерли. Когда скончался последний, я дал себе клятву никогда больше не крестить детей... Посылаю гостинцы малютке, крестной и ее матушке».

На самом деле Брюн, всецело сочувствуя старому товарищу по оружию, попавшему в опалу, все же боялся возбудить недовольство властителя. Дюма настаивал, и они в конце концов пришли к компромиссу: Брюн будет крестным отцом, но передаст свои полномочия деду Лабуре, который за него подержит внука над купелью.

Генерал отдал свою дочь Эме в парижский пансион. Он страстно привязался к красавцу сыну, белокожему и голубоглазому, лишь курчавые волосы ребенка выдавали, что он на одну четверть африканец. Едва мальчик подрос, он горячо полюбил добряка отца. Он восхищался его феноменальной физической силой, которую отец сохранил, несмотря на болезни, блестящим шитьем мундира, ружьем с серебряной насечкой и подушечкой из зеленого сафьяна на прикладе.

Семья перебралась в маленький замок «Рвы», находившийся в деревушке Арамон неподалеку от Вилле-Коттре. Жили по-прежнему на широкую ногу. Генерал оставил у себя в услужении садовника, кухарку, сторожа и личного лакея негра по имени Ипполит.

В 1805 году Дюма, понимая, что здоровье его с каждым днем ухудшается, решил поехать в Париж показаться великому Корвизару. Он взял с собой жену и сына, которых хотел представить своим друзьям. Он

чувствовал, что смерть его близка, и хотел, чтобы у мальчика остались влиятельные покровители. У Мюрата и Брюна достало смелости принять приглашение на завтрак. Брюн был при этом сердечен, Мюрат — холоден. Год назад была провозглашена империя. Между новыми сановниками, маршалами, которые на глазах превращались в принцев или королей, и изувеченными в боях ветеранами революции не осталось ничего общего, кроме обременительных воспоминаний. Но маленький Александр на всю жизнь запомнил, как он в шляпе Мюрата скакал вокруг стола верхом на сабле Брюна.

Генерал Дюма попросил аудиенцию у императора и получил отказ. Корвизар не смог облегчить его страданий, и Дюма покинул Париж со «смертью в душе и теле». Может быть, стесненные средства, а может быть, желание переехать поближе к врачам заставило семью вернуться в Вилле-Коттре. Дюма поселились в гостинице «Шпага» вместе с дедом Лабуре, который тоже покинул насиженное место.

О последних месяцах жизни своего отца маленький Александр сохранил очаровательные воспоминания. Ребенок хорошо запомнил октябрьский день 1805 года, проведенный в соседнем замке, обтянутый кашемиром будуар, красивую молодую женщину, раскинувшуюся на софе. Это была Полина Бонапарт, княгиня Боргезе, разведенная со своим мужем.

«Когда отец вошел,— рассказывает Дюма,— она не встала с софы. Она протянула ему руку, подняла голову — и только. Отец хотел было сесть рядом на стул, но она усадила его на софу и, положив ножки ему на колени, кончиком туфельки играла пуговицами его мундира. Эта ножка, эта ручка, эта прелестная женщина, белая и пухленькая, рядом с темнокожим геркулесом, могучим и красивым, несмотря на свои болезни,— картину очаровательнее трудно себе представить.

Внезапно до нас донесся звук рожка, раздававшийся где-то в парке.

— Охота приближается,— сказал отец.— Зверя погонят по этой аллее. Давайте посмотрим на него, княгиня?

— Не стоит, дорогой генерал,— ответила она.— Мне здесь хорошо, и я не тронусь с места: ходьба меня утомляет; но если уж вам так хочется, можете поднести меня к окну.

Отец взял ее на руки, как кормилица берет ребенка, и поднес к окну. Он держал ее там минут десять... Затем уложил на софу и снова занял свое место подле нее. Что происходило потом за моей спиной, я не знаю. Я был целиком поглощен оленем, промчавшимся по дорожке парка, охотниками и собаками. Все это тогда интересовало меня куда больше, чем княгиня...»

В 1806 году Жан-Мишель Девиолен, кузен Лабуре, который остался полновластным хозяином лесов и распоряжался имперскими владениями точно так же, как когда-то управлял ими при герцоге Орлеанском (умершем на эшафоте), пришел к генералу Дюма с сообщением, что Бертье выхлопотал для него постоянное разрешение на охоту. Так сильные мира сего отделиваются мелкими подачками от тех угрызений совести, которые испытывают, совершив большую несправедливость.

И генералу захотелось еще раз сесть в седло и пуститься вскачь по лесам Вилле-Коттре, но болезнь победила победителя. Однажды, когда он возвратился с верховой прогулки, ему пришлось лечь в постель. Он впал в глубокое отчаяние и на какое-то мгновение потерял самообладание.

— Неужели генерал,— воскликнул он,— который в тридцать пять лет командовал тремя армиями, должен в сорок умирать в постели, как трус? О Боже, Боже, чем я прогневил тебя, что ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей?

Он призвал священника, исповедался, а потом, повернувшись к жене, испустил последний вздох у нее на руках в тот миг, когда часы пробили полночь.

Маленького Александра заранее увезли из дому к двоюродной сестре его матери. Вечером он заснул, но в полночь обоих, и женщину и ребенка, разбудил громкий стук в дверь. Малыш, несколько не испугавшись, кинулся к двери.

— Куда ты, Александр? — закричала хозяйка.

— Разве ты не видишь?.. Я хочу открыть папе, он пришел проститься с нами.

Она снова уложила малыша в постель, и он заснул. На следующий день она сказала:

— Мой бедный мальчик, твой папа, который тебя так любил, умер.

— Умер?.. Что это значит?

— Это значит, что ты его больше не увидишь.

— А почему я его больше не увижу?

— Потому что Господь Бог взял его к себе.

— А где живет Господь Бог?

— На небе.

Маленький Александр смолчал, но в первый же удобный момент кинулся домой. Он вошел, никем не за-

меченный, направился прямо в комнату, где висело ружье отца, и, взяв его, стал карабкаться вверх по лестнице. На площадке он столкнулся с матерью, которая вся в слезах выходила из комнаты покойного.

— Ты куда? — спросила она его.

— На небо.

— А что ты хочешь там делать, мой бедный мальчик?

— Я убью Господа Бога, который убил папу.

Она взяла его на руки и чуть не задушила в объятиях.

— Не говори таких слов, мой маленький! — воскликнула она. — Мы и без того достаточно несчастны!

Глава третья

ВОЛЬНОЕ ДЕТСТВО, ПРОВЕДЕННОЕ В ПРАЗДНОСТИ СРЕДИ ЛЕСОВ

Они и в самом деле были очень несчастны. Генерал не оставил им наследства, семье нечего было ждать от императора, который упорно отказывал в аудиенции жене бунтаря. Товарищи Дюма по оружию — Брюн, Ожеро, Ланн — напомнили императору о подвигах генерала Дюма. «Я запрещаю вам раз и навсегда, — сухо сказал Наполеон I, — упоминать в моем присутствии имя этого человека». Добиться для маленького Александра стипендии в лицее или военной школе оказалось невозможным. Наполеон не отличался великодушием Октавиана-Августа.

Жан-Мишель Девиолен, инспектор лесов, родственник и покровитель семьи Дюма, написал генералу Пиллю, графу империи, который состоял с ним в родстве и в бытность свою генеральным комиссаром революционной армии слыхал о героизме Дюма, чтобы сообщить о кончине доблестного и несчастного генерала:

«Он отошел в лучший мир вчера, в одиннадцать часов вечера, в Вилле-Коттре, куда вернулся, чтобы находиться под наблюдением врачей. Его унесла в могилу болезнь, явившаяся следствием тяжелых испытаний, перенесенных им в неаполитанской тюрьме по возвращении из Египта...

Оказавшись в запасе, тяжелобольной, он не переставал мо-

лить Бога о победе французского оружия. Воистину трогательно было слышать, как за несколько часов до смерти он говорил, что ему хотелось бы быть похороненным на поле Аустерлица».

Девиолен просил назначить пенсию вдове и сиротам, которых генерал оставил без всяких средств к существованию, так как долгая болезнь поглотила те скудные сбережения, которые у него были. Он получил от Пилля ответ отрицательный, хотя и скрашенный вполне официальным выражением соболезнования. Все хлопоты оказались напрасными, старикам Лабуре снова пришлось взять на себя заботу о дочери и внуках.

Маленький Александр был сообразительным, но непоседливым ребенком. Мать и сестра научили его читать и писать, но в арифметике он никогда не смог пойти дальше умножения. Зато он еще в раннем возрасте выработал почерк военного писаря — четкий, аккуратный, щедро украшенный завитушками. Графолог наверняка увидел бы в этом свидетельство тщеславия, впрочем, мальчик и впрямь любил похвастаться. Стоило ему прочесть Библию, Бюффона и трактат по мифологии, принадлежащий перу его земляка Демутье, как он решил, что знает все на свете, и с апломбом вмешивался в разговоры взрослых, делая им замечания серьезным, наставительным тоном, за что, к своему великому изумлению, «гораздо чаще получал пинки в зад, чем похвалы». Мать, беспокоясь о его будущем, попыталась было учить его музыке, но оказалось, что он начисто лишен слуха. Зато он научился танцевать, фехтовать, а немного позже и стрелять. И делал все это отлично.

В десять лет он увлекся физическими упражнениями и мечтал лишь о саблях, шпагах, ружьях и пистолетах. Главную роль в его жизни играла не семья, а лес. Вокруг Вилле-Коттре были огромные леса, и все местные сорванцы бегали туда охотиться, ставить силки, играть в дикарей и дружить с браконьерами.

Дюма было десять лет, когда один из его родственников, аббат Консей, умер, завещав ему стипендию в семинарии при условии, что он примет духовный сан. Бедная мать, не знавшая, куда его определить, ухватилась за эту возможность и умоляла сына пойти в семинарию хотя бы для пробы. Он поначалу согласился и получил от нее двенадцать су на чернильницу — такую, как у семинаристов. На эти деньги он купил хлеба, колбасы и отправился на три дня в лес охо-

титься на птиц. На четвертый день он вернулся домой.

Блудным сыновьям обычно оказывают самый горячий прием. И мать, изрядно натерпевшаяся страху, обняла его, расцеловала, пообещала никогда больше не упоминать о семинарии и послала его в местный коллеж аббата Грегуара.

Святой отец вскоре понял, что, хотя Дюма и сердечный мальчик, непомерная гордыня мешает ему проявлять добрые чувства. Александр был тщеславен, часто дерзил. Он мало чему научился: усвоил начатки латыни, начатки грамматики да еще усовершенствовал свой почерк, приделывая к буквам всевозможные росчерки, сердечки и розочки. Почерк его вызывал смешанное чувство восторга и отвращения. Что касается молитв, то тут он, как и в арифметических действиях, не пошел дальше первых трех: «Pater Noster, Ave Maria, Credo» («Отче наш, Богородице Дево радуйся и Верую»). По своим наклонностям он оставался тем же бродягой, дикарем и сорванцом, которого больше волновали звуки, пробуждающиеся в лесу с наступлением ночи.

Мать его, превосходная женщина, работающая и робкая, узнавала своего обожаемого мужа в этом рослом мальчике с африканской наружностью, мускулистом и сильным, которому в десять лет давали не меньше тринадцати-четырнадцати. Находясь полностью под его влиянием, она позволяла ему делать все, что взбредет в голову. Впрочем, ей не пришлось одной воспитывать этого славного и необузданного дикаря: верные друзья не бросили ее в беде. На специалистах в отличие от политических деятелей не отражаются смены режимов, и Девиолен, хоть он и служил империи, при Бурбонах остался на том же посту инспектора лесов; пост этот придавал ему огромный авторитет в глазах юного Александра. Вспыльчивый и ворчливый, но по сути своей добрейший человек, он казался мальчику «королем деревьев и императором листьев».

Опекуном Александра генерал Дюма назначил другого их соседа, Жака Коллара, человека приветливого и веселого; жена его была незаконнорожденной дочерью герцога Орлеанского (Филиппа Эгалите) и госпожи де Жанлис. Рассказы госпожи Коллар знакомили малень-

кого Дюма с эпохой старого режима так же, как рассказы матери — с эпохой империи.

То была грандиозная и небывалая эпоха. Через Вилле-Коттре проходили вражеские войска, и маленький Дюма во время французской кампании видел, как по городу ехал русский император в сопровождении казаков. Заслышав топот конницы, женщины укрылись в погребе, но ребенок, уцепившись за оконную задвижку, не дал себя увести и следил за боями. Несмотря на жестокость императора по отношению к семье Дюма, мать и сын слыли в городе бонапартистами. Вилле-Коттре оставался верен монархии. После реставрации мальчишки толпами приходили под окна вдовы и кричали: «Да здравствует король!» Но Дюма оставались верны мундиру генерала и в глубине души — Республике.

В 1815 году, когда Наполеон ждал своего часа на острове Эльба, два генерала, братья Лальманы, участвовавшие в заговоре против Людовика XVIII, были арестованы полицией Вилле-Коттре и освистаны населением роялистски настроенного городка. Госпожа Дюма была возмущена оскорблением, нанесенным эполетам, которые когда-то носил ее муж.

«Послушай, мой мальчик,— сказала она сыну,— мы сейчас совершим поступок, который может нас жестоко скомпрометировать, но в память о твоём отце мы обязаны сделать это».

Она повезла сына в Суассон, где содержались в заключении Франсуа и Анри Лальманы, и велела двенадцатилетнему ребенку передать им золото и пистолеты. Он храбро выполнил свою миссию. Но братья, зная, что император, только что высадившийся во Франции, спасет их, отказались от денег и оружия. Однако маленького Дюма это приключение утвердило в уважении к себе, в любви ко всему романтическому и во врожденном стремлении играть роль Вершителя Правосудия.

Во время Ста дней Наполеон дважды проезжал через Вилле-Коттре: в первый раз — направляясь на север, где он предполагал соединиться с армией, второй раз — после Ватерлоо, больной, безучастный ко всему окружающему, с низко опущенной головой. Он открывал шествие разбитой Великой Армии. Зрелище страшное, величественное и настолько возвышенное, что вызывало ужас. Раненые солдаты, кое-как перевя-

занные, лежа в телегах, размахивали окровавленными лохмотьями и кричали: «Да здравствует император!» Потом пришла печальная весть. Самый верный из друзей генерала Дюма, маршал Брюн, был убит в Авиньоне.

Подагрический старик, король Людовик XVIII вернулся из Гента в обозе чужеземных завоевателей. Смена режима поставила семью перед проблемой: не следует ли Александру, как предлагала ему мать, принять фамилию, на которую он имел право, — Дави де ля Пайетри? Ведь титул маркиза при Реставрации открыл бы перед ним все двери.

— Меня зовут Дюма, — гордо ответил молодой Александр, — и другого имени я не желаю... Да и что сказал бы мой отец, если б я отрекся от него и стал носить фамилию деда, которого я не знал?

Мать просияла.

— Ты действительно так думаешь? — спросила она.

— Но ведь и ты со мной согласна, верно, матушка?

— Увы, да! Но что станет с нами?

Генеральша Дюма получила патент на торговлю табаком и сняла лавочку у местного медника по фамилии Лафарж. Однажды к меднику приехал погостить его сын Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса. Он носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги, его цепочка для часов была увешана брелоками. Маленький Дюма был ослеплен этим великолепием. Он попытался сблизиться с главным клерком, и тот благосклонно отнесся к Александру. Лафаржу доставляло удовольствие рассказывать умному мальчику о Париже, о литературной жизни, о театрах; он даже показал ему собственные эпиграммы в стихах. Дюма увидел в поэзии путь к славе, возможность заставить говорить о себе, о которой он до сих пор и не подозревал, и стал умолять аббата Грегуара научить его писать французские стихи.

— С удовольствием, — сказал аббат, — но через неделю тебе это наскучит, так же как и все прочее.

Аббат хорошо знал своего ученика. К концу недели Александр был по горло сыт стихами. Корнель и Расин нагоняли на него смертную тоску. Сын генерала Дюма,

как и все его поколение, слышал слишком много волнующих рассказов, чтобы довольствоваться анализом чувств. Ему нужны были действия, пусть даже бессмысленные, но действия.

Однако юноша не может прожить одной охотой. Настало время подыскать Александру занятие. Госпожа Дюма обратилась к нотариусу Вилле-Коттре, мэтру Меннесону, тоже республиканцу, и попросила его взять Александра младшим клерком. Юному дикарю не хотелось расставаться со свободой, но тут он вспомнил о роскошном главном клерке, о его каррике с тридцатью шестью пелеринами, о золотой цепочке и утешился. Что ж, если служба у нотариуса обеспечит ему карьеру, доход и достаточно свободного времени для охоты, он готов поступить к нотариусу! Вначале ему там было неплохо. Его посылали со всевозможными поручениями, чаще всего он развозил документы на подпись окрестным крестьянам. Великолепная возможность совершать верховые прогулки, а иногда и пострелять в лесу!

Глава четвертая

СЧАСТЛИВОЕ ОТРОЧЕСТВО, ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ, УВЛЕЧЕНИЕ ДРАМОЙ

Жизнь его — самое увлекательное из всех его произведений, и самый интересный роман, который он нам оставил, — это история его приключений.

Брюнетьер

Весна 1818 года. Александру Дюма шестнадцать лет. Пора, когда пробуждаются желания, когда мальчики, дотоле презиравшие девочек, начинают искать их общества; когда по запрещенным книгам учатся вещам запретным и оттого еще более сладостным. Среди книг, оставшихся от деда, юный Дюма нашел «Похождения шевалье де Фоблаза». Шевалье, переодетый женщиной, одерживает одну победу за другой. «Я буду вторым Фоблазом», — решил тщеславный Дюма.

— Но для того чтобы соблазнять, — говорил ему Лафарж, — нужно быть элегантным.

Возможность блеснуть вскоре представилась: бал в Духов день, праздник, отмечающийся в Вилле-Коттре с большой пышностью. На балу должны были присутствовать приезжие барышни: племянница аббата Грегуара Лоранс и ее подруга испанка Виттория. Говорили, что им по двадцать лет и что они прехорошенькие. Александр перерыл гардероб покойного деда Лабуре. Там он нашел переложенные камфарой и нардом наряды времен старого режима: парчовые камзолы, шитые золотом красные жилеты, нанковые панталоны. Он запрыгал от радости, и облачившись в сюртук василькового цвета, решил, что он неотразим. На самом же деле наряд его выглядел старомодно и нелепо, но откуда бедному мальчику было знать об этом?

С гордым видом он подал руку белокурой Лоранс, острой на язык парижанке. Виттория, ее подруга, высокогрудая и пышнобедрая, типичная андалузка, казалась героиней испанской комедии. Он заметил, что, взглянув на него, девушки обменялись улыбками, и кровь бросилась ему в лицо. Однако, когда начались танцы, ему удалось взять реванш. Изумленные подруги признали, что маленький провинциал отлично справляется со сложнейшими антраша. Виттория нашла даже, что он очень неглуп.

Оркестр грянул вальс.

— Да вы прекрасно вальсируете! — сказала она с удивлением.

— Ваше мнение мне тем более лестно, что до сих пор я вальсировал только со стульями.

— Как это со стульями?

— Ну да, аббат Грегуар запретил мне танцевать с женщинами... И поэтому учитель танцев на уроках совал мне в руки стул.

Виттория засмеялась. В тот вечер он впервые ощутил на лице ласкающее прикосновение женских локонов, впервые проник взглядом за низкие вырезы корсажей, впервые любовался обнаженными плечами. Он испустил вздох, трепетный и счастливый.

— Что с вами? — спросила Виттория.

— Ничего, просто мне гораздо приятнее танцевать с вами, чем со стулом.

От неожиданности она опустилась в кресло.

— А он очень забавный, этот молодой человек! — сказала она Лоранс. — Да, он просто очарователен!

Из этого приключения Александр вышел немного обиженным на хорошеньких девушек, которые обошлись с ним, как с забавной игрушкой, и безумно влюбленным. Но влюбленным не в какую-нибудь определенную женщину, а влюбленным в любовь или, вернее, в наслаждение. И хотя парижанки подтрунивали над ним, он получил от них урок, который могут дать лишь женщины. Они помогли ему понять, что он хорошо сложен и недурен, но что эти врожденные качества следует подчеркнуть тщательным уходом за собой и элегантным нарядом. Словом, они помогли ему перейти границу, отделяющую детство от юности.

Он собирался испытать свои чары на девицах из Вилле-Коттре. А они, Бог свидетель, могли вскружить голову. Во всех трех сословиях, на которые делилось общество городка: аристократии, буржуазии и просто-народье, — подрастало очаровательное поколение. Какое наслаждение было смотреть на девушек, когда в воскресный день они, надев весенние платья с розовыми и голубыми поясками и маленькие шляпки собственного изготовления, бегали и резвились, смыкая и размыкая длинную цепь обнаженных округлых ручек!

Вскоре для Дюма наступила очень приятная жизнь. С девяти до четырех он переписывал документы в нотариальной конторе, потом обедал с матерью, а к восьми часам летом и к шести — зимой молодежь собиралась на лугу или в доме у одной из барышень. Образовывались парочки, украдкой пожимались руки, тянулись друг к другу губы. В десять часов каждый кавалер провожал свою избранницу. На скамеечке перед домом они проводили вместе еще час; блаженство их лишь время от времени прерывал ворчливый голос, призывавший девушку в дом, на что она, прежде чем повиноваться, кричала раз десять: «Иду, мама!..» О Маргарита! О Гёте!

Свою первую любовь Александр Дюма отдал не девицам Коллар, удачно вышедшим замуж за сыновей соседних помещиков, и не девицам Девиолен, но девушке из другой среды, промежуточной между буржуазией и простонародьем, которую составляли городские портнихи, белошвейки и торговки кружевами. Дюма встретил двух очаровательных девушек, блондинку и брюнетку, которые всюду появлялись вместе, будто каждая из них старалась оттенить красоту подруги. Блондинка Адель

Дальвен, которую он, чтобы не скомпрометировать ее, в первом издании «Воспоминаний» назвал Аглаей, была скорее веселой, нежели задумчивой, миниатюрной, нежели высокой, и пухленькой, нежели стройной.

«Любить ее было легко и сладостно, добиться ответной любви — очень трудно. Ее родители были старые добрые земледельцы, люди честные, но простые, и можно только удивляться, что в этом прозаическом семействе появился столь свежий и благоуханный цветок...»

В Вилле-Коттре все молодые девушки пользовались полной свободой.

«В нашем городке,— писал Дюма,— существовал обычай, скорее английский, нежели французский: молодые люди разного пола могли открыто посещать друг друга, чего я не видел ни в одном городе Франции; свобода эта казалась тем более удивительной, что родители молодых девиц были людьми крайне добропорядочными и в глубине души твердо верили, что все ладьи, плывущие по реке Нежности, оснащены парусами непорочной белизны и обиты флердоранжем...»

На самом же деле родители плохо знали человеческую натуру и в своем оптимизме доходили до безрассудства. После года сладостной борьбы, когда «юношеская любовь предъявляет свои требования, не утомляясь постоянными отказами, когда одна за другой завоевываются маленькие привилегии, каждая из которых в тот момент, когда ее даруют, наполняет душу радостью», Адель получила у матери разрешение спать в садовой беседке. И однажды дверь беседки, уже в течение года неумолимо захлопывавшаяся за юным Дюма ровно в одиннадцать часов, в половине двенадцатого тихонько отворилась вновь: за дверью его встретили ласковые объятия, сердце, бьющееся у его сердца, пламенные вздохи и безудержные рыдания. Этой ночью Александр познал свою первую любовь. Безоблачная идиллия продолжалась два года.

По воскресеньям молодежь ватагой отправлялась на деревенские праздники. Во время одного из праздников Дюма, отставший от товарищей, чтобы навестить знакомого фермера, встретил у поворота дороги молодую даму, которую хорошо знал. Каролина Коллар, ставшая несколько лет тому назад баронессой Каппель, гуляла в сопровождении незнакомца, похожего на немецкого студента. Этот высокий, худощавый юноша с темными коротко остриженными волосами, прекрасными глазами, большим, четко вылепленным носом и небрежной

аристократической походкой оказался виконтом Адольфом Риббингом де Левеном, сыном графа Адольфа-Луи Риббинга де Левена, шведского вельможи, известного своим участием в убийстве короля Густава III.

Графу де Левену, прозванному «прекрасным царевубийцей», пришлось эмигрировать и жить сначала в Швейцарии, потом во Франции, где он и сблизился с Колларами. С тех пор как любовь связала Дюма с девушкой из другого круга, он редко виделся с семьей своего опекуна. Госпожа Капель обласкала Дюма, сказала, что он непременно должен подружиться с Адольфом де Левеном, который почти одних с ним лет, и пригласила его погостить три дня в замке Вилле-Эллон, где жили Коллары. Там Дюма узнал, что Адольф де Левен пишет стихи и даже посылает молодым девицам элегии собственного сочинения, отчего он пришел в восторг. Главный клерк Лафарж открыл ему глаза, рассказав, какую славу приносят занятия поэзией. Дюма получил теперь этому новое подтверждение, которое потрясло его до глубины души.

Левен вскоре возвратился в Париж, но его место занял другой приятель.

Гусарского офицера Амедя де ля Понса в Вилле-Коттре привела, вероятно, любовь, потому что он вскоре женился на одной горожанке.

Этот образованный офицер принял участие в Дюма и однажды сказал ему: «Поверьте мне, мой мальчик, в жизни существует не только охота и любовь, но и труд. Научитесь работать, и вы научитесь быть счастливым».

Работать? Это было нечто совершенно новое для юного Дюма. Амедей де ля Понс, знавший немецкий и итальянский, предложил обучить его этим языкам. Они перевели вместе прекрасный роман Уго Фосколо. Офицер открыл для молодого клерка «Вертера» Гёте и «Ленору» Бюргера.

Очень важно понять характер Дюма, который сформировали одновременно и наследственность и воспитание. Своему отцу Александр обязан физической силой, великодушием, богатым воображением и честолюбием. Как и вся молодежь его поколения, духовными вождями которой были солдаты империи, он был напичкан рассказами о всевозможных приключениях, небывалых и кровопролитных. Драма была его стихией.

Он верил во всемогущество случая, во влияние мелких, незначительных фактов. Этих солдат то и дело спасал портрет, убивала шальная пуля, повергало в немилость дурное настроение властителя. Дюма полюбил в истории все, что связано с таинственной игрой случая. У него было природное чувство театрального, да и могло ли быть иначе? Сама эпоха была театральной. Но Дюма лучше, чем любой другой, лучше, потому что он сам был подобен стихийной силе, сумел выразить драматизм жизни, в котором тогда была так велика потребность.

Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь, унаследованная им от черной рабыни из Сан-Доминго. «Это второй Дидро, — говорили про Дюма, — аристократ по отцу, простолюдин по матери». Все это так, но вдобавок он был еще наделен невероятной плодовитостью и талантом сказителя, присущим африканцам. Стихийность его природы проявлялась в отказе подчиниться какой-либо дисциплине, и так как в доме не было мужчины, который мог бы его обуздать, он свободно бродяжничал по лесам. Школа не оказала никакого влияния на его характер, она не сформировала и не деформировала его. Любое притеснение было для него несносно. Женщины? Он их любил, всех сразу; он с самого начала убедился, что завоевать их расположение нетрудно, но не мог понять, к чему клясться в верности одной из них. При этом он вовсе не был аморален, он просто не знал общепринятых моральных норм. Какие любовные истории ему доводилось слышать? О регенте и его оргиях в замке Вилле-Коттре, отнюдь не подходящие для детских ушей; о титанах эпохи империи, завоевывавших сердца так же легко, как они завоевывали провинции, и относившихся со снисходительностью к женским слабостям. В юности он был страстным охотником, краснобаем, влюблялся во всех девушек, готовых слушать его рассказы, и был жаден до удовольствий. В восемнадцать лет его привлекает все, и особенно недостижимое. «Разве во мне нет, — думает Дюма, — того магнетизма, благодаря которому я выйду победителем там, где любой другой потерпит неудачу?»

Он твердо верил в свою звезду. Пыл его неистощим, это он чувствует. Знания, правда, невелики, зато в его глазах все имеет прелесть новизны.

Как-то в Суассон приехала труппа актеров с «Гамлетом» Дюси, и Дюма открыл для себя Шекспира, о существовании которого до сих пор не подозревал. В «Гамлете», обработанном Дюси, не осталось ничего шекспировского. И все же для молодого Дюма эта пьеса была откровением. «Вообразите слепца,— писал он,— которому вернули зрение, вообразите Адама, пробуждающегося после сотворения». На самом деле Дюма открыл для себя в Шекспире самого себя. Кипучая энергия людей Возрождения — что ж, он ею обладал. Он чувствовал себя гораздо ближе к ним, чем к буржуа времен Реставрации. В Шекспире его интересовали не идеи, не философские монологи и даже не изображение страстей, но свободное построение драмы и большая роль конкретных деталей: платок в «Отелло», крыса в «Гамлете», шейлоковский фунт мяса в «Венецианском купце». Словом, мелодраматические эффекты. Александр был потрясен, и так как он не привык сомневаться ни в чем и меньше всего в себе самом, то решил стать драматургом.

Ему удалось заразить своим энтузиазмом нескольких молодых людей из Вилле-Коттре, и среди них некоего Пайе, в ту пору главного клерка мэтра Меннесона, который пятьдесят лет спустя, уже старым судьей, написал воспоминания об этой любительской труппе. Адольф де Левен, к этому времени возвратившийся из Парижа (где он жил у друга своего отца драматурга Арно, был своим человеком за кулисами и знал многих актрис), руководил первыми шагами молодого Дюма.

«В нашем кружке было несколько прелестных молодых девиц, и это подстегивало в нас желание появиться с ними на подмостках. На чердаке мы пробовали свои силы как в возвышенном, так и в комическом жанре. Чердак этот находился в большом доме, расположенном в глубине двора гостиницы «Шапага»... Низ его занимал торговец лесом, снабжавший нас досками, из которых наш товарищ Арпен сколачивал скамьи для зрителей... Оформленные зала не представляла трудностей. Охапки веток из соседнего леса, содержимое семейных гардеробов, ящики с цветами вскоре превратили наш чердак в прилично и красиво убранный зал. С декорациями мы тоже справились успешно, но сама постановка пьесы, будь то драма или комедия, требовала больших усилий. Вот тут-то Дюма и доказал, что он незаменим. Он был сразу и актером, и режиссером, и учителем дикции и пластики. Он сам выбирал пьесы для постановки в тех случаях, когда не навязывал нам своих: «Артаксеркса», «Абенсерагов» и пр. Он с голоса учил актеров правильной интонации, определял мизансцены, показывал жесты. Он говорил нам, на каких словах в фразе необ-

ходимо сделать ударение, куда смотреть, как улыбаться — словом, полностью объяснял каждому его роль. Аплодисменты были ему необходимы как воздух. Если прием оказывался недостаточно горячим, он сердился и считал, что в этом виноваты актеры, но никак не он»

За 1820 и 1821 годы они вместе с Адольфом де Левеном набросали несколько пьес, одну из которых, водевиль в стихах «Страсбургский майор», сам Александр был склонен считать шедевром. Но вскоре Левен опять уехал, увезя с собой его душу, а Адель Дальвен вышла замуж, разбив его сердце. Ему очень хотелось покинуть Вилле-Коттре и поехать вслед за Левеном в Париж. В воображении он уже представлял себе, как его венчают лаврами, осыпают золотом. А между тем приходилось за стол и жилье переписывать брачные контракты и составлять завещания для нотариуса в Крепи-ан-Валуа. Туда однажды и зашел его приятель Пайе и предложил ему съездить на два дня в столицу.

Но где взять деньги на дорогу? Молодого браконьера не остановили такие пустяковые препятствия. Он возьмет с собой ружье, по дороге будет охотиться, дичь продаст — и добудет деньги на расходы. Так он и сделал. По прибытии в Париж у него остались четыре зайца, двенадцать куропаток и две перепелки; в обмен на это хозяин отеля «Великие августинцы» согласился приютить его на два дня. Сражение было выиграно. Оставалось только достать билеты в театр. На следующий день в Комеди Франсез давали «Суллу» с великим Тальма в главной роли. Дюма дал себе клятву попасть в театр и помчался к Адольфу Левену, который согласился провести его к Тальма. Они застали великого артиста в его уборной; Адольф сказал, что его друг — сын генерала Дюма. Тальма помнил красавца генерала и выписал контрамарку.

Тальма в то время безраздельно господствовал во Французском театре, где только он один мог еще заставить публику смотреть классическую трагедию, которая из-за внешней холодности стала малопопулярной в это бурное время. Традиции предписывали актерам крайний аристократизм интонаций и манер. Тальма же старался в своей игре спуститься до уровня чувств простых смертных. Наполеон, просвещенный поклонник великих трагиков, как-то сказал ему: «Посмотрите на меня, я,

без сомнения, самая трагическая личность нашего времени. И все же видели ли вы когда-нибудь, чтобы мы воздевали руки, вставали в заученные позы, принимали величественный вид? Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы мы испускали крики? Конечно, нет, мы говорим естественно... Вот пример, над которым вам следует поразмыслить».

Тальма последовал совету и поразмыслил. Он постарался освободиться из-под ига напевного стиха, выразить некоторые оттенки чувств пантомимой. В «Британнике», во время знаменитого объяснения с Агриппиной, Тальма, чтобы изобразить скуку, овладевшую Нероном, играл краем плаща и разглядывал узоры на нем. Невероятная для того времени смелость! В ролях классического репертуара он изображал характер, который можно было бы назвать романтическим. В его исполнении герои становились фатальными, сумрачными и вдохновенными. Тут явно сказалось влияние «Рене» Шатобриана. В то же время Тальма изучал историю и, отойдя от «универсального человека» классиков, придавал своим героям черты, присущие их национальности и эпохе. Он был постоянным посетителем музеев и библиотек. Короче говоря, он шел по тому пути, по которому затем пойдут Гюго, Виньи и Дюма. Чтобы угодить вкусам боготворившей его молодежи, он превращал трагедию в драму. Был ли он прав? Это уже другой вопрос. Но он хорошо чувствовал свое время, понимал его и льстил ему.

На следующий день Александр увидел Тальма на сцене и был потрясен простотой, мощью и поэтичностью его игры. Когда занавес упал под гром аплодисментов и крики «браво!», юный зритель не сразу очнулся, настолько он был восхищен и околдован. Адольф де Левен предложил провести его в уборную трагика. Дюма вошел туда с бьющимся сердцем, смущенный и красный как рак.

— Тальма,— сказал Левен,— мы пришли вас поблагодарить.

— А,— откликнулся Тальма,— значит, наш юный поэт доволен?.. Пусть он приходит завтра. Я играю в «Регуле».

— Увы,— вздохнул Дюма,— завтра мне придется уехать из Парижа. Я клерк у провинциального нотариуса.

— Ба,— сказал Тальма,— да сам Корнель был клерком у прокурора!.. Господа, представляю вам будущего Корнеля!

Дюма побледнел.

— Прикоснитесь к моему лбу,— попросил он Тальма,— это принесет мне счастье.

— Да будет так! — сказал Тальма.— Нарекаю тебя поэтом во имя Шекспира, Корнеля и Шиллера.— Потом добавил: — Смотрите-ка, сколько пыла в этом мальчике. Из него должно выйти что-нибудь путное.

В мальчике и впрямь были энтузиазм и ненасытная жажда славы. «Не сомневайтесь,— сказал он Адольфу де Левену,— я вернусь в Париж, ручаюсь вам».

Возвратившись в отель, он застал там главного клерка Пайе, ходившего в Оперу слушать «Волшебную лампу», на двоих у них оставалось всего двенадцать франков. Они решили уехать из Парижа на рассвете. Но, пробегая в последний раз по улицам спящего города, Александр уверенно намечал места своих будущих триумфов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЗАВОЕВАНИЕ ПАРИЖА

Он окинул этот гудевший улей алчным взглядом, как будто предвкушая его мед, и высокомерно произнес: «А теперь кто победит — я или ты?»

Бальзак. «Отец Горно»

Глава первая,
В КОТОРОЙ ДЮМА ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ
ПАЛЕ-РОЯЛЬ, ШАРЛЯ НОДЬЕ
И СТАНОВИТСЯ ОЦОМ

Возвратившись в Вилле-Коттре, молодой Дюма, у которого от счастья и честолюбия закружилась голова, объявил матери, что принял решение перебраться в Париж. Лишь там найдется театр, достойный его таланта, театр, законодателем которого он наверняка станет в один прекрасный день. Но где достать деньги на первые расходы? Когда умерли ее родители, бедная генеральша Дюма была вынуждена реализовать наследство, чтобы отдать долги. После расплаты с кредиторами у нее осталось всего-навсего двести пятьдесят три франка. Она была готова отдать сыну пятьдесят. Он тоже продал своего пса Пирама за сто франков. Но этого было явно недостаточно. На что жить в столице?

«Я обращаюсь к старым друзьям отца: к маршалу Виктору, герцогу Беллюнскому, он теперь военный министр, к генералу Себастьяни, к маршалу Журдану... Они подыщут мне место в одной из своих канцелярий с жалованьем в тысячу двести франков в год для начала. Потом я получу повышение, и, как только начну зарабатывать полторы тысячи франков, выпишу тебя в Париж».

Если Александр чего-нибудь сильно хотел, для него не существовало препятствий. Его мать, куда менее склонная к прожектерству, выдвинула ряд возражений. Как отнесутся эти военные, ставшие роялистами, и притом рьяными, как и все вновь обращенные, к сыну республиканского генерала? Александра это вовсе не беспокоило. На всякий случай он запасется письмом к гене-

ралу Фуа, депутату, лидеру оппозиции. Что же касается денег на проезд, он обыграет в бильярд папашу Картье, который продает билеты на дилижанс. Так он и сделал.

И вот однажды в пять часов утра дилижанс высадил молодого Дюма у дома № 9 по улице Булуа, в самом центре Парижа. Ему исполнилось двадцать лет, у него не было никакого жизненного опыта, зато уверенности в своих силах хоть отбавляй. Он отправился в гостиницу «Великие августинцы», где еще помнили его появление с зайцами и куропатками. Проспал четыре часа, потом побежал к Адольфу де Левену, чтобы узнать у него адрес маршала Журдана, генерала Себастьяни и герцога Беллюнского. Левен, слегка ошарашенный, справился в «Альманахе двадцати пяти тысяч адресов», сообщил необходимые сведения и предсказал крах этой затеи. И он был прав. Хотя оба генерала и приняли Дюма, но один усомнился в личности посетителя, сочтя его самозванцем, второй — указал ему на дверь. Что же до военного министра, то он просто не дал аудиенции. Теперь вся надежда была на оппозицию, другими словами — на генерала Фуа. Здесь Дюма ожидал совершенно иной прием.

— Вы сын того самого генерала Дюма, который командовал Альпийской армией?

— Да, генерал.

— Он был настоящим героем. Чем могу служить? Буду счастлив оказать вам помощь.

Александр изложил свою просьбу. Он хочет найти место, и как можно скорее.

— Ну что ж, посмотрим. В чем вы сильны? Знаете математику? Имеете представление об алгебре, геометрии, физике?

— Нет, генерал.

— Изучали право?

— Нет, генерал.

— Ах, черт!.. Постойте, я мог бы, пожалуй, определить вас к баңкиру Лаффиту... Вы знаете бухгалтерию?

— Не имею ни малейшего понятия.

С каждой фразой генерал все больше приходил в замешательство. Дюма сказал, что сознает, сколь недостаточно его образование, однако он постарается наверстать упущенное.

— Весьма похвально, мой друг, но есть у вас пока хоть какие-то средства к существованию?

— Нет, генерал.

— Черт возьми!.. Оставьте мне ваш адрес, я должен подумать.

Дюма написал адрес. Генерал следил за тем, как он пишет, и вдруг захлопал в ладоши.

— Мы спасены! — воскликнул он. — У вас прекрасный почерк!

Надо сказать, что Дюма в ту пору и впрямь ничем больше не обладал, если, конечно, не считать его таланта, тогда, впрочем, еще никак не проявившегося. Но генерал, очевидно, счел, что этого вполне достаточно.

— Сегодня я обедаю у герцога Орлеанского, — сказал он. — Буду вас рекомендовать — может, он возьмет вас в свою канцелярию.

Герцог Орлеанский (будущий король Луи-Филипп) и в самом деле был в лучших отношениях с депутатами оппозиции, в чьих интригах он принимал участие, чем с правительством своего кузена Карла X.

Назавтра, когда Дюма, несмотря на весь свой апломб, уже начинавший беспокоиться о будущем, предстал перед генералом Фуа, тот, улыбаясь, сказал ему:

— Все устроилось. Вы поступаете в канцелярию герцога Орлеанского и будете получать тысячу двести франков в год. Деньги, конечно, небольшие, но работайте хорошо — и дальнейшее зависит от вас.

«Небольшие деньги!» Молодому провинциалу это казалось целым состоянием. Он сразу же написал матери, уговаривая ее продать то небольшое, что у нее осталось, и переехать к нему в Париж. У госпожи Дюма хватило, однако, здравого смысла настоять на отсрочке, а пока она выслала ему мебель, и он снял маленькую комнатку в доме № 1 на Итальянской площади. Ему предстояло работать в Пале-Рояле, штаб-квартире Орлеанского дома. Там размещались личная канцелярия герцога и управление его поместьями, целая армия чиновников, среди которых был и наш старый знакомый Девиолен, управлявший теперь всеми лесными угодьями. Новый начальник Дюма, господин Удар, принял его любезно и сразу же указал ему его конторку. Отныне он будет каждый день работать здесь с десяти утра до пяти вечера, а после двухчасового перерыва возвращаться и сидеть еще с семи до десяти. Где тут выкроить время, чтобы стать великим человеком?

Он обещал генералу Фуа пополнять свое образование; в этом ему очень помогал Лассань, человек недюжинных знаний. Лассаня в равной мере поразили невежество молодого человека и его ум. Он составил для него превосходный список авторов от Эсхила до Шиллера, не забыв ни Платона, ни Мольера. Он давал ему читать книги французских и иностранных классиков, мемуары, хроники. Дюма пожирал их с жадностью неопита. И в невежестве есть свои преимущества: когда классиков читают слишком рано, их не понимают и проникаются к ним отвращением. Если же их открывают в двадцать лет, в возрасте, когда начинают испытывать описываемые ими чувства, к ним привязываются. Так было и с Александром Дюма. В 1823 году, когда он приехал в Париж, во Франции зарождалась новая литература, Ламартин опубликовал «Размышления», Виктор Гюго — «Оды и баллады», Альфред де Виньи — поэмы. Скромный чиновник герцога Орлеанского и не подозревал о существовании этих писателей, но, не зная их, он разделял их стремление обновить французскую литературу.

Его первое знакомство с литературной школой, покорившей вскоре Париж, произошло по воле случая, этого самого ловкого из гидов. Как только Дюма переехал в Париж, ему захотелось ходить в театры, чтобы изучать свою настоящую профессию, потому что с тех пор, как он познакомился с Левеном и Тальма, он твердо решил стать драматургом. На представлении нелепейшей мелодрамы «Вампир» молодой провинциал оказался соседом обаятельного седовласого эрудита и запросто и без околичностей вступил с ним в беседу. Любезный сосед, которого забавляли наивность и искренность Дюма, преподал ему урок библиофилии и хорошего вкуса, но был к концу третьего акта выведен из зала за свистки во время действия. Назавтра Дюма узнал из газет, что возмутителем спокойствия был не кто иной, как знаменитый писатель Шарль Нодье. Лассань сообщил ему, что Нодье — блестящий критик, автор романов и причудливых сказок и что стать его другом — большая честь. Однако для того чтобы быть принятым в том кругу, где вращается Нодье, необходимо добиться признания.

Но как этого достичь? Левен, с которым Дюма сохранял близкие отношения, убеждал его попытаться

свои силы в легком жанре. Они сочинили вместе одноактный водевиль в стихах «Охота и любовь», пьеску пошловатую и посредственную, хоть в ней и было несколько довольно занятых карикатур на охотников Вилле-Коттре. Но все же водевиль был принят к постановке в Амбигю и принес Дюма три сотни франков, что равнялось его жалованью за три месяца. Это очень подбодрило Дюма, да и пятнадцать луидоров пришлось как нельзя более кстати, потому что начинающий драматург, успев к этому времени забыть свои провинциальные увлечения, принялся соблазнять чувствительную белошвейку, которая, по ее собственному признанию, была на восемь лет старше его.

Катрина Лабе была его соседкой по этажу в доме на Итальянской площади. Она содержала там небольшую мастерскую и умело управляла несколькими работницами. Белокурая, пухленькая, с очень белой кожей, весьма серьезная по натуре, Катрина была уроженкой Руана, где она, по ее словам, вышла замуж за «полоумного», которого ей потом пришлось бросить. На самом деле и «брак» и «сумасшедший» муж были плодами ее воображения. Когда, много лет спустя, Катрина Лабе официально усыновляла Александра Дюма-сына, ей пришлось из боязни, что документ могут потом счесть недействительным, признаться, что она никогда не была замужем¹.

По воскресеньям Александр Дюма возил соседку в Медонский лес. Там они располагались на отдых, первое время на траве, потом — в одном из темных гротов. А что может быть опаснее для добродетели белошвеек, чем гроты? Голубоглазый кварталер был пылок, настойчив, немыслимо мужествен и невообразимо красив. Вскоре Катрина поняла, что у нее будет ребенок. Она убедила любовника экономии ради переселиться в ее квартиру и там 27 июля 1824 года родила ему здорового мальчугана, при крещении получившего имя Александр. Третий по счету Александр в роду Дюма.

Так скромный чиновник в двадцать два года стал отцом семейства. Он очень уважал мать своего ребенка, но отнюдь не был склонен сделать ее подругой жизни, так как мечтал совсем о другом. Прочитанные романы

¹ Все биографы утверждают обратное, но, чтобы выяснить истину, достаточно посмотреть документ об усыновлении и свидетельство о смерти Катрины Лабе.

до того распалили его воображение, что он представлял себе знатных дам, кидающихся ему на шею, красавиц актрис, совершающих ради него безумства, роскошные оргии. Маленькая белошвейка обладала всеми достоинствами: здравым смыслом, трудолюбием, преданностью и даже обаянием, но у нее не было ни образования, ни влиятельных родственников. И Дюма решил сохранить свою свободу для более волнующих приключений.

К тому же ему приходилось считаться и с генеральшей Дюма, которой он так и не осмелился сказать ни о своей связи, ни о ребенке. Мать находила, что разлука с сыном слишком затянулась, и, опасаясь, что жить ей осталось недолго, выражала настойчивое желание переехать к нему. Он немедленно дал свое согласие и снял для мадам Дюма квартиру в доме № 53 по улице Фобур-Сен-Дени за триста пятьдесят франков в год. Тут весьма кстати подоспело повышение. Вместо тысячи двухсот он стал получать полторы тысячи франков в год. Прекрасный почерк произвел такое впечатление, что господин Удар рекомендовал его герцогу Орлеанскому как лучшего переписчика канцелярии, выполняющего работу быстро и хорошо.

«Вы сын того храбреца, который по вине Бонапарта умирал с голоду? — спросил герцог. — У вас прекрасный почерк, вы великолепно надписываете адреса; проходите в кабинет и садитесь за стол. Я дам вам для переписки один документ».

Через две недели после этой памятной аудиенции Дюма был зачислен в штат, то есть получил постоянную должность, и, следовательно, был навсегда застрахован от опасности умереть с голоду. Все было бы хорошо, но служба поглощала его целиком, не оставляя времени для занятий театром. Две недели в месяц он числился ответственным «за почту»: в его обязанности входило после обеда отсылать герцогу Орлеанскому в Нейи все вечерние газеты и полученные за день письма, а затем сидеть в канцелярии, ожидая возвращения курьера с указаниями его высочества. В эти вечера он не мог ходить в театр. Исключение составляла Комеди Франсез, находившаяся под одной крышей с канцеляриями Пале-Рояля. Когда играли Тальма или мадемуазель Марс, лучшего нельзя было и желать. В остальные вечера Дюма в ожидании курьера читал Вальтера Скотта и Байрона — в переводе.

— Будущее за этими авторами,— говорил ему Лассань.— Наши неоклассические трагедии в самом скором времени будут забыты. Вы увидите, как появятся смелые писатели, не боящиеся нового. Постарайтесь быть одним из них.

Дюма больше ничего и не желал. А пока, в ожидании блестящего будущего, он зарабатывал четыре франка пять су в день. Генеральша Дюма приехала в Париж, привезя с собой мебель и ту скудную сумму, которая у нее осталась от наследства. Катрина Лабе и ее сын тоже нуждались в его помощи. Целых три человека на содержании скромного служащего!

Александр не сомневался, что, будь у него время писать, он создал бы шедевры. Но для этого необходимо было освободиться от «почты», пожиравшей все его вечера. Где наблюдать людские страсти, как не в свете? А когда он мог бывать в свете, если он уходил из канцелярии совершенно без сил в десять часов вечера?

Бывали дни, когда угнетенный непомерными расходами, интригами, суетой, неизбежной в большом городе, он сожалел о безмятежной и идиллической жизни в Вилле-Коттре.

Глава вторая,

В КОТОРОЙ ДЮМА ОТКРЫВАЕТ ДРАМУ, КОРОЛЕВУ ХРИСТИНУ И МАДЕМУАЗЕЛЬ МАРС

В 1827 году в Париж приехала на гастроли труппа английских актеров — они предполагали дать несколько представлений в Одеоне, затем в театре Фавар. Еще в 1822 году другая труппа пыталась ставить Шекспира на английском языке в театре Порт-Сен-Мартен. Но в те годы у французов еще свежи были в памяти Ватерлоо и победы Веллингтона. Англичан считали друзьями Людовика XVIII, этого было достаточно, чтобы они стали врагами парижского партера. Злополучных актеров закидали яблоками и апельсинами, что было, конечно, своеобразным проявлением патриотизма.

Прошло пять лет после этой неудачной попытки; обстановка изменилась. Великие актеры Фредерик Леметр и Мари Дорваль подняли мелодраму до уровня искусства. Нельзя сказать, что победа была окончательной. Драма, сосланная на бульвары, не получила еще вида на

жительство в Комеди Франсез: ведь даже революционная Франция охраняла храмы, где освящалась любая слава. Наполеон хотел, чтобы его короновали в Соборе Парижской Богоматери; молодые драматурги-иконоборцы вознамерились покорить Комеди Франсез. Вот почему состязания между Шекспиром, известным во Франции лишь узкому кругу людей, да и то по отвратительным переводам, и классической трагедией ожидали как большого события. Успех английских актеров превзошел все ожидания. Экспрессия их пантомим сначала поразила зрителей, потом привела в восторг. Сцены агонии, в которых Кин корчился и извивался, ошеломили публику, привыкшую к благопристойным кончинам во Французском театре. Кембль умирал, как умирают в жизни. Его сатанинский сардонический смех еще долгое время будет звучать на французской сцене. Мисс Гарриет Смитсон в сценах безумия и голода не уступала в реализме своим товарищам. А когда королева трагедии мадемуазель Марс, посетив один спектакль англичан, стала ходить на них каждый день, романтики торжествовали. «Наши актеры ходят к англичанам, как в школу,— писали они,— и смотрят на них во все глаза».

Влияние англичан заставило актеров с бульваров утрировать изображаемые ими чувства, искать пьес со сценами безумия, бреда, агонии. Бокаж и Дорваль хотели найти пьесы, которые позволили бы им соперничать с победоносными гостями. Дюма дал себе клятву создать для них такие пьесы. Он посещал все спектакли англичан и делал записи.

«Я видел в роли Отелло Тальма, Кина, Кембля, Макриди и Жоанни... Тальма играл мавра, которого уже коснулась венецианская цивилизация; Кин — дикого зверя, полутигра, получеловека; Кембль — мужчину в расцвете сил, вспыльчивого и неистового в гневе; Макриди — араба времен гренадского халифата, изящного и рыцарственного; Жоанни — играл Жоанни...»

Он бешено аплодировал Макриди, Кину, Кемблю и прекрасной Гарриет Смитсон. Сцены безумия, убийства, самоубийства, ревность Отелло, смерть Дездемоны потрясали его до глубины души.

«В первый раз,— писал он,— я видел в театре подлинные чувства, испытываемые мужчинами и женщинами из плоти и крови».

Он не знал английского, но ему было достаточно жестов, мимики и интонаций.

Увидев на сцене шекспировские трагедии, он понял, наконец, к чему стремится сам: свободно живописать великие события, вывести на сцену насилие, которое классики оставляли за кулисами, потрясать зрителей неожиданностью развязок. Он не имел никакого опыта в делах страсти, зато обладал врожденным чувством драматического. Но какой сюжет выбрать? Античность аннексировали классики. Современные темы были слишком опасны. Случай и тут помог ему: в ежегодном салоне живописи и скульптуры его внимание привлек барельеф, изображающий убийство Джиованни Мональдески, умерщвленного в 1657 году в Оленьей галерее Фонтенбло по приказу Христины, королевы шведской. Мональдески? Христина? Кто они такие? Молодой Дюма ничего не знал об этой мрачной истории. Тогда он попросил «Всемирную биографию» у одного из своих друзей, Фредерика Сулье, который в отличие от него самого был человеком образованным и даже довольно состоятельным, так как получил в наследство небольшую деревообделочную фабрику. Дюма прочел статью о Мональдески и статью о Христине.

Из них он узнал, что любовник шведской королевы Мональдески, приревновав ее к итальянцу Сентинелли, начинающему входить в фавор, написал оскорбительные и компрометирующие Христину письма и был убит своим соперником в замке Фонтенбло по приказу разъяренной королевы. Да, здесь, несомненно, был материал для драмы.

— Давай напишем ее вместе,— сказал он Сулье, с которым уже пытался переделать для театра один из романов Вальтера Скотта.

— Да ведь это не драма, а трагедия,— сказал Сулье.

Тогда они решили, что каждый напишет свою «Христину». Кто кончит первым, попытает счастья. Но Дюма был всего-навсего мелким служащим в канцелярии герцога Орлеанского и не мог располагать своим временем. Необходимо было любой ценой высвободить себе вечера. Он набрался духу и отправился к господину Удару.

— Я знаю лишь один способ выполнить вашу просьбу,— сказал господин Удар благожелательно,— а именно: перевести вас из личной канцелярии в одно из управлений, где нет вечерней работы, к примеру, в

управление лесными угодьями... Но это погубит вашу карьеру.

Дюма верил, что карьера ждет его не на административном поприще, он согласился на перемещение и перешел в управление лесными угодьями, которым ведал отзвучивый ворчун Девиолен. Там он сразу же чуть ли не со скандалом потребовал себе отдельный кабинет, где мог бы работать в полном одиночестве. Благодаря покровительству Удара ему сделали и эту поблажку. Отныне, освобожденный от мелочной опеки, изолированный от начальства и коллег, он смог благодаря своему замечательному почерку выполнять работу с поразительной быстротой и урывать каждый день по несколько часов для пьесы. Вскоре «Христина», пятиактная драма в стихах, была закончена.

«Я был так же смущен этим событием,— вспоминал Дюма,— как бедная девушка, которая родила незаконного ребенка! Но что делать с этим бастардом, с этой рукописью?»

Задушить ее, как и те трагедии, что он писал прежде? Мера эта показалась ему слишком жестокой: ребенок был полон сил и явно хотел остаться в живых. Ему нужен был лишь театр, который бы его приютил, и публика, которая бы его усыновила. Но как их найти? Если бы Тальма был жив, Дюма напомнил бы ему об их встрече. Но Тальма умер в 1826 году, а Дюма никого не знал в Комеди Франсез.

Суфлер прославленного театра каждый месяц приносил в канцелярию Пале-Рояля билеты для герцога Орлеанского. Дюма остановил в коридоре этого густобрового человека и спросил, что следует предпринять, чтобы добиться высокой чести прочесть пьесу перед советом Французского театра. Суфлер сказал, что рукопись оставляют у экзаменатора, но что у того лежат тысячи рукописей и есть риск прождать долгие годы.

— А нельзя ли обойти эти формальности?

— Можно, если вы знакомы с бароном Тейлором.

Барон Тейлор, англичанин, родившийся в Брюсселе, офицер, принявший французское подданство, друг Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, стал в 1825 году, на тридцать седьмом году жизни, благодаря покровительству Карла X, который пожаловал ему дворянство, королевским комиссаром при Комеди Франсез. Выбор оказался удачным. Тейлор, сам художник, писал декора-

ции ко многим спектаклям, создавал эскизы костюмов. Он сочинял комедии и перевел вместе с Нодье драму с английского. Виньи был его товарищем по полку; Шатобриан познакомил его с Гюго, и Адель Гюго приглашала его приходить к ним «запросто» на завтрак. Как и всех его предшественников, Тейлора назначили в Комеди Франсез, с тем чтобы он навел там порядок: как и подобает, он лелеял грандиозные проекты, которые предполагали постановку совершенно непригодных для театра пьес, например шатобриановского «Моисея». Классицисты попрекали его английской фамилией. «Этот соотечественник Шекспира,— говорил один из недовольных актеров,— презирает Корнеля, Расина и Вольтера». Ему вменяли в вину пышные декорации, бешено дорогие постановки и литературные вкусы. В глазах же беспристрастных свидетелей он был честным и либеральным администратором, весьма способствовавшим утверждению романтической школы во Франции. В 1828 году Комеди Франсез благодаря ему приняла к постановке «Ромео и Джульетту» Виньи и Дешана. Правда, пьеса так и не увидела света рампы, но кому удастся добиться всего сразу?

Дюма спросил у своего любезного и эрудированного начальника Лассаня:

— Вы знакомы с бароном Тейлором?

— Нет,— ответил Лассань,— но он близкий друг Нодье. Вы мне как-то рассказывали, что сидели с ним рядом в театре... Напишите ему, напомните об этой встрече.

— Он, должно быть, давно меня забыл!

— Он никогда ничего не забывает... Напишите ему.

Риск был невелик. Дюма написал письмо, в котором вспоминал «Вампира», их беседу, библиофилию, свистки, изгнание из театра и в заключение просил Нодье рекомендовать его барону Тейлору. Незамедлительно пришел ответ в виде записки от самого Тейлора, который приглашал Дюма прийти к нему на квартиру в семь часов утра. Дюма явился в назначенный час. Ему открыла дверь старуха горничная.

— Начинайте, молодой человек! Я вас слушаю,— сказал Тейлор, который в это время принимал ванну.

— Я прочту вам только один акт, и, если вам наскучит, вы меня остановите.

— В добрый час! — пробормотал Тейлор. — В вас больше жалости к ближнему, чем в ваших коллегах. Что ж, это хорошее предзнаменование. Я вас слушаю.

Дюма кончил первый акт и спросил, не решаясь от страха поднять глаза:

— Мне продолжать, сударь?

— Ну конечно, — ответил вконец продрогший Тейлор. — Но только сначала я должен лечь в постель. Черт меня поberi, это хорошо!

И королевский комиссар сам потребовал, чтобы Дюма прочел сначала третий, потом четвертый, а потом и пятый акты «Христины». Когда Дюма умолк, Тейлор вскочил с постели и закричал:

— Вы сейчас поедете со мной в Комеди Франсез!

— Позвольте спросить зачем, сударь?

— Чтобы вас внесли в списки для прослушивания.

— Значит, я смогу прочесть «Христину» совету?

— В следующую же субботу!

Дюма прочел «Христину» совету и в первый раз увидел в непосредственной близости королей и королев театра. Пьесу приняли при условии «доработки»: поскольку в ней были допущены большие вольности, совет постановил, что она должна быть отдана на суд автору, на которого Комеди Франсез может полностью положиться. Но Дюма был слишком счастлив, чтобы придать значение подобной оговорке. Его пьеса принята Комеди Франсез, а ему всего двадцать шесть лет! Какое чудо! Мать, видя, что он вернулся домой раньше обычного, пришла в ужас. Что случилось? Неужели Александра прогнали со службы?

— Приняли, матушка! — радостно закричал Александр. — Приняли «на аплодисменты»!

И он пустился в пляс. Генеральша решила, что сын сошел с ума. Она обратила его внимание на то, что он пренебрегает службой и может за это поплатиться.

— Тем лучше. У меня будет время сидеть на репетициях!

— А если твоя пьеса провалится, на что мы будем жить?

— Я напишу другую, и она будет иметь успех.

В тот же день знаменитый актер Фирмен зашел к Дюма в канцелярию и сообщил ему, что совет выбрал в судьи «Христины» господина Пикара, автора доброй

сотни комедий («Побочный родственник», «Городок», «Провинциалы в Париже», «Два Филибера», «Рикошеты»), имевших шумный, но преходящий успех. Нелепый выбор. Этому комедиографу, не обладавшему ни талантом, ни доброжелательностью по отношению к другим авторам, неистовая и смелая драма Дюма могла внушить только отвращение. И действительно, когда через неделю Фирмен и Дюма пришли к нему за ответом, крохотный востроносый горбун, осведомившись о здоровье посетителей, с любезной улыбкой сказал, обращаясь к Дюма:

— Милостивый государь, у вас есть какие-нибудь средства к существованию?

— Сударь, — ответил Дюма, — я служу в канцелярии герцога Орлеанского и получаю полторы тысячи франков в год.

— Отлично! Мое дорогое дитя, я должен дать вам один совет: возвращайтесь в свою канцелярию, да, да, возвращайтесь в канцелярию.

Был ли он искренен или завидовал молодому автору? Фирмен утверждал, что он не кривил душой. Дюма не мог в это поверить. Можно ли, прочтя «Христину», не понять, что у автора есть искра Божия? Мнение это разделял и барон Тейлор, потребовавший, чтобы пьесу послали на вторую консультацию, и на этот раз — милейшему Шарлю Нодье. Тот не замедлил с ответом. На следующий же день Тейлор показал Дюма надпись, сделанную на первой странице «Христины» рукой Нодье: «По чести и совести заявляю, что «Христина» — одна из самых замечательных пьес, прочитанных мною за последние двадцать лет»

Было ли это суждение трезвым? Стихи Дюма не шли ни в какое сравнение со стихами молодых поэтов, его современников. Гюго, родившийся, как и он, в 1802 году, по силе поэтического таланта, богатству языка и виртуозности стиха далеко превосходил Дюма. Зато Дюма был настоящим драматургом. Он будто инстинктом чувствовал, как строить пьесу и чем взволновать зрителей.

Актеры прослушали второй раз «Христину» в следующее воскресенье (чтобы не посягать на часы, которые Дюма — увы! — неукоснительно должен был отдавать службе), и пьеса снова была принята при условии, что автор вместе со старейшиной театра Самсоном вне-

сет некоторые исправления. Дюма, как утверждает Самсон, оказался очень покладистым.

И все же пьеса так и не была поставлена во Французском театре. Почему? Дом Мольера не отличался гостеприимством. После смерти Тальма там воцарилась Марс. Мадемуазель Марс с большой осторожностью приближалась к пятидесятой годовщине, захватывая все лучшие роли — от влюбленных героинь до инженю, с явным перевесом в сторону инженю. Она считалась плохим товарищем и защищала свое право на прежнее амплуа с бешеной энергией. Ее враги с притворной снисходительностью говорили, что ей нельзя дать больше сорока восьми. Время от времени она сама объявляла о конце своего долгого царствования, но злые языки утверждали, что и после этого она даст «прощальное представление, а потом еще одно — по случаю скорой встречи». И все же ее удивительная молоджавость, благородное изящество жестов и совершенство дикции обеспечивали ей неоспоримый авторитет. Она руководила распределением ролей и была грозой всех авторов. Сделав карьеру на классическом репертуаре, мадемуазель Марс не могла приспособиться к романтической драме Гюго и Дюма... Ее стихией был Мариво, а не Шекспир. В драме, которую хотел создать Дюма, героиня должна была рвать на себе волосы, вопить, валяться на коленях. Для того чтобы завывать, необходим дурной вкус, а мадемуазель Марс им не страдала. Голос ее, когда она его повышала, оставался приятным и мелодичным: это был голос рассерженной девушки, а не рыкающей львицы.

Мадемуазель Марс навестила Дюма в его убогом кабинете в Пале-Рояле, где он сидел среди покрытых пылью папок, и завела беседу о «Христине». Очень изящно (а она умела, когда хотела, быть обворожительной) и деликатно она покритиковала распределение ролей, пьесу вообще и, в частности, несколько строк в своей роли, которые попросила вымарать. Королева трагедии среди канцелярских крыс — Дюма был очарован этим зрелищем, но считал — и напрасно — стихи, вызвавшие недовольство Марс, совершенными и поэтому ожесточенно их защищал. Спор длился несколько минут, после чего мадемуазель Марс встала и сказала тоном, столь же холодным, сколь он был любезным вначале:

— Отлично! Раз вы так упорствуете, пусть будет по-вашему, я произнесу эти строки, но вы увидите, какое впечатление они произведут.

На репетициях, когда дело доходило до этих злополучных строк, она их пропускала.

— Дальше, дальше,— говорила она суфлеру Гарнье.— Автор сделает здесь купюру.

— Вовсе нет! — протестовал автор.— Я не хочу вычеркивать эти строки.

— Ах ты черт! — вздыхал Гарнье.

Дюма осведомился, что означает это «Ах ты черт!».

— Это означает, что если мадемуазель Марс не хочет произносить эти строчки, она их не произнесет.

— И все же, если пьесу поставят, ей придется это сделать.

— Да, если пьесу поставят, но только ее не поставят.

Суфлер лучше, чем кто бы то ни было, знал бесовскую хитрость мадемуазель Марс: «Христина» так и не появилась на сцене Комеди Франсез. Причины для этого нашлись. Через неделю после пьесы Дюма была принята «Христина» некоего Бро, поэта и бывшего субпрефекта. Так как Бро был при смерти, его пьесе отдали предпочтение. Кроме того, Фредерик Сулье успел закончить к этому времени свою «Христину» и отдать ее в Одеон. Этот парад «Христин» начал принимать шутливый характер. Дюма ничего не оставалось, как взять пьесу обратно, что, впрочем, пошло ей только на пользу, так как дало ему возможность переделать и улучшить текст, крайне в этом нуждавшийся.

Но на что жить? Ведь существование обеих семей Дюма зависело от постановки «Христины». Гарнье подсказал выход:

— Напишите другую пьесу с главной ролью для мадемуазель Марс. Не заставляйте ее произносить тридцатистопные стихи. Не перечьте ей ни в чем — и тогда вашу пьесу поставят!

— Но стихи пишут так, как пишется, мой милый Гарнье,— возразил ему Дюма.— И, кроме того, я собираюсь написать драму в прозе.

— Тем лучше.

— Я ишу для нее сюжет.

И тут же случай — самый надежный друг Дюма — весьма предусмотрительно снабдил его новой темой. Войдя как-то в кабинет одного из своих коллег, он увидел на столе толстый том трудов историка Анкетилля, случайно открытый на странице, где рассказывался анекдот из эпохи Генриха III. Герцог Генрих де Гиз, по прозвищу Меченый, узнав, что его жена Екатерина Клевская изменяет ему с одним из фаворитов короля, Полем де Коссадом, графом де Сен-Мегреном, решил, хотя его весьма мало трогала неверность жены, проткнуть ее.

Однажды на рассвете он вошел к ней в комнату, держа в одной руке кинжал, в другой — чашу. В весьма суровых выражениях предъявив ей обвинение в неверности, он сказал: «Как вы предпочитаете умереть, мадам, от кинжала или от яда?» Она рыдала и просила пощадить ее. «Нет, мадам, выбирайте». Она выпила яд, упала на колени и в ожидании смерти стала молить Бога о прощении. Через час Гиз успокоил ее: яд оказался всего-навсего крепким бульоном. Урок, однако, был жестокий.

«Какая великолепная сцена! — подумал юный Дюма. — Хорошо бы ее написать... Но кто был этот герцог де Гиз? А Сен-Мегрен?..»

Как и всегда, он обратился к своему верному и ученому другу — «Всеобщей биографии», которая сообщила ему кое-какие сведения и отослала к «Мемуарам» л'Этуалья... Л'Этуаль?.. Кто такой л'Этуаль?.. Бесценная «Биография» снова пришла на выручку: Пьер Тезан де л'Этуаль (1546—1611 гг.) оказался прославленным историографом эпохи Генриха III и Генриха IV. Дюма достал эту книгу и нашел ее восхитительной. Из нее он узнал, что Сен-Мегрен, первый камер-юнкер короля, был в 1578 году зверски убит на улице по приказанию Генриха де Гиза, прозванного Меченым, — урок каждому, кто посягает на герцогиню. Сцена эффектная, но довольно банальная. У того же историографа Дюма нашел рассказ о событии, которое давало великолепную возможность закрутить пружину интриги. Оно относилось, правда, к совершенно другому вельможе того времени — к Луи де Бюсси д'Амбуазу (1549—1579 гг.). Но какое это имело значение? Дюма собирался писать драму, а не исторический трактат.

Так вот, этот молодой Бюсси, любовник Франсуазы де Шамб, графини де Монсоро¹ получил от нее записку с приглашением прийти в отсутствие мужа в его замок. Но, оказывается, она назначила ему это свидание по приказу ревнивца мужа и, чтобы спасти свою жизнь, позволила Шарлю де Шамбу застигнуть ее во время прелюбодеяния. Бюсси был убит в полночь в ее комнате мужем, который ворвался туда в сопровождении вооруженных до зубов друзей.

Прочитав главы о Сен-Мегрене, о Бюсси д'Амбуазе и вспомнив уроки Шиллера и Вальтера Скотта, Дюма решил, что драма на мази. Конечно, надо было узнать какие-нибудь подробности быта и нравов, подпустить местного колорита — словом, воссоздать атмосферу двора короля Генриха III. Но Александра не останавливали подобные мелочи! Ведь у него были книги, образованные друзья и собственное воображение. Он написал драму «Генрих III и его двор» за два месяца.

Глава третья,

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ, КАК К МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ПРИХОДИТ УСПЕХ

«Генрих III и его двор» была вовсе не плохой пьесой. Конечно, эрудиты и снобы подняли бы на смех юного невежду, знакомившегося с французской историей по забытой на столе книге. Конечно, можно признать, что анализу чувств и характеров недостает глубины, что образы герцога де Гиза и короля написаны однолинейно, что вся пьеса держится на внешнем действии (рука герцогини, стиснутая железной рукавицей, потерянный, как в «Отелло», платок), что многие мысли автор позаимствовал у Шекспира и Шиллера.

Все это правда, и все же драма была искусно построена и трогала зрителей. Дюма черпал из всех источников — мемуаров, хроник, гравюр того времени. Эпоха предстала перед зрителем такой, какой она вдруг открылась молодому энтузиасту. Была ли его пьеса исторической? Не больше и не меньше, чем романы

¹ Приписав в «Генрихе III» приключения графини де Монсоро герцогине де Гиз, Дюма на основе этого эпизода создаст еще и роман «Графиня де Монсоро», который выйдет в 1846 году, и драму того же названия, которая будет поставлена в 1860 году. В обоих произведениях он называет Франсуазу де Монсоро Дианой.

Вальтера Скотта. История полна тайн. У Дюма все оказалось ясным и определенным. Екатерина Медичи держала в руках нити всех интриг. Генрих III расстраивал планы герцога де Гиза. Впрочем, Дюма и сам отлично понимал, что в действительности эти приключения были куда более сложными.

Но какое это имело значение? Он хотел лишь одного — бурного действия. Эпоха Генриха III с ее дуэлями, заговорами, оргиями, с разгулом политических страстей напоминала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке Дюма была такой, какой ее хотели видеть французы: веселой, красочной, построенной на контрастах, где Добро было по одну сторону, Зло — по другую. Публика 1829 года, наполнявшая партер, состояла из тех самых людей, которые совершили великую революцию и сражались в войсках империи. Ей нравилось, когда королей и их дела представляли в «картинах героических, полных драматизма и поэтому хорошо им знакомых». Этим старым служакам пришлось по сердцу грубоватая отвага героев Дюма: ведь и им доводилось обнимать немало красавиц и угрожать шпагой не одному сопернику. Театральный натурализм? Убийства на сцене? Этого не боялись ни Гёте, ни Шекспир. Не гнушались ими Гюго и Виньи. Во Франции Дюма был первым, кто вывел мелодраму на сцену серьезного театра.

Вы спросите: а как же «Кромвель» Виктора Гюго?.. «Кромвель», хотя его и читали публично, так и не увидел сцены. Гюго удовлетворился тем, что прочел пьесу, издал ее отдельной книгой и написал к ней «Предисловие». В отличие от него Дюма твердо решил добиться постановки «Генриха III» в Комеди Франсез. Он начал с того, что прочел пьесу небольшой группе избранных, которая собралась в доме романтически настроенной хозяйки — Мелани Вальдор, супруги офицера и дочери писателя. Пьеса произвела большое впечатление на этот умеренный кружок, но там нашли, что для первого произведения молодого автора она слишком смела.

Тогда он устроил вторую читку в квартире журналиста Нестора Рокплана. Пятнадцать молодых людей, набившихся в комнату, расселись прямо на матрасах. Смелость была им по душе. Они кричали: «Долой «Христину»! Пусть ставят «Генриха III»!» Актер Фирмен, большой энтузиаст драмы, организовал у себя третью читку, на которой присутствовал и песенник Беранже,

считавшийся тогда лучшим поэтом эпохи,— либерал, фрондер и друг банкира Лаффита. Туда пришли и мадемуазель Марс и генеральша Дюма. Успех был огромный. Мадемуазель Марс сочла, и вполне справедливо, что ей очень подходит роль герцогини де Гиз, ибо она давала возможность сыграть скромную и вместе с тем страстную женщину, а роли такого типа всегда превосходно удавались актрисе, в сценах насилия она предпочитала участвовать лишь в качестве жертвы. Короче, она выказала себя горячей сторонницей пьесы.

Присутствовавшие актеры решили просить Комеди Франсез принять «Генриха III» вне очереди, и на читке пьеса прошла «на аплодисменты». На следующий день, едва Дюма появился в Пале-Рояле, как его вызвал к себе генеральный директор барон де Броваль. Броваль этот был высокомерный грубиян и краснойбай. Он принял молодого человека весьма нелюбезно, грозно сказал, что занятия литературой несовместимы со службой, и предложил ему сделать выбор.

— Господин барон,— ответил Дюма,— общественное мнение считает его высочество герцога Орлеанского покровителем литературы. Я не буду предпринимать никаких шагов до тех пор, пока он не уведомит меня, что больше не нуждается в моих услугах. Я не собираюсь подавать в отставку. Что касается моего жалованья, то если эти сто двадцать пять франков в месяц ложатся тяжким бременем на бюджет его высочества, я готов от них отказаться.

— А на какие средства вы собираетесь жить?

— Это, господин барон, касается только меня.

На следующий день выплату жалованья приостановили. Но у Дюма был свой план: он собирался через посредство Беранже обратиться за помощью к банкиру Лаффиту. Банкир и в самом деле согласился выдать Дюма три тысячи франков при условии, что он положит в сейф банка рукопись «Генриха III». Три тысячи франков — оклад за два года! Дюма помчался с деньгами к матери. Генеральша была потрясена. Неужели театр и впрямь дает возможность заработать на жизнь?

Репетиции проходили без особых происшествий. Де Гиз в исполнении Жоанни был «старым рубакой, мужественным и решительным», он великолепно произносил фразы под занавес, которые всегда звучали неожиданно и эффектно:

«Сен-Поль! велите привести тех, кто убил Дюма».
«А теперь пусть эта дверь откроется только для него!»
«Теперь, когда мы покончили со слугой, займемся ховяином».

История с «Христиной» не прошла для Дюма даром, и по отношению к исполнителям он был сама любовь.

— Вы гораздо лучше меня разбираетесь в этом,— говорил он актерам.— Все, что бы вы ни сделали, будет хорошо.

Работа с актерами на этот раз была ему тем более приятна, что он увлекся *Виржини Бурбье*, молодой актрисой, которая должна была играть в его пьесе второстепенную роль. Противиться плотскому искушению он не мог. Он по-прежнему помогал *Катрине Лабэ* и давал ей деньги на воспитание сына. Но хранить верность одной женщине? Это всегда казалось ему нелепым.

Естественно, что у него возникали кое-какие трения с божественной мадемуазель *Марс*. Однако он уже приобрел некоторый опыт и смог на этот раз перехитрить коварную *Селимену*, хотя по временам ее капризы доводили его до бешенства и скрежета зубовного. «О *Французский театр*,— писал он,— этот круг *Ада*, забытый *Данте*, куда Бог помещает драматургов, возымевших странную идею заработать вполовину меньше того, что они могли бы получить в любом другом месте, и удостоиться в конце жизни награды не за достигнутый успех, а за перенесенные муки!» Высказывание явно несправедливое, потому что актеры *Комеди Франсез* сослужили *Дюма* хорошую службу.

Пока шли репетиции, на него обрушилось большое несчастье. С генеральшей *Дюма* случился апоплексический удар, частично парализовавший ее. Что делать? Отложить премьеру? Но это не спасло бы его мать, болезнь которой была, увы, неизлечимой. И премьеру назначили на 11 февраля 1829 года. Накануне он пришел в *Пале-Рояль* и попросил аудиенции у герцога *Орлеанского*; тот принял его.

— Каким добрым ветром вас принесло сюда, господин *Дюма*? — спросил герцог.

— Ваше высочество, я пришел просить о милости. Завтра состоится премьеры «*Генриха III и его двора*». Я прошу вас прийти на премьеру. Ваше королевское высочество несколько поторопилось меня осудить... Завтра мое дело будет слушаться при открытых дверях.

Я прошу вас, сударь, присутствовать при вынесении приговора.

Герцог ответил, что охотно бы пришел, но завтра у него званый обед, на котором будут присутствовать двадцать, а то и тридцать принцев и принцесс.

— Но, может быть, ваше высочество соблаговолит назначить обед пораньше, а я, со своей стороны, попрошу задержать начало премьеры, и, таким образом, августейшие гости увидят любопытное зрелище.

— Черт побери, это мысль! Скажите Тейлору, что я оставляю за собой все ложи бенуара.

Наконец долгожданный день настал. Зал был великолепен. Принцы, увешанные регалиями, принцессы, блистающие драгоценностями, дамы полусвета, выставившие напоказ свои прелести. В одной из лож — Беранже, Виньи, Гюго. Партер полон друзей. Словом, огромный успех. Третий акт при всей своей необузданной грубости (ревнивец Гиз силой заставляет жену написать роковое письмо Сен-Мегрену) не только никого не шокировал, но был встречен бурными аплодисментами. В антракте Дюма кинулся на улицу Сен-Дени, чтобы поцеловать мать. После четвертого акта публика пришла в исступление. Когда Фирмен объявил имя автора, весь зал, включая герцога Орлеанского, встал. На следующее утро Дюма получил письмо от барона Броваля, в свое время безжалостно его уволившего.

«Я не могу лечь в постель, мой дорогой друг, не сказав вам, как порадовал меня ваш успех. Мои товарищи и я счастливы вашим триумфом...»

Когда к нам приходит успех, остается только удивляться количеству людей, которые внезапно оказываются нашими друзьями.

Пьеса выдержала тридцать восемь представлений и делала отличные сборы, невзирая на интриги классицистов и «знатоков». Победа романтиков произвела фурор в Комеди Франсез. Классицисты объяснили триумф новой школы тем, что «несметное число ее сторонников запрудило партер и проникло даже в ложи». Жалели талантливых актеров, которым пришлось «унизиться до драмы». «Если публике нужны рыдания, — с презрением говорили «знатоки», — пусть она идет на бульвары. Комеди Франсез необходимо оградить от этой постыдной

заразы». Но актеры, которые не могли пренебрегать публикой, придерживались иного мнения.

На следующий день Александр Дюма проснулся знаменитостью. Комната его бедной матери была заставлена букетами, которых больная даже не замечала. Какой-то книгопродавец купил право на издание «Генриха III» за шесть тысяч франков, что превышало оклад самого начальника канцелярии!

Однако, придя в Комеди Франсез на второй спектакль, Дюма застал совет в полном смятении: цензура запретила пьесу. Почему? Король Карл X внезапно увидел в Генрихе III и его кузене Гизе сходство с ныне царствующим монархом и его кузеном Орлеанским! Снятия запрета добился сам герцог Орлеанский.

«Вот что я сказал королю,— передавал герцог.— Государь, вы заблуждаетесь по трем причинам: во-первых, я не бью свою жену; во-вторых, герцогиня не наставляет мне рога, и, в-третьих, у вашего величества нет подданного более преданного, чем я».

Так в двадцать семь лет молодой человек, совсем недавно приехавший из Вилле-Коттре,— без положения, без протекции, без денег, без образования, превратился в человека известного, почти знаменитого, принятого как равный небольшим, но блестящим кружком людей, которые в недалеком будущем вдохнут новую жизнь во французскую поэзию и драматургию. Для того чтобы он достиг столь ошеломляющего успеха, понадобилась удивительная цепь случайностей: встреча с Левеном, обратившим его внимание на театр; встреча с Нодье на спектакле «Вампир»; барельеф, попавшийся ему на глаза на выставке; книга, будто судьбой открытая на нужной странице; пребывание на посту директора Комеди Франсез барона Тейлора, покровительствовавшего новой школе... Но случай благоволит лишь к достойным. Каждому человеку в течение дня представляется не менее десяти возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит лишь к тем, кто умеет их использовать. На службу своему огромному честолюбию молодой Дюма поставил необузданное воображение, страсть к героизму, удивительное трудолюбие и образование, хотя и бессистемное, но пополнявшееся с пылом и рвением. Он одержал победу не потому, что ему помогло стечение обстоятельств, а потому, что был способен повернуть в свою пользу любое обстоятельство.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АНТОНИ

Какой славный человек! Он казался огромным ребенком, таким наивным и добрым было его лицо!

Марселина Деборд-Вальмор

Глава первая

МЕЛАНИ ВАЛЬДОР

В 1829 году Дюма исполнилось двадцать семь лет. Он был колоссального роста и поражал своеобразной, мужественной красотой. Автор нашумевшей пьесы, создатель нового жанра, он был принят как равный в кругу писателей и художников. Можно легко понять, что Виктору Гюго, возглавлявшему «Святое семейство» поэтов, высокомерному и сдержанному, неизменно облаченному в сюртук черного сукна, этот шумный и неистовый гигант должен был казаться несколько вульгарным. Но Дюма так наивно радовался своим успехам, что на его бахвальство нельзя было долго сердиться.

Шарль Нодье, его первый покровитель, открыл перед ним двери своего салона в Арсенале, излюбленного места сборищ новой школы. Хозяин дома, блестящий рассказчик, был хранителем библиотеки Арсенала, ставшей его вотчиной. Его дочь Мари росла красавицей; все поэты были ее друзьями, многие из них в нее влюблялись. По воскресеньям в салоне зажигались все люстры. Там можно было встретить патрона Комеди Франсез Тейлора, Софи Гэ и красавицу Дельфину Гэ, Гюго, Виньи — словом, всех молодых поэтов; Буланже, Девериа — словом, всех молодых художников. С восьми до десяти Нодье, прислонившись спиной к камину, с непревзойденным мастерством рассказывал всевозможные истории. В десять часов Мари Нодье садилась за пианино, и начинались танцы, а люди серьезные, забившись в угол, продолжали спорить о политике и литературе.

С тех пор как Дюма впервые появился в Арсенале, Нодье мог время от времени дать себе отдых. Молодой

Александр был не менее талантливым рассказчиком, чем хозяин дома. О чем бы он ни говорил — о детстве, об отце-генерале, о Наполеоне или о своих схватках с мадемуазель Марс,— все было одинаково живо и занимательно. Дюма и сам любил себя послушать. Как-то раз после званого обеда его спросили:

— Ну, как прошел обед, Дюма?

— Черт побери,— ответил он,— если б там не было меня, я бы страшно скучал.

Молодой самоучка, чье невежество во многих вопросах было просто неправдоподобным, испытывал благоговение перед Нодье, знавшим все на свете «и еще целую кучу вещей сверх того». Нодье делал все, что мог, чтобы облагородить вкус Дюма, и даже пытался, правда безуспешно, излечить его от хвастовства. С тех пор как «Генрих III» начал приносить ему доход, Дюма стал носить пестрые жилеты и обвешиваться всевозможными драгоценностями, брелоками, кольцами, цепочками...

— Все вы, негры, одинаковы,— ласково говорил ему Нодье.— Все вы любите стеклянные бусы и погрешности...

Молодой человек нисколько не обижался, когда ему напоминали о его происхождении — ведь он гордился им,— если только собеседник говорил по-дружески, как Нодье. Другие часто оскорбляли его, однако он чувствовал себя слишком сильным, чтобы унижаться до ненависти. Но он ощущал потребность постоянно доказывать самому себе, что стóит не меньше, а то и больше, чем другие. Вот почему у него временами появлялся заносчивый тон, вот откуда его врожденная склонность сочувствовать любому бунту против общества — бунту незаконнорожденных, изгнанников, подкидышей. Он чувствует себя братом всех отщепенцев, каковы бы ни были причины, выкинувшие их из общества: цвет кожи, раса, незаконное происхождение, увечье. В 1829 году Байрон еще оставался кумиром юношества; молодые люди подражали его дендизму, его разочарованности и, если могли, его храбрости и таланту. Гюго, Виньи и Ламартин, люди семейные и религиозные, были в то время очень далеки от свободы чувств, проповедуемой Байроном. Дюма, человек свободный и с пылким темпераментом, провозгласил себя ее горячим сторонником.

Он не хранил верности кроткой белошвейке Катрине Лабэ, матери своего незаконнорожденного сына, но

продолжал содержать ее и ребенка; иногда он даже проводил с ней ночь, но разве могли прозаические, хотя и очаровательные, добродетели швеи удовлетворить человека, живущего в обществе Христины Шведской, герцогини де Гиз и мадемуазель Марс?

В 1827 году кто-то из друзей повел его в Пале-Рояль на лекцию эрудита Матье Вильнава. После чтения его представили семье лектора, и он получил приглашение на чашку чаю.

Вильнавы жили очень далеко, где-то на улице Вожирар, но почему-то решили пойти туда пешком, и Дюма взял под руку дочь хозяина — Мелани. Путь оказался достаточно долгим, чтобы они успели открыть друг другу душу и влюбиться. Шестью годами старше Дюма, Мелани уже семь лет как была замужем за офицером, уроженцем Намюра, принявшим французское подданство, которому к тому времени стукнуло сорок.

Франсуа-Жозеф Вальдор, капитан интендантской службы шестого полка легкой пехоты, расквартированного в Тионвиле, жил в отдаленном гарнизоне. Из дела этого офицера, «обладавшего отменным здоровьем», мы узнаем, что у него 2200 франков ренты и «еще столько же в перспективе». Характеристика у него была самая блестящая:

Поведение: Превосходное и в полном соответствии с уставом.

Нравственность: Безупречная.

Способности: Значительные.

Общее образование: Основательное и разностороннее.

Познания в военном деле: Не оставляют желать ничего лучшего.

Отношение к службе: Ревностное, исполнительное...

Как могла Мелани Вальдор, по натуре похожая на романтическую героиню, поэтесса, «алчущая бесконечного» и «обуреваемая жаждой познать все», полюбить этого положительного валлонца? Она упрекала его за то, что он «недостаточно пылко» за нею ухаживал. Родив от этого брака дочь, что едва не стоило ей жизни, Мелани, которой провинция изрядно наскучила, переехала в Париж и поселилась в доме своих родителей. Там у нее собирался литературный салон. Отец ее, бывший главный редактор «Котидьенн», директор «Журналь де Кюре» и основатель «Мемориаль Релижье», сумел собрать в своем маленьком старинном

особняке бесценную коллекцию книг, рукописей, гравюр и особенно автографов. Он первым во Франции стал собирать автографы и всячески пропагандировал свое увлечение. Этот эрудит, профессор истории литературы, переводчик Вергилия и Овидия, был человеком очень подозрительным; он ревновал свою старую супругу и в слежке за Мелани доходил до того, что перехватывал ее письма.

Но у всякого коллекционера есть своя ахиллесова пята. Хитрый Дюма покорила Вильнава, подарив ему письма Наполеона и маршалов империи, адресованные генералу Дюма, за что тотчас же получил приглашение устроить чтение «Генриха III и его двора» в салоне-музее, где царила Мелани.

«Родственная душа» была красивой и хрупкой женщиной с ласковым взором и видом скромницы, что сводило с ума Александра. Любовным битвам Мелани предпочитала осадные работы; как и Жюльетта Рекамье, «она хотела, чтобы любовный календарь всегда показывал весну» и чтобы период ухаживания длился вечно. Это отнюдь не устраивало пылкого Дюма. Он настигал ее за дверьми, сжимал в объятьях — силой он пошел в отца-генерала — и душил не успевшие родиться протесты нескончаемым потоком пламенных поцелуев. Ей становилось все труднее устоять перед этим бурным натиском. Он ежедневно писал ей неистовые письма, исполненные бешеной страсти, в которых обещал нечеловеческие наслаждения и вечную любовь.

«Пусть слова «Я люблю тебя» всегда окружают тебя... Покрываю твои губы тысячью жгучих поцелуев, поцелуев, которые заставляют трепетать и таят в себе обещание неземного блаженства... Прощай, моя жизнь, моя любовь, я мог бы написать тебе целый том, но на более толстый пакет, без сомнения, обратят внимание...»

Мелани сопротивлялась с 3 июня (в этот день она познакомилась с Дюма) до 12 сентября 1827 года. Затем сдалась. Да и как можно было противиться этой «стихии»? Выдержать такую осаду три с половиной месяца было уже достаточно почетно. Дюма снял маленькую комнатку, которая должна была стать приютом их счастья, взвалив, таким образом, на себя расходы на содержание трех «очагов»: Катрины Лабэ, генеральши Дюма и холостяцкой квартирki. Мелани согласилась прийти к нему и стала, наконец, его любовницей. Так

как добродетельный капитан Вальдор познакомил ее лишь с азами плотской любви, она была сначала не только ослеплена, но и поражена.

Александр Дюма — Мелани Вальдор:

«Весь день вместе, какое блаженство!.. Какое блаженство! Я буквально пожирал тебя! Мне кажется, что и вдали от меня ты должна чувствовать на себе мои поцелуи — таких поцелуев тебе еще никто не дарил. О да, в любви ты поражаешь чистотой, я готов сказать — неискушенностью пятнадцатилетней девочки!»

Прости мне, что я не дописал страницу, но мать напустилась на меня с криком: «Яйца готовы, Дюма! Дюма, иди, а то они сварятся вкрутую!» Ну скажи, можно ли противиться такой суровой логике? Итак, прощай, мой ангел, прощай! Ну что ж, маменька, если яйца сварятся вкрутую, я их съем с оливковым маслом...»

Вскоре она стала жаловаться на его ненасытность. «Ему не хватает деликатности», — говорила она. По ее мнению, она не получала от него той порции «возвышенных чувств», на которые имеет право чувствительная женщина. Она упрекала его в том, что он не умеет наслаждаться любовью, не могла привыкнуть к бурному темпераменту своего любовника, страдала от сердцебиений, головокружений и приступов ипохондрии. Он оправдывался:

«Мой безумный и злой, добрый и милый друг мой, как я тебя люблю! Больна ты или здорова, весела или печальна, сердита или ласкова, что значат слова твои, если ты сидишь у меня на коленях и я прижимаю тебя к сердцу? Говори мне тогда, что ты ненавидишь меня, что ты меня презираешь, — пусть, если тебе так хочется, — но ласки твои все равно опровергают тебя...»

Дюма, как только у него появлялись деньги, немедленно их тратил. Так как постановка «Генриха III» принесла ему приличную сумму, он снял в Пасси маленький домик для Катрины Лабэ и своего ребенка и квартиру для себя в доме № 25 по Университетской улице. Там на подоконниках цвела герань, которая стала для Александра и Мелани символом их любви.

«Переезд почти окончен, мой ангел. Я сам уложил наши картонки, белье, картофель, масло и сахарное сердце. Нам будет там неплохо, к тому же это гораздо ближе к тебе и гораздо меньше на виду, потому что на лестницу выходит только дверь нашей квартиры, а дом принадлежит торговцу мебелью, так что все будут думать, что ты зашла что-нибудь купить...»

Здесь царил Мелани, здесь собирался узкий кружок верных друзей: Адольф де Левен, офранцузившийся швед, очаровательная муза Дельфина Гэ, здесь бывали

Бальзак, Гюго, Виньи. Здесь Дюма прочел новый вариант «Христины». Он воспользовался проволочками цензуры, чтобы основательно переделать пьесу, добавил к ней пролог в Стокгольме, эпилог в Риме, ввел второстепенную интригу и еще один персонаж — Паулу, любовницу Мональдески. Теперь королева мстила не за политическое предательство, а за любовную измену.

Тем временем «Христина» Сулье с треском провалилась в Одеоне. Директор театра Феликс Арель написал Дюма письмо с предложением поставить его пьесу. Дюма из щепетильности посоветовался с Сулье, и тот ответил: «Собери обрывки моей «Христины» — а их, предупреждаю тебя, наберется немало, — выкинь все в корзину первого проходящего мусорщика и отдавай твою пьесу». Получив разрешение друга, Дюма принял предложение Ареля.

В те времена считали, что Одеон находится где-то на краю света. В 1828 году его было даже закрыли, но мэры трех кварталов, окружавших Люксембургский сад, потребовали, чтобы Одеон открыли снова. «Для них, — писал Дюма, — это вопрос коммерческий, и дело тут не в искусстве. Они хотят вдохнуть жизнь в парализованную половину могучего тела Парижа». Дюма считал, что конкуренция Одеона подхлестнет Французский театр, который не пускал на свою сцену неизвестных авторов. Но газеты ополчились против этого отдаленного театра: «Одеон? Да кто знает, где это?.. Одеон прогорит и без огня». Наконец в 1829 году директором Одеона стал Арель.

Арель, личность необычная, был когда-то аудитором государственного совета, генеральным инспектором мостов, при империи префектом департамента Ланды, потом, когда Реставрация положила конец его административной карьере, он стал директором театра, так как был любовником мадемуазель Жорж — основание, надо сказать, вполне достаточное. Умный и язвительный Арель, вечно стоявший на грани банкротства, вряд ли заслуживал доверия, но, как писал Дюма, «видеть его всегда приятно, потому что он очень занятный собеседник. Дайте ему в лакеи Маскариля и Фигаро, и, если он не обведет их обоих вокруг пальца, можете называть меня Жоржем Данденом...»

Смеялись над бонапартизмом Ареля, над его неразборчивостью; но он был настоящим гением по части

рекламы и вскоре стал глашатаем романтической драмы. Его любовница мадемуазель Жорж была когда-то любовницей Наполеона и навсегда осталась кумиром бонапартистов. Ей было сорок три года, и ее скульптурная красота продолжала вызывать восхищение.

«Жорж — хорошая тетка, — писал Дюма, — она хоть и напускает на себя величественность и держится как императрица, но позволяет любые шутки и смеется от всего сердца, тогда как мадемуазель Марс лишь принужденно улыбается...»

Царь как-то сказал, что Жорж носит корону лучше, чем сама Екатерина Великая. В 1830 году бульварные писаки с непристойной жестокостью упражнялись в островах по поводу ее толщины: «Господин Арель утверждает, что Одеон — это мадемуазель Жорж. Теперь мы понимаем, почему она так толста!..» «Английской лошади, обежавшей Марсово поле за четыре минуты, вчера удалось всего за пять минут проскакать вокруг мадемуазель Жорж». Но Банвиль писал: «Беспощадное время не коснулось этой блистательной Елены и не смогло превратить ее в старуху...» Романтики изо всех сил старались создавать для нее роли, подходящие к ее комплекции. «Каких только толстых королей и тучных императриц, — писал Теофиль Готье, — мы не раскапывали для нее в истории! Теперь вакантными остались княгини небольшого роста и объема, и мы не знаем, что же нам делать?»

Была ли Христина Шведская дородной? Во всяком случае, она была королевой, и мадемуазель Жорж очень хотела получить эту роль. После провала Сулье она стала поддерживать Дюма. Арель пытался добиться некоторых поправок, но актеры одержали верх. Не только мадемуазель Жорж мечтала сыграть Христину, но и молодому, поэтичному, смелому Локруа понравилась роль Мональдески. Пьеса была далека от совершенства, но в ней было много действия и, как всегда у Дюма, прекрасные концовки актов: «Ну что ж, мне жаль его, отец... Пусть его прикончат!»

К дню премьеры, 30 марта 1830 года, в Париже не улеглась еще буря, поднятая «Эрнани». Крикуны и бузэнго перекочевали из Французского театра в Одеон. Раздавались выкрики: «Мошенники! Дураки! Консерваторы! Мерзавцы!» Когда в эпилоге Христина обратилась к врачу с вопросом: «Скажите, долго ли мне смерти

ждать?» — один из зрителей поднялся и закричал: «Если через час она не умрет, я уйду». Локруа играл так темпераментно, что Дельфина Гэ, забывшись, громко воскликнула: «Дальше, Локруа, дальше!»

По правде говоря, «Христина» не стоила «Генриха III и его двора». Это было произведение ублюдочного жанра: полудрама, полутрагедия. Стихи Дюма, который был скорее рассказчиком, чем поэтом, не могли сравниться с его прозой. Сулье, честный собрат, узнав, что против пьесы существует заговор, купил пятьдесят мест в партере и предложил Дюма для поддержки новой «Христины» рабочих своей деревообделочной фабрики. И все же, несмотря на эту поддержку, когда занавес опустился в последний раз, в зале поднялся такой шум, что никто не мог понять, как рассказывал потом сам Дюма, что это означает: успех или провал. За премьерой последовал ужин на Университетской улице. Среди приглашенных был Гюго, который только что одержал триумф с «Эрнани», и Виньи, чей «Венецианский мавр» имел успех у публики. В то время как остальные гости пиروвали, Гюго и Виньи — верные друзья — сели за переделку доброй сотни строк из числа самых неудачных, ошиканых публикой.

Зал хохотал, когда мадемуазель Жорж, рассказывая о приеме шведских послов, продекламировала: «Как ели древние приблизились они». В переделке Гюго, а тут, несомненно, чувствуется его рука, четверостишие звучало так:

Они подобны кипарисам в час метели:
Их волосы от бурь дворцовых побелели —
Те бури столько раз грозил им бедой,
И белым снегом их покрыли — сединой¹.

Стихи стали гораздо лучше, и так как обязательные друзья, кроме того, сделали еще и необходимые сокращения, на втором представлении пьесе аплодировали. Когда Дюма, опьяненный успехом, пересекал площадь Одеона, перед ним остановился фиакр. Сидевшая в нем женщина опустила стекло и окликнула его: «Дюма!» Он узнал Мари Дорваль. «Ах, у вас настоящий талант!» — сказала она ему. Это положило начало дружбе — и роману.

¹ Здесь и далее стихи в переводе М. Кудинова.

На следующий день книгопродавец предложил Дюма двенадцать тысяч франков за право опубликовать пьесу. Богатство следовало по пятам за Славой.

Глава вторая

АНТОНИ

1830-й. Решающий год для романтической школы. Революции в литературе эхом откликнулась революция на улицах. Бурная эпоха, когда бои шли повсюду — в залах театров, на баррикадах и даже в семьях: ведь романтики обязаны испытывать великие страсти. То было время, когда Сент-Бёв ухаживал за госпожой Гюго, когда будущая Жорж Санд ушла от барона Дюдевана, когда Альфред де Виньи отчаянно добивался любви Мари Дорваль, когда Бальзак, устав от Дилекты, готов был вспылать страстью к неуловимой маркизе де Кастри. Жизнерадостный Дюма сам нисколько не страдал, но он не мог не следовать за модой. И вот, чтобы не отстать от других, он тоже сделался ревнивцем. К кому же ревновать? Да к капитану Вальдору, смиреннейшему мужу своей любовницы.

И вот однажды, когда Мелани (после продолжительных супружеских каникул) получила от почтенного офицера письмо, в котором тот сообщал, что вскоре приезжает в Париж на побывку, Дюма помчался в военное министерство упрашивать служившего там друга аннулировать отпуск. «Я чуть было не сошел с ума», — говорил он. Однако мучения он испытывал лишь на словах. К тому же муж так и не приехал, и комедия эта разыгрывалась еще не раз.

Александр Дюма — Мелани Вальдор:

«Если б только Господь услышал твои слова, любовь моя, когда ты говорила, что твой супруг, возможно, не придет в январе! О, если б он услышал тебя, и тогда бы ты снова увидела меня счастливым и довольным! Ты не знаешь, насколько я сжился с иллюзией, что ты моя и только моя. Я не могу и помыслить о том, что тобой может обладать другой? нет, нет, мне кажется, что ты принадлежишь мне, только мне, а его возвращение разрушит эту иллюзию... О, повтори еще раз, почему ты думаешь, что он не сможет приехать в январе: скажи мне, какая фраза в его письме заставила тебя это предположить? Я бы предпочел, чтобы ты провела полгода в Жарри, тому, чтобы он приехал хотя бы на два дня в Париж! Там, в Жарри, я не смогу видеть тебя, но там ты будешь одна, а здесь!..»

О любовь моя, если б твой план мог осуществиться и ты сняла бы для мужа комнату в отеле, как я был бы счастлив!.. Ты не можешь понять, какие терзания я буду испытывать вдали от тебя, в одиночестве, зная, что в одной постели, совсем рядом... О муки!.. Ангел мой, жизнь моя, любовь моя, сделай так...»

Сам Дюма не упускал случая обмануть свою томную Мелани, в то же время продолжая разыгрывать романтические страсти. Он пишет Мелани об их «неистовых, жгучих поцелуях», угрожает слить воедино «Любовь и Смерть» и даже убить ее супруга, капитана-консорта, отнюдь не заслужившего подобной жестокости. На деле же он вполне довольствуется тем, что надоедает Военному министерству бесконечными просьбами не переводить Вальдора ни в Париж, ни даже в Курбеуа, так как это слишком близко от Парижа. «Необходимо добиться его производства в майоры, моя любовь. У нас нет другого способа удалить его...» Великолепный сюжет для бальзаковского романа: «Как военные добиваются повышения».

Александр Дюма — Мелани Вальдор:

«Наконец ты поняла меня: ты узнала, что такое любовь, потому что ты познала ревность. Что может сравниться с ней? Какие дураки эти богословы, выдумавшие ад с его телесными муками! Мне жаль их! Для меня ад видеть тебя в объятьях другого! Проклятье! Одна мысль об этом может довести до преступления!..»

И в стихах (отвратительных):

Ты нежностью своей пьянишь меня напрасно:
За этот светлый день я заплачу тоской,
Когда в других руках, холодных и бесстрастных,
Потухнет завтра трепет твой.
Но, ревностью томясь, познав ее отраву,
Тебя я не смогу презреньем наказать:
Слова пред алтарем другому дали право
Тобой до гроба обладать.
Словами этими ты продала навечно
Те ласки, что теперь запретны для любви.
Когда в супружестве утрачен жар сердечный,
Вступает долг в права свои.

Литературщина? Конечно, но тем не менее она вызвала к жизни «Антони», драму, сыгравшую большую роль в истории театра, потому что это была драма не историческая, а современная, и в ней впервые на сцене появилась женщина, совершившая прелюбодеяние,— образ, который потом более чем на столетие оккупирует французскую сцену.

Александр Дюма — Мелани Вальдор:

«В «Антони» ты найдешь многое из нашей жизни, ангел мой, но лишь то, чего никто, кроме нас с тобой, не знает. А раз так, какое это имеет значение? Публика ведь ничего не поймет, пойдем только мы, ты и я, и для нас это будет источником вечных воспоминаний. Что же до Антони, то я думаю, его узнают, потому что этот безумец очень напоминает меня...»

Конфликт между личностью и обществом, страстью и долгом, который XVII век решал в пользу общества и от которого XVIII бежал в легкомыслие и распутство, мог теперь быть решен лишь насильственным путем. «В современном обществе страсть сорвалась с цепи».

И на весь XIX век страсть воцарится в театре, принося с собой бурю чувств, слов, кинжальных ударов и пистолетных выстрелов. «Антони» испугал актеров Комеди Франсез, зрителей он потряс.

Антони, бунтарь по натуре, незаконнорожденный (как Дидье в «Марион Делорм»), не может жениться на любимой им Адели, потому что у него нет ни семьи, ни положения в обществе, ни профессии, ни состояния. Молодую девушку выдали замуж за полковника — барона д'Эрве (на сцене капитан Вальдор все же получил повышение). В один прекрасный день Антони вновь появляется: он останавливает лошадей, понесших карету Адели. Антони ранен; его приносят в дом Адели. Они признаются во взаимной любви, но Адель, раба общественной морали, пытается сопротивляться. Страстью, жалобами на несправедливость света Антони доводит ее до того, что она готова пасть. Тогда она, как порядочная женщина, решает бежать к мужу, который находится в Страсбургском гарнизоне. Антони хитростью завлекает Адель в ловушку и проводит с ней ночь любви в гостинице Иттенхейм. Свет осуждает ее. Полковник спешит в Париж из своего гарнизона и застаёт преступных любовников врасплох.

АДЕЛЬ. Я слышу шаги на лестнице!.. Звонок!.. Это он!.. Беги, беги!

АНТОНИ. Нет, я не хочу бежать! Ты говорила мне, что не боишься смерти?

АДЕЛЬ. Нет, нет... О, сжался надо мной — убей меня!

АНТОНИ. Ты жаждешь смерти — жаждешь спасти свою репутацию и репутацию своей дочери?

АДЕЛЬ. На коленях молю тебя о смерти.

ГОЛОС (за сценой). Откройте!.. Откройте!.. Взломайте дверь!

АНТОНИ. И в последний миг ты не проклянешь своего убийцу?

АДЕЛЬ. Я благословлю его... Но поспеши! Ведь дверь...

АНТОНИ. Не бойся. Смерть опередит его... Но подумай только: смерть...

АДЕЛЬ. Я хочу ее, жажду ее, молю о ней. (Кидаясь к нему в объятия.) Я иду ей навстречу.

АНТОНИ (*целуя ее*). Так умри же. (*Закалывает ее кинжалом.*)

АДЕЛЬ (*падая в кресло*). Ах...

Дверь в глубине сцены распахивается. Полковник д'Эрве врывается в комнату.

ПОЛКОВНИК Д'ЭРВЕ. Негодяй!.. Что я вижу!.. Адель!..
Мертва!

АНТОНИ. Да, мертва... Она сопротивлялась мне. И я убил ее.

Он бросает кинжал к ногам полковника д'Эрве.

З а н а в е с .

Пьеса была ловко сделана. Через пять актов действие с похвальной экономией средств неслось к развязке, ради которой, собственно, и было написано все остальное. Дюма считал, что драматург должен прежде всего найти финальную фразу, а потом, исходя из нее, строить всю пьесу. В эпоху, когда существовали лишь исторические или скабрзные пьесы, драма, в которой на сцену выводился современный свет с его страстями, не могла не казаться новаторской и смелой. Дюма в «Антони» вкладывает в уста одного из персонажей, писателя Эжена д'Эрвилли, такой монолог:

«История завещает нам факты: они — собственность поэта... Но если мы, мы, живущие в современном обществе, попытаемся показать, что под нашим кургузым и нескладным фраком бьется человеческое сердце, — нам не поверят... Сходство между героем драмы и партером будет слишком велико, аналогия слишком близка, и зритель, следящий за развитием страсти героя, захочет, чтобы тот остановился там, где остановился бы он сам. Если то, что будет происходить на сцене, превзойдет его способности чувствовать или выражать свои чувства, он откажется это понимать. Он скажет: «Это неправда, я ничего подобного не испытываю. Когда женщина, которую я люблю, мне изменяет, я, конечно, страдаю... некоторое время. Но я не закалываю ее кинжалом и не умираю сам. Доказательством тому то, что я сейчас перед вами». А потом вопли о преувеличениях, о мелодраме заглушат аплодисменты тех немногих, наделенных, к счастью (или к несчастью), более тонкой конституцией, которые понимают, что в XIX веке люди испытывают те же чувства, что и в XV веке, и что под суконным фраком сердце бьется так же горячо, как и под железной кольчугой».

Наделить современника неистовством страстей, свойственным людям Возрождения, — вот что пытался сделать Александр Дюма, и это вновь сочли весьма смелым новаторством. Настолько смелым, что, не случись революции 1830 года, цензура никогда бы не согласилась пропустить пьесу. После июльских дней стало,

наконец, возможно изображать нравы, не прибегая к ретуши. Завоевание этих свобод дало нам Бальзака. Но в то время, когда Дюма писал «Антони» (то есть до 1830 года), цензура была еще сурова. Дюма не мог просто изобразить прелюбодеяние; он должен был осудить и покарать его. Бальзак сможет позволить себе больший цинизм. Диана де Мофриньез, княгиня де Кадиньян, выйдет невредимой из того костра страсти, на котором заживо сгорела Адель д'Эрве. Но Дюма еще не имел права заявить со сцены, что женщина может быть счастлива, даже если она и повинна в прелюбодеянии, хоть сам он в это верил — и, возможно, напрасно, потому что его собственное легкомыслие сделало несчастной не одну любовницу.

Глава третья

«ЖОЗЕФ, МОЕ ДВУСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЕ!»

Дюма никогда не отличался постоянством в любви. И хотя Мелани Вальдор оставалась «его ангелом», Дюма окружал еще целый сонм ангелов второстепенного значения. Он увлекался не только Виржини Бурбье из Комеди Франсез, но, очевидно, и малюткой Луизой Депрео, которая, исполняя роль пажа в «Генрихе III», показывала прехорошенькие ножки, и, конечно же, Мари Дорваль, которая в жизни отдавалась любви так же самозабвенно, как и на сцене. Затем появилась более опасная соперница, актриса Белль Крельсамер, по сцене — Мелани Серре, игравшая в турне герцогиню де Гиз. Фирмен представил ее Дюма в конце мая 1830 года.

У этой красавицы были «черные как смоль волосы, бездонные глаза лазурной синевы, нос прямой, как у Венеры Милосской, и жемчужные зубки». Она пришла просить ангажемент, Дюма предложил ей связь. Она сопротивлялась три недели. Меньше, чем первая Мелани, но срок тоже вполне почетный. Белль сняла квартиру на Университетской улице, неподалеку от Дюма, — она жила в доме № 7, он — в доме № 25. В июне 1830 года Мелани Вальдор уехала с матерью в Жарри (имение Вильнавов около Клиссона), и Дюма стал проводить все свободное время у Мелани Второй. Белль

Крельсамер, умная еврейка, вскоре приобрела на Дюма сильное влияние.

В июле, когда «Антони» был почти закончен, Дюма начал готовиться к путешествию в Алжир, он хотел осмотреть недавно завоеванный город. Белль Крельсамер собиралась проводить его до Марселя. Она, разумеется, не одобряла его поездки: любовь, считала она, должна побеждать любопытство. 26-го утром Дюма пришел к ней и заявил, что она может распаковывать чемоданы.

«Монитёр» опубликовал указы министерства Полиньяка, направленные против свободы печати. Для Дюма, как и для многих других, эти указы предвещали крушение монархии. Республиканец в душе, он искренне надеялся, что Париж восстанет.

— То, что мы увидим здесь, будет поинтереснее того, что я мог бы увидеть там, — сказал он.

Затем он позвал своего слугу.

— Жозеф, иди к оружейнику, — приказал он, — и принеси мое двустольное ружье и двести патронов двадцатого калибра.

Звучная реплика в стиле мелодрамы, но продиктована она была подлинной храбростью. Когда «три славных дня» Июльской революции обернулись драмой, и притом драмой, имеющей шумный успех, Дюма захотел сыграть в ней роль первого любовника, героического и дерзкого. Роль была сыграна с лихостью, не свободной, однако, от тщеславия.

Целых три дня он носился по Парижу, метался между улицами, где шли бои, и местами, где создавалось общественное мнение: Ратушей, Академией, конторой «Насьоналя». В «Мемуарах» он одинаково живо рассказывает о боях и об этих сборищах. В перерыве между двумя перестрелками он спешил то к больной матери, от которой скрывали происходящее, то к Белль, на Университетскую улицу:

«Там были в курсе всех событий. Я обещал оставаться наблюдателем и ни во что не вмешиваться: лишь под этим условием меня выпускали из дому...»

Но спектакль оказался слишком увлекательным — он не смог удержаться от участия в нем. И, надев охотничий костюм, набив карманы пулями, перекинув ружье за спину, он смешался с толпой.

Его хорошо знали в квартале.

— Что нам делать? — обращались к нему.

— Строить баррикады.

Все в духе лучших традиций. Он отправился в Пале-Рояль и поднялся в канцелярию. Там он встретил своего бывшего патрона Удара — тот следил за событиями, чтобы вовремя пристать к победителям; Дюма насмерть перепугал его своим воинственным облачением и смелыми речами.

Он шел по направлению к Сене, когда вдруг увидел, что на башнях Нотр-Дам развевается трехцветное знамя, и застыл на месте, не помня себя от счастья. Двустольное ружье сделало его главарем целой ватаги повстанцев. Студенты, воспитанники Политехнической школы, рабочие братались, объединенные общей ненавистью к Бурбонам. Толпа водрузила на лошадь какого-то старика военного вида и произвела его в генералы. Драма сбилась на водевиль. Капитан королевской армии остановил Дюма и его отряд:

— Куда вы идете?

— В Ратушу.

— Зачем?

— Сражаться.

— Честно говоря, господин Дюма, я не думал, что вы так безрассудны.

— Так вы меня знаете?

— Я дежурил у Одеона, когда первый раз давали «Христину»... А кстати, когда же мы увидим «Антони»?

— Как только закончим революцию.

Они распрощались. Дюма зашел к своему другу художнику Летьеру. Колокол Нотр-Дам гудел, заглушая звуки перестрелки. Сына Летьера отправили на Университетскую улицу успокоить «одну дорогую моему сердцу особу», а именно Белль Крельсамер.

На следующее утро Дюма снова ринулся в бой. Он ворвался в Тюильри вместе с народом и нашел там, в библиотеке герцогини Беррийской, экземпляр «Христины» в лиловом бархатном переплете. Он унес его и подарил молодому Феликсу Девиолену. В Ратуше провозгласили свержение Бурбонов. Ломать легко, а как будут строить? Кто может добиться единства в стране? Способен ли Лафайет возглавить республику? Нет, он боялся ответственности в той же мере, в какой искал популярности. Тьер и Лаффит предлагали герцога Орле-

анского. Но что будет, если Карл X поведет на Париж войска, сохранившие ему верность? Дюма слышал, как Лафайет сказал:

— Мы не смогли бы сделать и четырех тысяч выстрелов.

Не хватало пороха. Но разве нет порохового склада в Суассоне? Дюма, уроженец тех мест, хорошо знал, что есть.

— Генерал,— сказал он Лафайету,— хотите, я привезу вам порох?

Его очень соблазняла возможность вернуться в родные края воином революции. Он преодолел все препятствия, получил письменный приказ и уехал счастливый. В Вилле-Коттре его встретили настоящей овацией. Вид его кабриолета с развевающимся над ним трехцветным знаменем заставил высыпать на улицы даже тайных оппозиционеров. Все старались заполучить Дюма к себе на обед. Он отправился к своему бывшему сослуживцу Пайе и рассказал ему о событиях трех дней. Рассказ его прерывался восторженными криками, но ехать в Суассон ему отсоветовали. Разве может один человек, ну, пусть даже несколько человек, справиться с роялистским гарнизоном? Однако Дюма поехал, и все обошлось благополучно. В своих «Мемуарах» он сильно драматизирует этот эпизод. По его словам, он с револьвером в руке ворвался к коменданту гарнизона, виконту де Линьеру. В этот момент в комнату вбежала госпожа де Линьер с криком:

— Сдавайся, немедленно сдавайся, друг мой! Негры опять взбунтовались!.. Вспомни о моих родителях, погибших в Сан-Доминго! Отдай приказ, умоляю тебя...

Линьеры впоследствии утверждали, что комендант еще задолго до приезда Дюма обещал передать порох национальной гвардии Суассона. Но какое это имеет значение? Ведь сам автор, по-видимому, глубоко уверовал в свой рассказ и весьма увлекательно описал этот подвиг, достойный Горация Коклеса Тирольского. Да и потом как разобраться, где тут истина? Отчет Александра Дюма генералу Лафайету об «изъятии» пороха был опубликован 9 августа 1830 года в «Монитёре», и тогда никто не опровергал его. Точно известно также, что он привез три тысячи пятьсот килограммов пороха в Ратушу и что его бывший покровитель герцог Орлеанский, которому вечером того же дня предстояло сде-

латься королем Франции, сказал ему, быть может, не без улыбки:

— Господин Дюма, вы создали свою лучшую драму.

После этого Дюма возымел далеко идущие планы и уже видел себя министром. Мелани Вальдор, возвращения которой он побаивался (она в это время находилась в Вандее с мадам Вильнав), Дюма писал:

«Все кончено. Как я тебе не раз предсказывал, революция продлилась всего три дня. Мне посчастливилось принять в ней настолько активное участие, что меня заметили Лафайет и герцог Орлеанский. Вслед за этим последовала ответственная миссия в Суассон, где я в одиночку захватил запасы пороха, что окончательно укрепило мою военную репутацию... Герцог Орлеанский, по всей вероятности, станет королем. И тебе придется адресовать свои письма иначе... Не сердись на меня за мою леность... Я уверен, ты поймешь, как мне трудно покинуть Париж в такое время. И все же я так хочу видеть тебя, что при первой же возможности сяду в почтовую карету, хотя бы только для того, чтобы сжать тебя в объятиях... Повторяю, в моем положении многое должно измениться. Я не могу тебе об этом сказать в письме, но тем не менее знай, твоего Александра ждет большое будущее...»

И через несколько дней:

«Не тревожься, мой ангел, все идет хорошо. Герцога Орлеанского вчера провозгласили королем. Я провел вечер при дворе; августейшая семья ведет себя так же просто и доброжелательно, как и раньше. Я написал тебе сегодня три письма и послал их по трем разным адресам. Прощай, любовь моя. Тебе не стоит приезжать сейчас в Париж; я думаю, что смог бы приехать к вам и провести конец этого месяца и весь следующий месяц с тобой...»

«Я уезжаю послезавтра, любовь моя. Предприму небольшое путешествие, после чего приеду к тебе. Я счастлив, что могу уехать сейчас из Парижа.

Когда ты получишь мое первое письмо, я буду уже в пути».

Он и в самом деле попросил Лафайета послать его в Вандею для формирования, как говорил он, национальной гвардии на случай нового шуанского мятежа. А главное, он хотел повидаться со своей любовницей и успокоить ее. В отсутствие Вильнава, не пожелавшего в это смутное время расстаться со своими бесценными автографами, мадам Вильнав, покладистая мать, пригласила Дюма провести несколько недель в Жарри. Лафайет, который тогда пытался всем и во всем угодить, дал ему рекомендательное письмо к вандейским либералам. Дюма тотчас же заказал себе немислимую форму: кивер с красными перьями, серебряные эполеты и пояс,

васильковый мундир и трехцветную кокарду. В Вандее, где национальной гвардии не было и в помине и где, невзирая на все приказы префектуры, не вывесили ни одного трехцветного знамени, Дюма только и делал, что поглощал обильные трапезы и уверял в своем раскаянии Мелани, которая, узнав о похождениях своего любовника, посылала, при подстрекательстве матери, глупейшие письма Мари Дорваль и Белль Крельсамер. Дюма покинул Вандею 22 сентября, оставив Мелани совершенно больной.

Дюма — Мелани:

«Как ты себя чувствуешь, моя любовь? Ты должна понять, что только жестокая необходимость заставила меня уехать. Ради Бога, мой ангел, не расстраивайся так, это вредит твоему здоровью. И верь, непременно верь в то, что между нами существует чувство более глубокое, чем сама любовь, которое переживет все наши размолвки... Я не увижу ее по возвращении в Париж, мой ангел. И все же мне необходимо встретиться с ней спустя несколько дней, чисто по-дружески, чтобы объяснить причину разрыва, но он (этот разрыв) произойдет, сколько бы она ни плакала. Театр утешит ее.

Прощай, моя любовь. Я выпью чашку кофе и отправлюсь в путь. Если я остановлюсь хотя бы часа на два в Блуа, я напишу тебе».

Как это напоминает излияния Бальзака в письмах к госпоже Ганской! Поневоле задумаешься: стоит ли завидовать великим людям!

В Париже он застал *status quo*¹, от которого можно было прийти в отчаяние. Там росло недовольство политикой кабинета и прямо пропорционально ему росла любовь к королю. Дюма верил в эту любовь, потому что рассчитывал на поддержку короля и ожидал получить доказательства его признательности. Он написал отчет о своей «миссии», назвав его «Вандейскими записками». В них он предупреждал о возможности нового шуанского мятежа, давал мудрые советы и в конце склонялся к «стопам государя».

Александр Дюма — Мелани Вальдор, 30 сентября 1830 года:

«Всего несколько строк, моя любовь, чтобы поцеловать тебя, рассеять твой страх и еще раз поцеловать... Письмо твоей матери меня очень беспокоило. Твою записку я получил накануне... Разрешите им, моя любовь, ставить тебе столько пивков, сколько нужно. И не терзайся по пустякам, не терзайся даже из-за сломанной герани. Наши бурные объяснения привели к этому преступлению — потому что это поистине преступление...

¹ Существующее положение вещей (лат.).

В окружении короля ничего не изменилось. Я послал ему отчет, но даже не знаю, прочел ли он его. Короля полностью оградили от людей — создали настоящую блокаду. К нему допускают лишь тех, кому нечего (sic!) сказать. Его любят с каждым днем все больше и больше, но ведут себя по отношению к нему с неуместной фамильярностью. Господин Дюпати послал ему на днях билет члена национальной гвардии на том основании, что он живет в округе Пале-Рояля. Как все это глупо...»

Сломанная герань была для любовников символом беременности, окончившейся на этот раз выкидышем. «Не тревожься о будущем: у нас с тобой еще будет герань». Поневоле вспоминается Бальзак, который хотел, чтобы Чужестранка подарила ему «Виктора-Онорэ».

Король Луи-Филипп прочел «Вандейские записки» и даже сделал на полях пометки. Дюма советовал кое-где переместить легитимистски настроенных священников. «Сообщено в Церковное ведомство», — написал король. Через Удара он передал Дюма, что ему будет дана аудиенция. Молодой человек явился на нее в мундире национальной гвардии. Он был принят с сердечной улыбкой и тем показным добродушием, которое так обезоруживало министров. Король сказал ему, что он ошибается относительно шуанов.

«Ведь и я тоже, позвольте вам заметить, держу руку на пульсе Вандей... Я немного сведущ во врачевании, как вам известно... Политика — это печальное занятие. Оставьте его королям и министрам... Ведь вы поэт, вот и пишите свои стихи...»

Надежды на портфель, которые Дюма втайне питал, разом рухнули. Уязвленный, он подал прошение об отставке, в котором отказывался от должности библиотекаря:

«Сир.

так как мои политические взгляды больше не соответствуют тем, которые ваше величество вправе требовать от лиц, принадлежащих к вашему дому, я прошу ваше величество принять мою отставку и освободить меня от обязанностей библиотекаря. Имею честь остаться почтительнейше и проч.

Алекс. Дюма»

После чего он перевелся в артиллерию национальной гвардии, известную своими республиканскими настроениями. А на стенах парижских зданий уже начали замазывать следы июльских перестрелок.

Театр вновь принял его в свое лоно. Феликс Арель с самого начала Июльской революции лелеял одну гениальную, по его мнению, идею. Так как бонапартисты объединились теперь с орлеанистами, чтобы поддержать новый режим, стало, наконец, возможно свободно говорить об императоре. Мадемуазель Жорж, которая была любовницей божества, сохраняла ему самую пылкую преданность и покровительствовала этим планам. Генералу Дюма пришлось столько страдать по вине Бонапарта, что его сыну вовсе не хотелось хвалить покойного императора, а тут не могло быть и речи о том, чтобы хулить его. Да и, кроме того, великие события империи казались ему слишком близкими, чтобы выводить их на сцену.

Но однажды, когда по возвращении из Жарри он ужинал вечером после театра у четы Арель — Жорж, хозяйева, отпустив других гостей, задержали Дюма. С большой таинственностью они провели его через спальню мадемуазель Жорж в красивый кабинет, прилежавший к комнате актрисы, и сказали, что не выпустят до тех пор, пока он не напишет драму. Тема была ему не по душе, зато очаровательное соседство очень вдохновляло. Хотя мадемуазель Жорж была к этому времени уже далеко не молода и не без оснований носила прозвище «исполинской Мельпомены», она сохранила плечи, руки и грудь статуи. У нее была естественная и непринужденная манера принимать ванну в присутствии приятелей-мужчин, показывая при этом свою грудь греческой богини, которая могла воспламенить и менее темпераментного человека, чем Дюма. Он написал «Наполеона Бонапарта» за восемь дней. Это была искусно сделанная драма, никак не соответствовавшая величю темы. «Плохая пьеса, плохой поступок, — писал Виньи. — Я упрекал его за то, что он лягнул павших Бурбонов».

Арель развернул шумную рекламу. Он объявил, что истратил на постановку сто тысяч франков. В день премьеры в антрактах играли военные марши. Зрителей покорнейше просили явиться в мундирах национальной гвардии. Зал, битком набитый военными, был настроен воинственно. Императора играл Фредерик Леметр.

К тридцати годам этот актер прославился, первым сыграв Робера Макера в «Трактире Адре» не негодяем, а героем циничным и остроумным, чуть ли не Вершителем Правосудия. В его интерпретации пьеса из мелодрамы превратилась в комедию, наполненную социальным и революционным содержанием — в «Женитьбу Фигаро» июльских дней. В его герое было нечто от шекспировских шутов: мрачные раскаты хохота, горький сарказм. Словом, критика общества с позиций бандита, подзаборного Манфреда; такая трактовка роли принесла актеру триумф.

Фредерик, чтобы создать своего Наполеона, советовался со всеми, кто хорошо знал императора, а таких было немало. Из боязни (совершенно напрасной) показаться банальным он отказался от самых характерных внешних примет Наполеона: руки за спиной, нюхательного табака в жилетном кармане. Роль была сыграна смело и с блеском, но это был не Наполеон. Арель был разочарован, публика — тоже, и Дюма, потрясенный своей первой неудачей, задавал себе вопрос: неужели его вдохновение иссякло?

Однако, возвратившись домой, он обнаружил записку, в которой ему сообщали, что в связи с отменой цензурных ограничений (как оказалось, на весьма короткий срок) Французский театр начинает репетировать «Антони».

Мадемуазель Марс согласилась играть Адель, Фирмен — Антони. Распределение ролей весьма лестное и — чреватое опасностями. Мадемуазель Марс, в высшей степени грациозная, остроумная и кокетливая, была будто создана для пьес Мариво, но совершенно не подходила для «современного характера Адели, с его переходами от страсти к раскаянию». Фирмен оставался классическим актером, в нем не было ничего от «рокового» героя типа Антони. И еще один признак, помимо множества других, свидетельствующий о том, что оба актера взяли не за свое дело: ни один из них не решился появиться на сцене в бледном гриме. А ведь бледность была неотъемлемой принадлежностью драм в духе Дюма.

Перед Июльской революцией актеры Комеди Франсез оказали «Антони» ледяной прием. Отвергнуть пьесу после шумного успеха «Генриха III» было невозможно,

но зато, когда приступили к репетициям, мадемуазель Марс ловко и настойчиво, так, как только она одна умела, постаралась подогнать роль Адели к знакомым ей ролям героинь Скриба. Фирмен, со своей стороны, сглаживал все острые углы своей роли. «В результате этого, после трех месяцев репетиций,— писал Дюма,— Адель и Антони превратились в очаровательных любовников, таких, каких любит показывать театр Жимназ. Они с равным успехом могли бы называться господином Артуром и мадемуазель Селестой». Как мог автор допустить, чтобы его произведение так безжалостно выхолостили? «Ах, да как это происходит? Как ржавчина передает железо, как волна подтачивает скалы?» Беспощадная мягкость мадемуазель Марс действовала не менее разрушительно. Друзья Дюма, приходившие на репетиции, говорили:

— Очень милая пьеска, очаровательная вещичка. Кто бы мог подумать, что ты будешь работать в этом жанре!

— Во всяком случае, не я,— отвечал Дюма.

Наконец появились афиши: «В субботу, послезавтра, премьера «АНТОНИ». Когда Дюма пришел в Комеди Франсез на генеральную репетицию, мадемуазель Марс обратилась к нему медовым голоском:

— Вам уже сообщили последнюю новость? — спросила она.

— Какую новость?

— У нас теперь будет газовое освещение.

— Тем лучше.

— Нам делают новую люстру.

— Примите мои поздравления.

— Спасибо, но не в этом дело.

— В чем же тогда, мадемуазель?

— Я потратила тысячу двести франков на вашу пьесу!

— Bravo!

— У меня четыре смены туалетов.

— Вы будете бесподобны.

— И вы понимаете...

— Нет, не понимаю.

— Я хочу, чтобы публика их видела.

— Справедливое желание.

— И раз у нас будет новая люстра...

— И когда же она будет?

- Через три месяца.
- Ну и что же?
- Ну вот, я думаю, что хорошо бы ознаменовать новую люстру премьерой «Антони».
- Ах, вот как!
- Да, вот так.
- Значит, премьеры будет через три месяца?
- Да, через три месяца.
- Значит, в мае?
- Да, в мае. Это очень хороший месяц.
- Вы хотели сказать, очень пригожий месяц?
- Да, но и хороший тоже.
- Значит, вы в этом году не берете отпуска в мае?
- Нет, только с первого июня.
- Значит, если мы начнем, к примеру, двадцатого мая, у меня будет всего три спектакля.
- Четыре,— подсчитала мадемуазель Марс,— в мае тридцать один день.
- Целых четыре спектакля — как это мило!
- И мы вернемся к вашей пьесе после моего возвращения.
- Это точно?
- Даю вам честное слово.
- Благодарю вас, мадемуазель. Вы очень любезны. Я повернулся к ней спиной,— продолжает Дюма,— и столкнулся лицом к лицу с Фирменом.
- Слышал? — спросил я его.
- Конечно... Сколько раз я тебе говорил, что она ни за что не станет играть эту роль!
- Но почему, черт побери, ей не сыграть ее?
- Да потому, что это роль для мадам Дорваль...
- Дюма и сам давно об этом думал. Маленькая, темноволосая, хрупкая, с ниспадающими на лоб локонами, томными глазами, трепещущими губами и вдохновенным лицом, Мари Дорваль была не просто актриса: «Это была воплощенная душа... Фигура ее казалась гибким тростником, колеблемым порывами таинственного ветерка». Незаконнорожденная дочь бедных бродячих актеров, Дорваль выросла среди самых бурных и низменных страстей и в гневе могла браниться, как базарная торговка. Она испытала все в жизни, и, хотя неоднократно выходила замуж, у нее было множество любовников, в том числе и молодой Дюма. На сцене эта поразительная женщина дышала вдохновением, подлин-

ная жизнь сквѣзила в каждом ее движении, а искрометный талант покорял всех.

Она создала вместе с Фредериком Леметром спектакль «Тридцать лет, или Жизнь игрока», где в роли супруги, которая видит падение своего мужа, сумела гениально выразить горе матери и «скорбное величие женщины».

«В этой роли,— писал Банвиль,— ей пригодилось все — и скорбное лицо, и губы, дышащие безумной страстью, и горящие от слез глаза, и трепещущее, содрогающееся тело, и бледные тонкие руки, иссушенные лихорадкой!» И Жорж Санд: «У нее все обращалось в страсть: материнство, искусство, дружба, преданность, негодование, вера; и так как она не умела и не желала ни умерять, ни сдерживать своих порывов, она жила в чудовищном напряжении, в постоянном возбуждении, превышающем человеческие силы...»

Да, Мари Дорваль сыграла бы Адель куда лучше, чем мадемуазель Марс.

И ее постоянный партнер Пьер Бокаж тоже сыграл бы Антони гораздо лучше, чем Фирмен. Этот руанец, в прошлом чесальщик шерсти, пришедший в театр по призванию, играл с душой и темпераментом. У него были свои недостатки: слишком длинные руки, гнусавый голос. Его называли «сопливым Фредериком». Ему повезло встретить Дорваль, и она распознала в нем партнера, который сможет выгодно оттенить ее игру. Она видела его смешные стороны: считала его фатом и находила, что он глуповат, но при этом понимала, что для роли Антони он подходит гораздо больше, чем Фредерик, который постарается переключить все внимание на себя. Высокий рост, правильные черты лица, густые брови делали Бокажа мрачным красавцем, таким байроническим героем. Лирический и суровый, страстный и угрюмый, то пылко влюбленный, то свирепый, то возвышенный, он был буквально создан для роли Антони. Дюма взял рукопись из Комеди Франсез и отнес ее Мари Дорваль. Она нисколько не походила на мадемуазель Марс, эту аристократическую Селимену. Эта дочь народа приняла его с очаровательной естественностью и заговорила слегка нараспев, что придавало ее речи особую прелесть:

— Ах, как мило с твоей стороны, мой добрый пес, что ты пришел... Вот уже полгода, как я тебя не видела...

— Что поделаешь, моя прелесть, но за это время я успел сделать ребенка¹ и революцию... Так-то ты меня целуешь?

— Я не могу тебя поцеловать... Я снова стала благоразумной...

— А кто совершил эту революцию?

— Альфред де Виньи. Я от него без ума... Любовь — единственное, что он делает естественно, но за это ему можно простить все остальное... Он обращается со мной, как с герцогиней. Он зовет меня «мой ангел». Он говорит, что у меня вдохновенное тело.

— Bravo!.. А я принес тебе роль... И хочу тебе ее прочесть.

— Ты прочтешь ее для меня одной? Вот как! Значит, ты меня считаешь великой актрисой?

В тот же вечер Дюма прочел Мари Дорваль «Антони». Она плакала, восхищалась, благодарила:

— Вот посмотришь, как я скажу: «Но она не закрывается, эта дверь». Можешь не беспокоиться. В твоих пьесах играть нетрудно, но они разрывают сердце... Ах, мой пес, когда только ты успел узнать женщин? Ведь ты их знаешь досконально...

Она попросила его переделать пятый акт. Она нашла его «слишком дряблым». Мадемуазель Марс сочла его слишком жестким. Ох, уж эти актрисы! Дюма провел всю ночь в квартире Дорваль. К утру акт был переделан. В девять часов Мари радостно захлопала в ладоши и закричала:

— Ах, как я произнесу: «Я погибла, погибла!» Подожди-ка, а потом: «Моя дочь! Я хочу обнять мою дочь!..» И потом: «Убей меня!..» И потом... да любую реплику!

— Значит, ты довольна?

— Я думаю... А теперь надо послать за Бокажем, чтобы он позавтракал с нами и послушал пьесу.

Бокаж принял пьесу так же восторженно, как и Дорваль. Виньи присутствовал на нескольких репетициях и заставил Дюма вымарать те места, где герой проповедует атеизм. 3 мая 1831 года «Антони» был готов к постановке в театре Порт-Сен-Мартен. Теперь мало кто знает, что в свое время премьера «Антони» наделала не меньше шуму, чем премьера «Эрнани».

¹ Белль Крельсамер 5 марта 1831 года родила дочь,

Театр был набит. На премьеру слетелась вся молодежь: писатели, художники и просто болельщики. «Там можно было увидеть диковинные и свирепые лица, закрученные сверху усики, бородки клинышком, кудри до плеч, невообразимые куртки, фраки с бархатными отворотами... Слегка смущаясь, выходили из карет разодетые женщины, волосы их были убраны а-ля жираф, прически украшали высокие черепаховые гребни, рукава платьев вздувались бочонками, из-под коротких юбок виднелись башмачки, зашнурованные, как котурны...» Пьеса имела оглушительный успех. Дорваль ошеломила публику страстностью и искренностью своей игры, каждый ее крик потрясал правдивостью. Когда она опустилась в кресло, прелестная в своей женской наивности, и в предчувствии беды произнесла: «Но я погибла, погибла!» — зал зарыдал.

Вначале зрителей очень удивило, что Мари Дорваль играет светскую женщину. Казалось, ее хрипловатый голос гораздо больше подходил для мелодрамы из народной жизни. Но пьеса была так умело построена, драматические ситуации так стремительно сменяли одна другую, игра была такой реалистической, что после четвертого акта овации не смолкали до тех пор, пока не подняли занавес к пятому акту. Когда Бокаж, бросив кинжал к ногам разъяренного полковника, хладнокровно произнес: «Она сопротивлялась мне. И я убил ее», — в зале раздались крики ужаса. Для исполнителей главных ролей это был вполне заслуженный триумф.

«Они оба, — писал Дюма, — достигли самых ослепительных высот искусства».

Фредерик Леметр, а он знал толк в театре, всегда говорил, что четвертый акт «Антони» с Дорваль и Бокажем — самое прекрасное из всего, что он когда-либо видел. Дюма достаточно хорошо чувствовал театр, чтобы понять, как важно не позволить публике остыть. Он добился от рабочих сцены молниеносной смены декораций. В пятом акте Дорваль целиком завладевала вниманием зала: «Она плакала, как плачут в жизни — настоящими слезами, кричала, как кричат в жизни, проклинала, как обычно проклиняют женщины, рвала на себе волосы, разбрасывала цветы, мяла платье, подчас задирая его, без всякого уважения к традициям Консерватории, почти до колен».

«Публика неистовствовала: в зале аплодировали, плакали, рыдали, кричали. Жгучая страсть пьесы воспламенила все сердца. Молодые женщины поголовно влюбились в Антони, юноши готовы были всадить себе пулю в лоб ради Адель д'Эрве. Эта пара великолепно воплотила современную любовь,— писал Готье (следует, конечно, иметь в виду любовь, как ее понимали в 1830 году).— Бокаж и госпожа Дорваль буквально жили на сцене. Бокаж играл фатального мужчину, а госпожа Дорваль — женщину прежде всего слабую. В те времена считали, что преданности, страсти и даже красоты недостаточно для того, чтобы быть совершенным любовником: им мог быть лишь надменный, таинственный гордец, похожий на Гяура и Ларру — словом, фатальный герой в байроническом духе; любовником мог быть лишь герой, жестоко обойденный судьбой и достойный лучшего жребия...

Что касается Дорваль, то интонации ее, казалось, были продиктованы самой природой, а крики, рвавшиеся из глубины сердца, потрясали зал... Один ее жест, которым она развязывала ленты своей шляпки и кидала ее на кресло, заставлял зал содрогаться, словно перед ним разыгрывалась ужасная сцена. Какая правда была во всех ее движениях, позах, взглядах, когда она в изнеможении прислонялась к креслу, заламывала руки и поднимала к небу светло-голубые глаза, полные слез...»

Можно себе представить, какое впечатление должна была произвести эта неистовая пьеса на пылкую публику и горячую молодежь того времени. Зрители накинулись на Дюма, каждый хотел выразить ему свой восторг, его обнимали, целовали. Фанатики отрезали фалды его фрака, чтобы сохранить память об этом незабываемом вечере. Элегантные завсегдатаи премьер, обычно столь сдержанные, на этот раз потеряли головы. В двадцать восемь лет Дюма становится самым почитаемым драматургом своего времени. Его ставят рядом с Виктором Гюго. Их теперь часто называют соперниками, и благодаря стараниям дурных друзей их добрые отношения время от времени портятся, но всякий раз ненадолго, потому что оба они были людьми великодушными.

Успех «Антони» был прочным и длительным. Сто тридцать спектаклей в Париже. Светские люди впервые пошли в театр Порт-Сен-Мартен. В провинции эта драма еще долго оставалась триумфом Дорваль, которая обожала пьесу и, играя в ней, старалась превзойти самое себя. Однажды в Руане невежественный помощник режиссера подал знак опустить занавес сразу после удара кинжалом, не дожидаясь финальной реплики Антони. Взбешенный Бокаж покинул сцену и заперся в своей уборной. Публика, которую лишили долгожданной и столь прославленной развязки, бушевала. Дорваль, хороший товарищ, приняла прежнюю позу в кресле. Бо-

каж отказался вернуться на сцену. Публика кричала: «Бокаж, Дорваль!» — и угрожала разнести театр. Помощник режиссера, насмерть перепуганный взрывом негодования, поднял занавес в надежде, что Бокаж сдастся. Зал затаил дыхание. Мари Дорваль почувствовала, что надо действовать. И вот покойница поднимается, встает и подходит к рампе. «Господа,— сказала она,— я сопротивлялась ему... И он меня убил».

Затем сделала изящный реверанс и вышла под гром аплодисментов. Таков театр.

Чтобы понять, каким событием в театральной жизни был «Антони», достаточно прочесть статью Альфреда де Виньи в «Ревю де Дё Монд». Строгий и серьезный поэт пытался доказать, что это талантливое и живое произведение никак не посягает на мораль. Всем, конечно, известно, что Виньи был любовником Мари Дорваль и что иногда статьи пишутся из любезности, но эта статья звучит вполне искренне.

«Меня несколько не огорчает,— пишет он,— что мелодрама вновь завоевала себе место в литературном мире и что на сей раз она проникла туда через салон 1831 года... Во всяком случае, драма имеет невиданный успех, каждый спектакль напоминает вернисаж, но не одного, а по меньшей мере двадцати салонов... Во всех ложах завязываются любопытные споры о том, какова природа любви, споры перекидываются из ложи в ложу, спорят молодые женщины и мужчины, иногда даже незнакомые... По всему залу то здесь, то там ведутся приглушенные разговоры о проблеме рыцарства, о великой и вечной проблеме — проблеме верности в любви... Уступит ли спорщица своему собеседнику, уступит ли он ей, оба они в конечном счете не избегают влияния «Антони». О великое искусство сцены, если ты и впрямь совершенствуешь нравы, на этот раз не смех выбрало ты своим оружием! Нет, на спектакле не смеются и мало плачут, но страдают по-настоящему...»

Виньи, видимо, признает, что «Антони» — прекрасная пьеса. Однако имеет ли она социальное значение?

«...Я отнюдь не допускаю,— продолжает Виньи,— что автору можно приписать намерение, как это пытались сделать некоторые, подорвать обычай вступать в брак и привить обычай убивать тех женщин, чьи мужья живут с ними под одной крышей: это было бы слишком мрачно, и господин Дюма, несомненно, не желает ничего подобного... У него выработалась своя манера — сначала придумать развязку, а затем уже, отталкиваясь от нее, строить всю пьесу... Отличная манера, которая вполне удовлетворяет нашу жажду сильных ощущений... да и потом, разве успех сам по себе не является уже достаточным оправданием?... Нужно принимать человека таким, каков он есть, и судить его по тому, каковы его намерения...»

Это шпилька. Виньи, «неприступному, как скала», не нравились и не могли нравиться патетические излияния Дюма. Но дело касалось также Мари Дорваль, и, когда речь заходит о ней, Виньи впадает в лирику:

«Госпожа д'Эрве — меланхолическая женщина, милая и добрая, во всем покорная мужу; она очень любит свою маленькую дочку, но любит также и наряды, и розовые платья, и красивые шляпки, и цветы... Однако она никогда не забывает о том, что ее любил Антони. Стоит ему появиться вновь — и она погибнет... От него она приемлет все: бесчестье, падение и смерть, приемлет без упрека, восклицая лишь: «Но я погибла, погибла!» Наивные слова, которые Адель из Порт-Сен-Мартен произносит в таком горестном удивлении, что ужас пронизывает сердца зрителей, ибо они понимают: все эти три опьяняющих и самозабвенных месяца она была настолько глуха ко всему окружающему, что впервые очнулась лишь теперь, очутившись на краю пропасти, и лишь теперь поняла, что ей угрожает...»

В конце статьи Виньи описывает женщин, «очень молодых, очень красивых и очень нарядных», которые бросают свои букеты госпоже Дорваль. «Перегнувшись через барьер лож и улыбаясь сквозь слезы, они простирают к ней руки, словно желая обнять и спрятать под свое крыло поверженную у их ног сестру». Александр Дюма в этот вечер вписал не только «новую страницу в историю сердца», но и новую страницу в историю театра, потому что его триумф заставил Гюго доверить театру Порт-Сен-Мартен «Марион Делорм», а Виньи — написать «Маршальшу д'Анкр» для Мари Дорваль — «первой трагической актрисы своего времени». Так во второй раз в жизни Дюма выступил как человек, прокладывающий новые пути.

Глава пятая

MILLE E TRE¹

Триумф «Антони» вернул Дюма непоколебимую уверенность в себе. Он пользовался успехом. Тонкий и стройный, как денди, он приближался к тридцати годам. Взъерошенная шевелюра, голубые глаза, «сияющие, как две капли света», маленькие черные усики придавали ему своеобразное очарование. Победы над жен-

¹ Тысяча и три; здесь: великое множество [женщин, возлюбленных] (ит.).

щинами окружали его особым ореолом. Любовь к Мелани Вальдор не пережила «Антони». Когда автор превращает женщину в героиню своего произведения, она для него умирает. Да и потом сама Мелани, ревнивая, анемичная, снедаемая жаждой литературной славы, всецело поглощенная своей репутацией, стала совершенно несносной.

Тип донжуана имеет множество разновидностей. Донжуан жестокий и циничный мстит всем женщинам за то, что его отвергла одна из них, за то, что его произвели на свет, или за свое собственное уродство. Донжуан сатанинский не столько стремится внушить любовь, сколько попать все законы божеские и человеческие. Донжуан разочарованный ищет совершенную любовь, не находит ее и с грустью продолжает свои поиски. Донжуан — добродушный сладострастник берет женщин лишь потому, что хочет их, точно так же как он собирал бы плоды, если бы был голоден. В нем нет ничего сатанинского, он не мстителен, ему бы очень не хотелось огорчать ни одну из своих любовниц; он старается сохранять их всех одновременно, что очень великодушно с его стороны, но утомительно; и так как все они ревнивы, ему приходится лгать всем, что неизбежно приводит его в круг Ада, уготованный для обманщиков, то есть в восьмой круг.

Таким донжуаном и был Дюма. Строго говоря, он не порывал с Мелани Вальдор, но все символические герани, расцветавшие в их сердцах, давно увяли. В октябре 1830 года, по возвращении из Жарри, он все еще обещал ей ребенка. «Да, мой ангел, — писал он, — я мечтаю о нашем Антони». Дитя любви они собирались назвать в честь дитяти вдохновения. Дюма клялся расстаться с Белль Крельсамер: «К тому же я не думаю, что она способна на глубокую любовь... И потом уверенность в том, что я позабочусь о ее театральной карьере, утешит ее...»

Слова, слова!.. Вернувшись в Париж, Мелани Вальдор обнаружила, что Дюма не только не расстался с Белль Крельсамер (по сцене мадемуазель Мелани), но что она живет неподалеку от него и что он проводит с ней все вечера. Госпоже Вальдор пришла пагубная мысль отправиться в один прекрасный день к сопернице и устроить ей чудовищный скандал. Взбешенный Дюма попытался было порвать с ней. Мелани Первая, чув-

ствуя, что ее карта бита, сделала последнюю ставку на отчаяние.

Мелани Вальдор — Александру Дюма:

«Я пишу вам эти строки ночью: лихорадка не дает мне спать... Я буду вспоминать лишь Алекса, любящего и благородного, который скорее почел бы себя виновным, чем заподозрил меня... О, тот Алекс был моей радостью, моей гордостью, моим Богом, моим кумиром. Да, я убила его, это так, но убила, потому что любила слишком сильно: так обезьяны убивают своих детенышей, сжимая их слишком сильно в объятиях...

Умоляю вас, Алекс, дайте мне возможность считать вас лучшим и благороднейшим из людей. Не допустите, чтоб любовь моя обратилась в стыд и раскаяние; пусть я найду в вас оправдание моих безумств, моих ошибок и не только ошибок. Будьте добры и великодушны. *Отбросьте ненужную гордыню*, которая не позволяет вам выслушать и слово упрека... и будьте снисходительнее ко мне. Ибо от кого, о Господи, мне ждать жалости и снисхождения, как не от вас? И еще, я не знаю намеренно, но опасаясь, что, если вы будете присутствовать при моей кончине, ваши уста, вместо того чтобы покрыть меня поцелуями, произнесут горькие слова упрека, и слова эти лишат меня покоя и там. Сжальтесь, на коленях прошу вас о милосердии,— иначе вы не человек...»

Здесь на сцену выступает третье действующее лицо, которое будет играть по отношению к Мелани Вальдор и Дюма ту же роль, что доктор Реньо по отношению к Жорж Санд и Жюлю Сандо. Лицо это — доктор Валеран. Врач, наперсник поссорившихся влюбленных, становится одной из традиционных масок романтической драмы.

Завещание Мелани Вальдор — доктору Валерану:

«Понедельник, 22 числа, 11 часов утра.

Я хочу получить от него, до того как он покинет меня:

Мои письма, чтоб их перечитывать, и мой портрет.

Нашу цепочку и наш перстень.

Его часы, которые я у него куплю.

Его бронзовую медаль.

«Молитву», «Озеро», «Ревность».

Кольца, сплетенные из волос бедного Жака.

Его печатку.

Если я умру, я хочу, чтобы все, за исключением портрета, погребли вместе со мной на кладбище Иври, рядом с могилой Жака. Я хочу, чтобы на моей могиле установили простую плиту белого мрамора, на которой сверху был бы высечен день моей смерти и мои годы. Ниже: *Sara di te, o di morte!*¹ и по углам плиты — четыре даты:

12 сентября 1827 года [день объяснения в любви],

23 сентября 1827 года [день моего падения],

18 сентября 1830 года [день отъезда Дюма из Жарри].

и 22 ноября 1830 года [день предполагаемого самоубийства

Мелани].

¹ Либо — ты, либо — смерть! (ит.)

Эти четыре дня, и только они, решили мою участь и мою жизнь.

Я хочу также, чтобы моя мать, пока она жива, ухаживала за геранью, посаженной на моей могиле, и я прошу мою дочь, когда она станет большой, заменить свою бабушку. Я хочу, чтобы меня не обряжали в саван, а надели бы голубое платье и желтый шарф. Шью пусть обовьют нашей черной цепочкой... Я хочу, чтобы его часы и наш перстень положили мне на сердце вместе с нашей сломанной геранью. В ногах пусть положат его стихи и нашу переписку.

Мой портрет я оставляю матери. Мои волосы — ему, если он когда-нибудь выразит желание их иметь, а также рисунки Буланже и Жоанно. Лауре — мою цепочку и браслеты, Анриетте — кольца, моей дочери — сердолики... Альбом — ему, если он захочет его взять...»

Мелани Вальдор было суждено на сорок один год пережить и это романтическое завещание и роковой разрыв. В театре Порт-Сен-Мартен вовсю шли репетиции «Антони», а она умоляла доктора Валерана повидать Дюма:

«Милый и добрый доктор, я так исстрадалась, что должна написать вам, потому что вы по крайней мере сочувствуете моим страданиям. Увидите ли вы его сегодня? Умоляю вас, постарайтесь повидаться с ним. Если его нет дома, значит он в Порт-Сен-Мартен. Пошлите ему свою карточку, и он вас примет... Умоляю вас, повидайтесь с ним. Пусть я хотя бы увижу человека, который видел его. Увы, напрасно я ждала его вчера и позавчера. Он обещал мне прийти, и я положила на его честь, поскольку не могла положиться на его любовь. Но раз он не пришел после того потрясения, когда я вновь увидела его таким, каким знала всегда — лучшим из людей, — разве этим он не признался окончательно, что бросил меня и что лишь боязнь моей смерти привела его ко мне? Боже милостивый, почему я не умерла? Но это не заставит себя ждать.

Я все еще тешусь и обманываюсь мыслью, что он меня любит, хоть и знаю, что это безумие. Ему — любить меня! Боже милостивый, человек, который может любить госпожу Кр[ельсамер], никогда не любил меня. Вы еще плохо знаете ее, эту госпожу Кр[ельсамер]! Но когда-нибудь вы ее узнаете, и он тоже узнает. О, верить госпоже Кр[ельсамер] больше, чем мне! Жертвовать моей жизнью ради поцелуев без любви, поцелуев, которые она готова продать тому, кто за них дороже заплатит, как только она потеряет надежду выйти за него замуж!

О Господи, почему он не спрятался где-нибудь у нее в тот проклятый день, когда я настолько потеряла голову, что, забыв о чести и достоинстве, пошла к ней! О, если бы только он слышал тогда, что говорила она и что — я!»

Мелани Вальдор — Александру Дюма, 10 декабря 1830 года:

«И вдали от тебя я думаю только о тебе и чувствую, что жизнь уходит от меня с каждым днем. Поверь, я ни в чем тебя не уприскаю. Ты любишь меня, только меня. Но твоя бесхарактерность убивает меня, а я боюсь умереть. Временами я так плохо

себя чувствую. О, воображаю, что станет с тобою, когда ты не сможешь уже воскресить меня и искупить свои ошибки силою любви, когда я не смогу уже ни простить, ни благословить тебя. О Алекс, хотя бы из жалости к себе прими сейчас решение, которое тебе все равно придется принять позже: *выбери одну из нас.*

Есть в этой двойной интриге нечто ужасное, и не тебе с твоей редкой душой мириться с этим. Ты страдаешь, ты разочарован во всем, в двадцать семь лет твоя жизнь испорчена, и ты готовишь себе будущее, которое всецело противоречит твоим наклонностям и твоим представлениям о счастье!

Я сама толкнула тебя на это, но ты еще можешь вернуться ко мне. Доверься мне. Я буду для тебя всем, чем ты пожелаешь. Я ни в чем не буду стеснять твоей свободы: ты будешь дарить мне лишь то, что повелит тебе твое сердце, ты никогда не услышишь от меня ни слова упрека, ты не будешь знать ни ссор, ни капризов и будешь счастлив. Но, Алекс, о мой Алекс, Мелани Серре не должна стоять между нами: она преследует меня, как призрак, она отравляет мой покой, мои надежды, она *убивает меня*, а ты не замечаешь этого. Неужели у тебя не хватит сил порвать с ней, когда на карту поставлена моя жизнь?..»

Белль Крельсамер ждала ребенка от Дюма. Мелани об этом знала.

«Напиши ей, умоляю тебя, напиши ей, мой Алекс, и непременно покажи это письмо мне. Обещай ей деньги, внимание, свое покровительство, уважение, дружбу — все, кроме любви твоей и ласк! Они принадлежат мне, мне одной — или же Мел[ани] Серре и ей одной. Но если так, тогда прощай, мой Алекс, прощай навсегда! Жива я буду или мертва — мы разлучимся навеки...»

И еще письмо:

«Ах, эти бесконечные визиты... Мне рассказывают о ней, о том, что она вот-вот разрешится от бремени. О Господи, куда бежать, куда скрыться от этого? И еще — она играла в «Генрихе III» и была отвратительна. Но ведь ты видел ее игру и ты все еще любишь ее! Ты говорил мне, что она перестанет тебе нравиться с того самого момента, как ты увидишь ее на сцене. О, как ты жесток! Какой позор моя любовь к тебе и как я презираю себя!

Но Мел[ани] Серре уже не молода. Ты говоришь: «Она далеко не молода и не очень красива», — чтобы успокоить меня. Но какое все это может иметь значение, если ты находишь ее молодой и красивой, если ради нее ты губишь меня? О, убивай меня, я буду тебе только благодарна, потому что я совсем потеряла голову. Прощай, прощай, будь счастлив с ней...»

5 марта 1831 года Мелани Вторая произвела на свет девочку, которую назвали Мари-Александрина. Так как у Белль Крельсамер остался от предыдущей мимолетной связи на руках сын, которому уже исполнилось шесть лет, дальновидная мать потребовала, чтобы Дюма официально признал их дочь, и добилась своего. Через сорок восемь часов после рождения ребенка все необходимые формальности были выполнены. Автор «Антони»,

выступивший в защиту незаконнорожденных детей, не мог отказаться дать имя собственным детям. Дюма был добр, но беспечен. Вот уже семь лет, как он забывал признать своего сына Александра. Теперь он захотел исправить эту несправедливость.

Александр Дюма — нотариусу Жану-Батисту Моро:

«Сударь, я прошу Вас оформить необходимые документы, дабы признать моим ребенка, зарегистрированного 27 июля 1824 года в мэрии на Итальянской площади под именем Александр.

Мать: госпожа Лабе [sic]. Отец — неизвестен.

Я хочу провести усыновление так, чтобы об этом не узнала мать. Полагаю, что это возможно.

Мое полное имя: Александр Дюма Дави де ля Пайетри. Университетская улица, 25.

Дело это не терпит отлагательства: я боюсь, что у меня отнимут ребенка, к которому я очень привязан. Соблаговолите рассказать лицу, передавшему Вам это письмо, какие дальнейшие шаги надлежит предпринять. Я полагаю, что понадобится свидетельство о рождении; если так, его вам принесет то же лицо. Прошу Вас, сударь, принять мои уверения в глубочайшем почтении.

Алекс. Дюма».

Когда в мае 1831 года состоялась премьера «Антони», Мелани Вальдор, которая была прообразом Адели д'Эрве и знала об этом, получила от автора билеты в ложу бенеуара со следующей запиской:

«Посылаю вам, мой друг, семь билетов. Не смог занести их лично, так как должен был присутствовать на одном важном государственном совещании. Я постараюсь зайти к вам в ложу. Ваш друг А. Д.».

Были все основания опасаться, что «Антони» лишь усугубит ярость покинутой женщины. Весь Париж сразу же узнал Адель д'Эрве, сходство было слишком очевидным: муж — офицер, единственная дочь, характерные детали туалета, любимые словечки. Мелани, публично скомпрометированная, обвиняла Дюма в том, что он «вывел ее в пьесе».

«Вскоре, — жаловалась она, — и мой добродетельный отец и моя подрастающая дочь будут видеть в госпоже Вальдор лишь героиню „Антони“».

А когда оказалось, что роль Адели исполняет не мадемуазель Марс, а Мари Дорваль, Мелани и вовсе расвирепела, увидев, что ее играет соперница. И еще одно усугубляющее обстоятельство: другая соперница, Белль Крельсамер, исполняла небольшую роль мадам де Кан под оскорбительным псевдонимом «мадемуазель Мелани», и весь театр говорил о маленькой Мари-Александрине, дочери актрисы и автора.

Когда пьеса была опубликована, госпожа Вальдор сочла, что ей нанесено новое оскорбление: вместо предисловия книге было предпослано в виде «посвящения, понятного лишь ей одной», стихотворение, написанное два года тому назад, в те времена, когда Дюма ее любил и ревновал к безобидному капитану Вальдору:

В минуты нежности, восторженной и зыбкой,
Ты говорила мне, с трудом скрывая страх:
«Скажи мне, почему горька твоя улыбка
И слезы почему в глазах?»

Знать хочешь, почему? Среди восторгов страсти
Я мучусь ревностью, я позабыл о том,
Что счастлив в этот миг: мне сердце рвет на части

Мысль о грядущем и былом.

И даже поцелуй приносит мне страданье:
Пусть пылок он, но мне напомнил этот пыл,
Что первые твои восторги и желанья
Не я зажег и пробудил!

Затем Мелани Вальдор смирилась. Пережив разочарование в любви, она не перестала заниматься литературой. У нее был салон; Дюма, прославленный автор «Антони», был бы незаменимым его украшением. «Вы придете, не правда ли? Будет Гюго. Поболтаем о том о сем. Вы доставите мне такую радость...» Она просила поддержать ее во мнении критики: «Мне очень важно, чтобы о моих стихах заговорили в обществе...» В соответствии с лучшими традициями она предлагала ему дружбу:

«Любовь, которой больше нет, превратилась в некий культ прошлого. Похвалы в ваш адрес снова возвращают мне вас. Тогда мне кажется, будто я снова завоевала вас и вы принадлежите мне. Ах, все, что в вас есть доброго и хорошего, связало наши души нерасторжимыми узами. Отныне я буду жить не для себя, и, если я буду знать, что вы счастливы, любимы и почитаемы, вы возродите меня к новой жизни. Прощайте, друг мой, брат мой, прощайте...»

Обе женщины, Мелани Первая и Мелани Вторая, продолжали еще некоторое время писать друг другу оскорбительные письма. Поэтесса обвиняла актрису в том, что она перехватывает ее письма к Дюма и пересылает их капитану Вальдору, чтобы повредить ей. Дюма добился возвращения украденных писем и лояльно передал их своей корреспондентке. Последняя требовала от него и других услуг, несколько необычного свойства:

«Я предпринимаю в настоящее время кое-какие меры к тому, чтобы перевести Вальдора в Париж. Если Вы можете мне в этом помочь, буду Вам весьма признательна...»

Последнее письмо Мелани Вальдор было столь же путаным, сколь бесконечно длинным.

«Александр, друг мой, несмотря на все твои недостатки, ты лучше большинства мужчин. Я сравниваю тебя с ними и больше не краснею при мысли о том, что любила тебя... Извинением тебе служит твой возраст и африканский темперамент: когда ты меня любил, ты был еще молод и чист душой; ты не готовил хладнокровно мое падение; ты не прибегал к хитростям и уловкам, чтобы погубить меня... Любовь твоя была безыскусна и чужда расчетливости...»

Она извинялась за то, что плохо приняла посвящение к «Антони», понятное лишь им двоим; мнимый друг дал ей плохой совет.

«О, прости мне мои письма, прости все, что я писала об «Антони» и о стихах. Все это было написано под его диктовку. Он хотел, чтобы я возвратила тебе «Антони» и книги Байрона. У меня на это не достало смелости... Теперь я понимаю, как жестоко я ошибалась, поверив тому, что было продиктовано его ненавистью к тебе. Он представлял мне все в ложном свете... Да, твои стихи были посвящением, понятным лишь нам одним. Он отбросил их с гневом и пренебрежением, но как могла я вменить их тебе в вину вслед за ним? За эти строки, написанные тобой, я должна была тебя благодарить. Он отравил мне всё!..»

Расскажи мне о твоих драмах. Ты доволен ими? Надеюсь, да. Суждение публики было для тебя очень благоприятным. Даже среди друзей Виктора все открыто отдавали предпочтение «Антони». Между тем в «Марии» есть поистине великолепные места, а IV акт просто прекрасен. О, работай, тебя ждет огромное будущее, большая слава! И будь счастлив! Пусть хоть один из нас по крайней мере возьмет от жизни все, что в ней есть лучшего...»

Белль Крельсамер, которая всегда была на страже, перехватила и это письмо. Доктора Валерана срочно отправили к Дюма с запиской:

«Я прошу господина Дюма, когда он мне вернет мои четыре письма,— а после того, что он мне написал, я уверена, он мне в этом не откажет,— я прошу его ни в коей мере не считать себя со мной связанным и больше не интересоваться мной».

Дюма поймал ее на слове и стал открыто жить с Мелани Серре. Но он нередко встречал Мелани Первую у общих друзей. Видел он ее и в Арсенале, у Нодье, где она в «чудовищном красном платье» танцевала галоп со своим супругом. Пока играли в жмурки и жгуты, Дюма издали разглядел ее как следует, нашел некрасивой и удивлялся тому, как он мог ее любить. И все же ей он был обязан «Антони».

О горе, горе мне! Я всемогущим небом
Заброшен в этот мир, где я для всех чужой...

Он все еще продолжал писать стихи в духе Байрона, хотя, несмотря на маску Антони, этот добродушный бунтарь весело нес тройное бремя: жить на свете, быть мужчиной, да еще мужчиной, которого непрестанно атакуют женщины. Больше всего ему хотелось, чтобы между фуриями царило согласие. Мелани Вальдор вышла из игры, но Катрина Лабэ и Белль Крельсамер, которая с тех пор, как стала жить по-супружески с отцом своей дочери, велела именовать себя *госпожа Дюма*, беспрестанно ссорились из-за маленького Александра. Ребенок от этого страдал.

Иногда превосходный, но чувственный и легкомысленный человек может причинить много зла, сам того не желая и даже о том не подозревая. Дюма казалось вполне естественным то и дело менять любовниц, но при этом он искренне желал, чтобы брошенные им женщины были счастливы. Когда его непостоянство приводило их в отчаяние, он старался задобрить их подарками. Сын Катрины Лабэ на всю жизнь запомнил день, когда отец, которому его плач мешал работать, схватил его и бросил со всего размаха на постель. Перепуганная мать устроила Дюма сцену. На следующий день Дюма вернулся с покаянным видом и принес в знак примирения дыню. И сколько еще таких искупительных дынь приходилось ему приносить за свою жизнь, хотя он был очень добр и никогда никого не хотел обидеть!

В 1830 году, как только ему удалось заработать немного денег, он поселил Катрину и ее сына в небольшом домике в Пасси. Время от времени он наезжал туда в форме артиллериста национальной гвардии подышать деревенским воздухом. Если мальчик заболел или попадал в беду, мать кидалась разыскивать Дюма в Лувре, где он стоял на посту. Однажды, когда врач велел поставить мальчику пиявки, малыш оказал отчаянное сопротивление. Отец поклялся, что ему не будет больно.

— Ну ладно,— сказал маленький Александр,— тогда поставь их себе.— И Дюма немедленно приложил две пиявки к ладони левой руки.

Отец очень старался завоевать любовь сына, но ребенок, естественно, предпочитал ему ту, которая воспитала его. Катрина Лабэ была женщиной «простой, пря-

мой, честной, работающей, преданной и порядочной во всех своих побуждениях». И несомненно, что именно от брабантской белошвейки Дюма-сын унаследовал здравый смысл и здоровую мораль, которые будут уравновешивать в его характере буйное воображение, пылкость и тщеславие, доставшиеся ему от предков по отцовской линии. Позже он с нежностью опишет их скромную, безукоризненно чистую квартирку и мастерскую, где мать распределяла между работницами изделия, скроенные ее руками.

Акт об усыновлении от 17 марта 1831 года, облекавший родительскими правами автора «Антони», ознаменовал начало ожесточенной войны между Катриной Лабе и ее бывшим любовником. Подстрекаемый Белль Крельсамер, которая обвиняла Катрину в пошлости, невежестве и утверждала, что та недостойна воспитывать сына Дюма, отец потребовал, чтобы ему отдали ребенка. Мать подала на него в суд и проиграла процесс. Защита могла бы выиграть дело, если бы Катрина позаботилась объявить в день родов о своем намерении усыновить незаконнорожденного по форме, предписываемой французскими законами. Не имея на этот счет специальных указаний, врач-акушер и два соседа (один — портной, другой — зубной врач) отправились в мэрию, где зарегистрировали рождение младенца «Александра, родившегося 27-го числа текущего месяца, в шесть часов вечера, в квартире своей матери... *незаконнорожденного ребенка мадемуазель Катрины Лабе*», тогда как им следовало после слова «незаконнорожденного» приписать «но усыновленного». В 1831 году Катрина, в свою очередь, забрала ребенка у отца и официально усыновила его 21 апреля. Слишком поздно. Отец имел право первенства. Тщетно Катрина Лабе пыталась бороться, то пряча любимого сына под кроватью, то заставляя его выскакивать в окно. В конце концов «суд отдал приказ полицейскому комиссару забрать у матери семилетнего Александра Дюма-сына и поместить его в пансион».

Нетрудно представить, какое смятение внесла в душу ребенка долгая борьба между родителями. Он хотел бы уважать обоих, но все же ему пришлось сделать выбор, и он встал на сторону матери. Она призывала его быть свидетелем того, как плохо заботится о них отец. Он и сам видел, что мать ведет безупречную жизнь, тогда как отец сожительствует с чужой женщиной. Он на-

чинал смутно понимать, что его мать в чем-то серьезно обидели, что она жертва несправедливости. Дети никогда не говорят о том, что у них на сердце, свое тщательно скрываемое горе они выдают лишь припадками гнева, которые нам кажутся беспричинными. В сорок два года Дюма-сын признается своему другу, что он «так никогда и не простил отца».

Когда маленького Александра заставили жить под одной крышей с любовницей отца, он взбунтовался. Госпожа Крельсамер, пытавшаяся приручить единокровного брата своей дочки, натолкнулась на жестокое сопротивление. Она писала Дюма:

«Мой друг, ты знаешь, как я люблю твоего сына, знаешь, что я с ним не только не строга, а наоборот, очень снисходительна. Так вот, мой друг, я должна тебе сказать, что ты не сможешь воспитать его дома. В самой основе его воспитания есть нечто порочное, и это необходимо исправить как можно скорее. Он, несомненно, очень бы к тебе привязался, если бы ты мог постоянно им заниматься, но сколько времени ты можешь ему уделить? Самое большее — часа два в день... В твое отсутствие никто не может с ним сладить. Даже причесать его не удастся. Не помогают ни просьбы, ни угрозы. Он не хочет учиться читать и писать и предается шалостям с таким буйством, что я зачастую вынуждена его бранить. Но самое худшее, корень всего зла в том, что ему разрешают видеться с матерью по воскресеньям и четвергам. После свиданий с ней он возвращается еще более своенравным, капризным и угрюмым, чем обычно. Я твердо убеждена в том, что мать настраивает его против нас и даже против тебя. Он больше не справляется о тебе, как бывало в первые дни. Он думает лишь об одном — о матери. Все остальные для него ничего не значат. Во вторник он вернулся домой в три часа, и — что же ты думаешь? — завтра он снова идет к ней. Она сама придет за ним, и он, наверное, останется у нее ночевать и проведет гораздо больше времени с ней, чем без нее. Вот в чем корень зла, и день ото дня положение будет лишь ухудшаться.

Сегодня Адель водила его гулять... Он устроил скандал, требуя, чтобы она вела его к матери, вернулся весь в слезах, разозлившись оттого, что его желание не исполнили. Чем больше он ее видит, тем больше ему хочется ее видеть и тем больше он отчуждается от тебя. И твердость, которую ты было проявил, не принесет из-за этого никаких плодов. Ты ставишь между собой и сыном женщину, которая все свои силы направляет на то, чтобы вытеснить тебя из его сердца. И придет время, когда ребенок, исполненный любви к матери, скажет тебе: «Ты разлучил меня с матерью, ты был жесток к ней». Вот чему его будут учить...

Я глубоко убеждена в своей правоте, мой ангел, и будь я твоей женой, а этот ребенок — нашим сыном, я сказала бы то же самое. Твой мальчик во многих вещах обладает сообразительностью десятилетнего, но он всегда будет верить матери во всем и скорее, чем тебе. Если ты хочешь предотвратить это, нельзя терять времени, ты и сам потом будешь радоваться тому, что разлучил его,

по крайней мере на некоторое время, с матерью. Было бы очень хорошо, если бы ты написал ей об этом. Целую тебя тысячекратно, мой ангел, и не забудь порвать это письмо».

Дюма, которому быстро наскучила эта борьба, решил снова поместить сына в пансион. Сначала суд департамента Сены выбрал заведение Вотье, находившееся на улице Монтань-Сент-Женевьев. Дюма-сын описал в «Деле Клемансо» последний день, который он провел с матерью, серебряные бокал и прибор, которые купила ему бедная женщина, узелок с вещами, который она ему приготовила: «Каждая из этих вещей говорила о деньгах, заработанных в поте лица, о работе, продолжавшийся далеко за полночь, а иногда и до зари. Знает ли человек, который делает матерью бедную девушку и заставляет ее содержать ребенка на свои заработки, сознает ли он всю меру своей вины?..» Привыкший к нежной материнской опеке, мальчик глубоко страдал от жестоких нравов мужской школы, к которым никак не мог привыкнуть.

Глава шестая ПАРИЖ В 1831 ГОДУ

Париж не устраивала революция, остановившаяся на полпути. Как и Дюма, столица дулась на режим. Каждый вечер около театров Жимназ и Амбигю мальчишки швыряли камнями в полицейских. Театральная публика продолжала волноваться. Между корифеями романтизма не было прежнего единства. Ламартин пустился в политику. Сент-Бёв и Гюго не разговаривали друг с другом. В 1830 году Гюго, Виньи и Дюма образовали триумвират драматургов. Но триумvirаты всегда недолговечны. Как-то Гюго сказал с негодованием Дюма:

— Веришь ли, но этот журналист утверждает, будто Виньи создал историческую драму!

— Вот дурак! — ответил Дюма. — Ведь все знают, что это сделал я.

Триумф «Антони» «положил начало расколу среди молодых людей, которые до сих пор сражались под общим знаменем, вместе пробивали брешь «Генрихом III» и шли на приступ с «Эрнани». Теперь они разделились на две группы: сторонников господина Виктора Гюго и сторонников господина Александра Дюма, они больше не шли все, как один, на врага, а по временам

и сами постреливали друг в друга». Отношения Дюма с братьями-писателями, несмотря на его неиссякаемое добродушие, становились все более и более натянутыми. Многие завидовали его стремительному возвышению, некоторые, а их было немало, поговаривали, что он не заслужил такого успеха. Его тильбюри и «тигр»¹ скорее раздражали публику, чем забавляли ее. Маленький рыжий Сент-Бёв, критик с тонким и требовательным вкусом, презрительно говорил: «Дюма? Да это так же легковесно, как завтрак вечного холостяка. «Христина»? Второсортная пьеса, настолько ниже «Эрнани», насколько иссоп ниже кедра». Суждение тем более суровое, что Сент-Бёву не нравился и «Эрнани». Однако брешь пробил Дюма, и «Антони», что бы там ни говорили, ничем не был обязан «Эрнани». Дюма рычал: «Завтрак вечного холостяка»? Предоставьте мне заниматься стряпней, и тогда мы посмотрим, кто кого».

Сам Гюго был по-прежнему дружелюбен и учтив с Дюма. Он считался теперь главой романтической школы. Любое предисловие Виктора Гюго молодежь принимала как приказ генерала армии. Гюго хотел быть мыслителем. Дюма довольствовался ролью развлекателя. «И хотел зарабатывать побольше денег», как добавили бы его недоброжелатели. Он и правда в них нуждался, но только для того, чтобы раздавать их направо и налево, расточать и мотать, а вовсе не для того, чтобы копить. Гюго, великий поэт, вел жизнь бережливого буржуа, Дюма — расточительного и беспутного представителя богемы. И по вечерам в театре Гюго гораздо бдительнее, чем Дюма, следил за сборами. «Виктор ужасен со своими постоянными заботами о сборах», — писал Фонтане в «Дневнике». Но зато Гюго получал царские доходы.

Дюма, прослушав «Мариян Делорм» в чтении Гюго, заявил во всеуслышание: «Он нас всех оставил далеко позади! — и потом добавил тихо: — Ах, если б, в придачу к моему умению писать драмы, я бы еще умел так писать стихи!» А перечитав «Мариян Делорм», объявил: «Я отдал бы год жизни за каждый из этих великолепных актов, но тем не менее я испытываю к Гюго только восхищение, живейшую дружбу и ни крупицы зависти...» И он был вполне искренен. Насколько искрен-

¹ Грум маленького роста.

нен, что, прочитав «Мариян Делорм», захотел переписать свою новую пьесу в стихах «Карл VII у своих вассалов» прозой. Однако актеры отговорили его от этой затеи, и 20 октября 1831 года состоялась премьера в Одеоне с величественной мадемуазель Жорж в главной роли. Еще один сюжет, который он заимствовал из раскрытой наугад книги. Тема? Та же, что в «Андромахе» Расина. Женщина, влюбленная в человека, не отвечающего ей взаимностью, жаждет его смерти, и человек, который ее безответно любит, совершает это убийство. Король Карл VII и Агнесса Сорель введены в пьесу исключительно для завлекательности, а ее главные персонажи — это жестокая Беранжера, ее муж граф Савуази и убийца Якуб Сарацин, вывезенный графом из крестового похода. Крестonosец когда-то спас Якубу жизнь, но Сарацин любит Беранжеру и, подстрекаемый ею, убивает своего спасителя. Пьеса не представляла никакого интереса, за исключением нескольких удачных монологов в роли Якуба, где речь идет о расовых предвзвещениях — вопросе, всегда волновавшем Дюма.

Нельзя сказать, чтобы пьеса потерпела полный провал. Вовсе нет. Но на премьере публика оказала ей ледяной прием. Импозантная мадемуазель Жорж играла Беранжеру, женщину двадцати пяти лет, хрупкую и бледную, — роль, явно рассчитанную на Мари Дорваль. Красавец Локруа исполнял роль молодого араба Якуба — роль, рассчитанную на Бокажа. Этим объяснялись все недостатки постановки. Дневник Фонтане: «Пьеса гораздо ниже обычного уровня Дюма. Это «Отелло» шиворот-навыворот, вокруг которого накручено невесть сколько классических и романтических перепевов. Своеобразие ее — своеобразие инкрустации; по стилю она эклектична и орнаментальна».

Дюма взял на премьеру сына в надежде, что мальчик, разделив с ним триумф, вернет ему свою любовь. Позже, став прославленным драматургом, Александр Дюма-сын вспомнит этот странный вечер, когда он все время повторял про себя: «Все это сделал папа», а потом они печально шли пешком домой по ночному Парижу, и большая рука отца, сжимавшая его маленькую ручку, слегка дрожала. «Папа несчастен», — думал мальчик. Он чувствовал, что сейчас лучше не говорить о пьесе, а может, и не говорить вообще. Публика тем не менее валила в Одеон.

Для художника, если только он не отличается исключительной добросовестностью, склонность к мотовству опасна. Ибо тогда он не в силах противиться соблазну и берется за любые поделки, лишь бы за них хорошо платили. К создателю «Антони», ставшему теперь признанным мастером драмы, обращались многие начинающие писатели с просьбой стать их соавтором.

Проспер Губо, основатель известного пансиона, и Жак Бедэн, банкир, увлекающийся литературой, принесли Дюма черновой набросок драмы «Ричард Дарлингтон», развязку к которой они не могли придумать. Арель предложил на главную роль Фредерика Леметра, Дюма переписал всю пьесу для Фредерика. Фредерик был актером совершенно иного плана, чем Бокаж. Чтобы выгодно оттенить талант актера, героя следовало сделать циником и сверхчеловеком. И Дюма перекроил для Леметра весь текст по его мерке. Так появились острые диалоги и разящие реплики, в которых Фредерик был так силен. Уже шли репетиции, а авторы все еще не знали, как им отделаться от Дженни, жены Ричарда. «Выбросьте ее из окна», — посоветовал Дюма. Непреднамеренное убийство стало кульминационным моментом пьесы. Луч зеленого света, падая на лицо актера, придавал ему такой устрашающий вид, что Луиза Нобле (исполнительница роли Дженни) совершенно неподдельно вопила от ужаса.

Фонтане, который присутствовал на последней репетиции, записал: «Отменная мелодрама. «Молодая Франция» — кожаные шляпы, рединготы с огромными отворотами, взлохмаченные шевелюры, зеленые клеенчатые плащи — ни дать ни взять ящерицы под дождем. Петрюс Борель и его поэзия. Уф!»

Нагромождение ужасов действовало на публику: в зале лица зеленели и искажались не меньше, чем на сцене. В конце пьесы Дюма, увидев, что Мюссе смертельно побледнел, спросил:

— Что с тобой?

— Я задыхаюсь, — ответил Мюссе.

Сумма сборов была внушительной. Но Дюма уже предложили новый сюжет. Бокаж, который сохранил самые приятные воспоминания об «Антони», принес ему набросок пьесы Анисе-Буржуа, довольно ловкого драматиста. Из этого наброска Дюма создал пьесу под названием «Тереза», в которой ему самому не нравилось ни-

чего, кроме одной роли молоденькой девушки; об этом образе он без ложной скромности говорил:

— Это цветок того же сада, что Миранда в «Буре» и Клерхен в «Эгмонте».

На эту роль Бокаж предложил дебютантку, по его словам, очень талантливую.

— Как ее зовут? — спросил Дюма.

— Вы ее вряд ли знаете. Ее зовут Ида; она играет на Монмартре, в Бельвиле, но она очень способная, прелестная и прямо создана для этой роли.

Прелестной Иду Ферье мог назвать только очень восторженный человек. Она была маленького роста, дурно сложенная, привлекательного в ней только и было, что красивые глаза, хороший цвет лица да густые белокурые волосы. Она пыталась подражать Дорваль, ее «выразительным плечам», «шее, волнующейся как у горлицы». Но в ней не было неподражаемой естественности Мари.

Настоящее имя Иды Ферье было Маргарита Ферран; она повсюду таскала за собой свою мать-вдову. И хотя в «Терезе» у Иды была маленькая роль, она имела успех и после пьесы в волнении бросилась на шею автору, говоря, что «он обеспечил ее будущее». Тогда она еще не знала, насколько она права. Дюма повез ее ужинать, потом — к себе домой. Она стала его любовницей. Он гордился этой победой и не уставал восхищаться молодостью, красотой и поэтичностью своей новой возлюбленной. Его восхищало в ней все, вплоть до ее целомудрия. «Это статуя из хрусталя,— говорил он.— Вы думаете, снег белый, лилии белые, алебастр белый? Вы ошибаетесь. На всем свете нет ничего белее ручек мадемуазель Иды Ферье». Такие тирады вызывали улыбки.

В «Терезе» Ида Ферье могла еще произвести впечатление. Став любовницей Дюма, она получила уверенность в том, что отныне у нее будет роль в каждой новой пьесе ее друга, прекратила работать над ролями и опустила «ниже уровня посредственности». Она стала карликовой Дорваль, точно так же как Мелинг был карликовым Фредериком... Она стояла на сцене, некрасиво растопырив слишком длинные руки, и разевала огромный рот для того, чтобы промямлить слова, смысла которых не понимала». Ида представляла серьезную опасность для Дюма. Пока романтики писали для та-

лантливых актеров, им все сходило с рук. Банальная фраза, произнесенная Дорваль, потрясала публику; в устах Иды Ферье она оставалась банальной. Драматургу лучше бороться с великим актером, чем властвовать над посредственностью. Это усложняет жизнь, зато спасает произведение.

Из «Дневника» Фонтане мы узнаем, что частое соавторство Дюма вызывает беспокойство в литературных кругах:

«Понедельник, 6 февраля. Иду посмотреть «Терезу» в Опера-Комик... Пьесу хорошо принимают, тема ее, как всегда, адюльтер, только на этот раз двойной... Это пьеса Дюма, хотя у нее есть и другой автор, но подписи своей он не поставил, таково условие.

Четверг, 16 февраля. Был у Дюма и завтракал с ним, его красавицей и Губо... Потом у мадам Гэ. Дюма тоже был там и вел серьезные разговоры о республике и революции. Его хотят заставить заплатить за порох, который он привез из Суассона: отменная шутка. Он привел с собой господина Анисе-Буржуа, его соавтора по «Терезе». Они собираются написать совместно еще четыре драмы. *For shame!*¹ Возвращался вместе с Дюма в два часа. Лунный свет освещал нам путь».

Когда Ида Ферье вторглась в жизнь Дюма, Белль Крельсамер находилась в турне. Она вернулась — и разразились семейные бури. Женщинам, которые принимали бы quasi-восточные привычки Дюма, было очень просто жить с ним. Он требовал лишь одного — уважения к своему труду. Во всем остальном он был добр до слабости. С тех пор как у него завелись деньги, он стал кормить своих нынешних любовниц, бывших любовниц, их семьи, своих детей, друзей, соавторов, льстецов. Это составляло целую орду нахлебников, часто неблагодарных. Когда не знали, где пообедать, говорили: «Пойдем к Дюма». Его обычно заставляли за работой. На каминной доске лежали последние луидоры, оставшиеся от гонорара.

— Дюма, мне нужны деньги, я их возьму, хорошо?

— Пожалуйста.

— Я верну их вам через неделю.

— Как вам будет угодно.

Он любил устраивать развлечения и участвовать в них. Король Луи-Филипп как-то дал костюмированный бал. Незадолго до карнавала Бокаж и все друзья принялись уговаривать Дюма, который после первых успехов в театре стал набобом от литературы и которому очень нравилась эта роль, в свою очередь, дать бал

¹ Позор! (англ.)

у себя дома. «У вашего бала,— уверяли друзья,— будут два преимущества: не придут те, кто ходит к королю, и не будет Академии». Препятствие заключалось в том, что в квартире Дюма было всего четыре комнаты, а нужно было пригласить по меньшей мере четверста человек. К счастью, на той же лестничной площадке пустовала квартира, единственным украшением которой были голубовато-серые обои. Дюма попросил у хозяина дома разрешения использовать ее для праздника и получил согласие. Оставалось только подготовить помещение.

Самые прославленные художники того времени: Эжен Делакруа, Селестен Нантейль, Декан, Бари, братья Жоанно, кузены Буланже были друзьями Дюма и участвовали в оформлении помещения. Каждый должен был написать картину на сюжет из произведения кого-нибудь из приглашенных писателей. Театральный декоратор Сисери затянул стены холстом, и за несколько дней до праздника художники приступили к работе. Пришли все, кроме Делакруа, который появился только в последний день и, импровизируя, создал за несколько часов великолепную композицию.

Оставалось решить еще один вопрос, впрочем, самый важный, по мнению Дюма, очень гордившегося своим поварским искусством и умением угостить, а именно — составить меню ужина. Дюма, разумеется, сразу пришла мысль сделать основой угощения дичь, которую он сам настреляет,— как говорится, «и дешево и сердито». Он получил у Девиолена разрешение на охоту в государственных лесах, отправился туда с несколькими друзьями и привез девять косуль и трех зайцев.

Как и в день своего первого приезда в Париж, он решил обеспечить остальное меню путем товарообмена. Он послал за знаменитым ресторатором Шеве, и тот согласился за трех косуль поставить ему либо семгу весом в тридцать ливров, либо севрюгу в пятьдесят. Четвертую косулю обменяли на гигантское заливное, а пять оставшихся зажарили и подали на стол целиком. Заботу обо всех остальных приготовлениях возложили на хозяйку дома, то есть на Белль Крельсамер.

Она постановила, что маскарадный костюм или хотя бы венецианское домино обязательны для всех приглашенных. Самые прославленные и красивые актрисы Парижа обещали прийти. Светские женщины выпрашива-

ли приглашения. К семи часам вечера Шеве соорудил буфет, достойный трапезной Гаргантюа. Три сотни бутылок бордо подогревались, три сотни бутылок бургундского охлаждались, пятьсот бутылок шампанского стояли на льду. В обеих квартирах, утопающих в цветах, играли оркестры.

К полуночи, когда съехались все гости, бал являл собой удивительное зрелище. Там были все великие люди Парижа, не только художники, писатели и актеры, но и такие серьезные люди, как Лафайет, Одилон Барро, Франсуа Бюлоз из «Ревю де Дё Монд», доктор Верон из «Ревю де Пари». Мадемуазель Марс, Жоанни, Мишло, Фирмен явились в костюмах, в которых они играли в «Генрихе III и его дворе». Молодые актрисы были вне себя от счастья, когда за ними ухаживал Лафайет, и в один голос твердили, что он, должно быть, такой же галантный и любезный, каким бывал до революции 1789 года на придворных балах в Версале. Россини, одетый Фигаро, соперничал в популярности с Лафайетом.

Никакой фантазии не хватит вообразить, что это был за бал. Газета «Артист» писала:

«Будь вы принцем, королем, банкиром, имей вы цивилизный лист в двенадцать миллионов или даже миллиардное состояние,— все равно вам не удастся устроить такой блестящий, такой веселый, такой неповторимый праздник. У вас будут более просторные апартаменты, лучше сервирован ужин, а может, и лакеи у дверей... Но ни за какие деньги вам не купить этих импровизированных фресок кисти лучших мастеров и не собрать такой молодой и озорной компании художников, артистов и других знаменитостей. И главное, у вас не будет искренней и заразительной сердечности нашего первого драматурга Александра Дюма...»

Справедливые слова. Какой миллионер мог бы приобрести эти комнаты, расписанные, как лоджии Рафаэля? Кто еще мог бы собрать в своем доме столько красавиц и великих людей? Белль Крельсамер в костюме Елены Фурман, с широкополой черной шляпой, украшенной белыми перьями, выглядела благородно и изящно. Александр Дюма, затянутый в дублет с огромными ниспадающими рукавами, изображал брата Тициана, Селестен Нантейль — старого рубаку, Делакруа — Данте, Бари — бенгальского тигра, Альфред де Мюссе был в костюме паяца, Эжен Сю — в домино. Библиофил Жакоб (Поль Лакруа) нарядился в остроконечную шапочку и бархатный камзол. Были тут и барон Тейлор и

Бокаж в костюме Дидье из «Марион Делорм». Мадемуазель Жорж, одетая итальянской крестьянкой, казалась императрицей. Словом, сюда прислали своих представителей все сословия, все эпохи, все народы; были мобилизованы история, география и прежде всего фантазия. В три часа утра подали раблезианский ужин. Трудно передать впечатление, которое производил зал.

«Все перемешалось: бродяги, воины, монахи в рясах с капюшонами, прически с плюмажами, блюда с дичью, бутылки, окорока, бокалы, раскрасневшиеся лица; перед этим меркнут и брак в Кане Галилейской и свадьба Гамачо...»

После ужина снова начались танцы. Гости в шумном галопе носились по квартире, пол «сотрясался от этого бешеного танца. Казалось,— писал далее «Артист»,— будто ты присутствуешь на шабаше, куда с четырех сторон света прилетели молодые красавицы ведьмы вербовать души для дьявола. Даже самые серьезные гости заразились этим неистовым весельем».

Одилон Барро, государственный муж, известный своим высокомерием и сдержанностью, танцевал с Глупостью. В девять часов утра все гости с музыкантами во главе высыпали на улицу и в последний раз пустились в галоп, образуя длинную цепь, голова которой уже показалась на бульварах, а хвост все еще извивался по Орлеанской площади.

Этот неистовый галоп был символичен. Всего десять лет прошло с тех пор, как молодой человек покинул провинциальное городишко с пятьюдесятью франками в кармане, твердо решив завоевать Париж. Прошло десять лет, и вот уже он, и никто другой, увлек все, что есть самого блестящего, умного и прекрасного в Париже, в эту гигантскую фарандолу. Дизраэли, когда его спросили, как он представляет себе идеальную жизнь, серьезно ответил: «Победным шествием от юности к могиле». Дюма идеальная жизнь рисовалась роскошной фарандолой друзей, отплясывающих в ритме галопы. И вот уже за ним и впрямь несется целый кортеж, подпрыгивая под аккомпанемент его скрипок; мы будем свидетелями того, как в дальнейшем он соберет вокруг себя читателей всего мира и они будут жадно внимать его рассказам, таким же захватывающим и веселым, как эта музыка,— и увлечет их за собой, переодетых мушкетерами и кардиналами, в бесконечном галопе, который скачет и поныне.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
БЛУДНЫЙ ОТЕЦ

Глава первая
«НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ»

Провозгласим «ура» в честь
этой мелодрамы,
Она вчера до слез растрогала Марго.
Альфред де Мюссе

Революции похожи на болезни с коротким инкубационным периодом, но бесконечно долгим выздоровлением. Первые годы правления нового короля протекали в беспокойной обстановке, театр от этого страдал. В Париже не прекращались волнения, в Вандее герцогиня Беррийская вербовала недовольных; повсюду свирепствовала холера, и страх перед заразой вредил сборам. Тогда никто в точности не знал причин этой грозной эпидемии — микробы еще не были открыты, но по всему свету от нее умирало множество людей, возможно, в результате испуга и самовнушения. Врачи запрещали есть сырые овощи и фрукты.

Дюма в то время, впрочем, как и всегда, испытывал денежные затруднения. Приятель, который имел привычку упрекать Дюма в мотовстве, был однажды очень удивлен, увидев, что тот ест огромную дыню-кantalупу.

— Какая беспечность! — закричал гость. — Ты ешь дыню? В такое время?

— Мой милый, зато их отдают почти даром.

После чего он заболел холерой, как и все остальные, однако в отличие от всех излечился, выпив полный стакан эфира. Он уже выздоравливал, но еще не вставал с постели, когда ему нанес визит остроумный и коварный Феликс Арель, директор Порт-Сен-Мартен.

— А, это вы, Арель? — приветствовал его Дюма. — Не бойтесь холеры?

— Эпидемия кончилась.

— Вы в этом уверены?

— Она перестала окупать себя, и ей пришлось свернуться,— ответил Арель.— Ах, друг мой, сейчас очень подходящий момент, чтобы предпринять новую постановку... Успокоившись, публика накинется на развлечение, и это самым благоприятным образом отразится на театре... Дюма, напишите для меня пьесу.

— Но посудите сами, Арель, разве я сейчас в состоянии написать пьесу?

Арель объяснил, что речь идет лишь о переделке пьесы. Молодой человек из Тоннера (департамент Ионн), по имени Фредерик Гайярде, принес в Порт-Сен-Мартен «недурно задуманную», но очень плохо написанную пьесу. Арель все же договорился с ним и с его разрешения передал рукопись критику Жюлю Жанену, жившему в том же доме, что и чета Арель — Жорж. Жанен переписал драму.

— В чем же дело?

— А в том, что теперь она написана лучше, но не стала более сценичной.

Словом, Арель хотел, чтобы Дюма целиком переделал пьесу.

— А у меня не будет неприятностей с этим юношей из Тоннера?

— Да что вы, дорогой мой, это сущий барашек!

— Понимаю... И вы хотите его остричь?

— С вами положительно невозможно разговаривать.

Арель не ушел, пока Дюма не дал ему обещания переделать пьесу за две недели.

— Позаботьтесь, чтобы там была хорошая роль для Жорж! — крикнул на прощание директор.

Удивительно, что самая известная из драм Дюма, выдержавшая не одну тысячу представлений и по сей день считающаяся типичным образцом французской мелодрамы, трескучие реплики из которой цитируют (смеясь) и поныне, вышла первоначально из-под пера Фредерика Гайярде, обитателя Тоннера (департамент Ионн), о чем никто, или почти никто, сейчас не знает. Заключается ли в этом жестокая несправедливость по отношению к Гайярде? Нет, потому что понадобилось вдохновение Дюма, его наивная и великодушная философия, чтобы сообщить этой нелепой истории динамизм и стиль, сделавшие ее классическим образцом театральных излишеств.

Каков сюжет «Нельской башни»? В начале XIV века в Париже прямо напротив Лувра (на том самом месте, где в наши дни находится дворец Института) возвышалась старая башня, фундамент которой омывали воды Сены. Таинственная и злоедающая, она служила не только дозорной башней, но и тюрьмой. Так вот, каждое утро стража находила в реке, несколько ниже по течению, трупы трех юношей. Кто повинен в их смерти? Оказывается, королева Маргарита Бургундская и ее две сестры, которые каждую ночь устраивали разнузданные оргии в потайной комнате башни. Для своих развлечений благородные дамы ежедневно выбирали трех красивых и рослых дворян, недавно прибывших в Париж (а следовательно, никому не известных), назначали им через верных служанок свидание, и те приводили юношей в башню с завязанными глазами. После ночи любви Маргарита приказывала убивать юношей, потому что боялась, как бы король Франции¹, ее супруг, не узнал о преступлениях внучки святого Людовика.

Однако одному из злополучных любовников удалось бежать, и он снова предстает перед королевой. Теперь он называет себя капитаном Буриданом, но, когда он носил свое настоящее имя и служил пажом герцога Бургундского, он был первым любовником Маргариты, которая родила от него сына. И вот тогда-то он получил от нее кинжал вместе с приказом убить ее отца, Робера II, герцога Бургундского. Итак, Буридан посвящен в ужасные тайны юности королевы и может заставить ее «плясать под свою дудку». Она приходит в тюрьму, куда его заключили по ее приказанию, с твердым намерением избавиться от него. Но в тот момент, когда мы думаем, что герой погиб, он преспокойно начинает увлекательный рассказ: «В 1293 году², двадцать лет тому

¹ Людовик X Сварливый (1289—1316). Все события пьесы вымышлены. Точно известно лишь то, что Маргарита и ее золовки Бланш де ля Марш и Жанна де Пуатье были преданы суду по обвинению в супружеской измене. Людовик X, которому по политическим соображениям необходимо было вступить во второй брак с Клементиной Венгерской, приказал задушить свою жену между двумя матрасами в замке Шато-Гайяр, где она содержалась в заключении. Королеве тогда едва исполнилось двадцать пять лет.

² В 1293 году Маргарита Бургундская никак не могла иметь ни любовника, ни незаконнорожденного ребенка: ей было всего 3 года.

назад, Бургундия была счастливой... И была у Робера, герцога Бургундского, дочь, юная и прекрасная... И был у герцога Робера Бургундского паж, с сердцем чистым и преданным...»

Буридан угрожает передать королю письмо, в котором Маргарита (в 1293 году) признавалась ему в намерении совершить отцеубийство, причем письмо это, конечно, находится в надежном месте. Он говорит так убедительно, что Маргарита обещает ему свободу и снимает с него оковы. Но ему этого мало, он требует, чтобы его сделали первым министром. Королева тут же предоставляет ему этот высокий пост. «В странные времена мы живем», — замечает один из персонажей пьесы. И он совершенно прав. Затем следуют новые преступления, но теперь Маргарита и Буридан выступают как сообщники. В конце пьесы злодеи несут заслуженную кару. Людовик X приказывает арестовать преступников.

«Как! — восклицает Маргарита. — Кто посмеет арестовать королеву и первого министра?»

«Здесь нет ни королевы, ни первого министра, — отвечает представитель власти. — Здесь только труп и двое убийц».

Блестящая реплика под занавес, да и вся эта история вызвала живейшее восхищение Дюма. Он обожал героев, которых не могли сломить самые жестокие поражения, которые доблестно сражались против целых полчищ врагов и которые, «если их выставляли за дверь, тут же влезали в окно». Все это очень напоминало жизнь генерала Дюма, да и его собственную жизнь. Его отец один удержал Бриксенский мост против целой армии. Ему самому всегда казалось, что в 1830 году он с револьвером в руках захватил Суассон. Его отец не робел перед императором; он — перед королем. В жизни ему не всегда удавалось удовлетворить свою жажду триумфов и желание «потрясать», зато в театре он мог вознаградить себя и дать волю своей фантазии.

Французский народ разделял чувства Дюма. Он тоже не пасовал перед королями, он сверг одну монархию в 1789 году, другую — в 1830. Народу нравилось, когда ему рассказывали о злодеяниях королей. «Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Мысль о том, что мужчина (или женщина), обладающие слишком большой властью, неизбежно обречены

на моральное падение, была очень близка романтикам. Виктор Гюго, как и Дюма, бичует знатных дам в «Лукреции Борджиа» и «Марии Тюдор». Преступница Маргарита Бургундская пытается оправдать свои гнусные злодеяния соблазнами власти: «Я не слышала,— говорит она,— от людей, меня окружающих, ни одного слова, которое напомнило бы мне о добродетели. Придворные улыбаются мне, они твердят, что я прекрасна, что весь мир у моих ног, что мне позволено все ради минутной прихоти...»

Буридана Дюма сделал типичным авантюристом. Он приехал, чтобы покорить Париж, и ради этого готов на все. Он подчеркнуто рыцарствен: «Маргарита, я буду говорить с тобой стоя и с непокрытой головой, потому что ты королева и потому что ты женщина...» Он выражается слишком высокопарно, ему недостает сдержанности героев Стендаля, хотя он так же циничен, как они. Он не останавливается перед преступлением. Этот образ предвещает появление тех заговорщиков второй империи, которых Гюго пригвоздит к позорному столбу в своем «Возмездии».

В «Нельской башне» нет правдивого изображения человеческих страстей или исторической эпохи. «Нельская башня» — не драма и не трагедия, и Дюма — не Расин и не Шекспир. «Нельская башня» — это мелодрама, мелодрама чистой воды, то есть пьеса, сюжет которой построен на игре случайностей, в которой самые невероятные совпадения поддерживают интерес публики и разрешают все проблемы в тот самый момент, когда кажется, что пьеса зашла в тупик.

Но разве мелодраму, несмотря на все ее крайности, не следует считать одним из жанров искусства, хотя бы и второстепенным? Ведь цель искусства не в подражании действительности, а в преобразовании или даже в искажении ее, с тем чтобы вызвать у публики определенные эмоции — те самые, которые она и желает испытать. Однако зритель 1832 года сильно отличался от зрителя 1782 года. Кого называли тогда «публикой бульваров»? Обитателей пригородов, которым был обязан своим процветанием Порт-Сен-Мартен. Эту публику мало интересовал анализ чувств, ибо он требует досуга и праздной жизни — привилегии придворных и завсегдатаев салонов. Об успехе, выпавшем на долю такого драматурга, как Пиксерекур, и таких мелодрам, как

«Трактир Адре», мечтали многие писатели. Романтическая драма в конечном счете — не что иное, как мелодрама, облагороженная стихотворной формой. Писатели образованные — Гюго, Виньи — не желали этого признавать, они даже колебались (хотя и не слишком долго), прежде чем решились отдать свои пьесы театру Порт-Сен-Мартен. Самоучка Дюма был не столь разборчив. «Мои пьесы,— говорил он в самом начале своей карьеры,— сыграют гораздо лучше на бульварах, чем во Французском театре».

Совершенно справедливое мнение, сослужившее службу не только ему, но и театру, так как мадемуазель Марс и ее школа навязали Комеди Франсез условности еще более жесткие, чем те, что господствовали на бульварах. Правда, затем наступило и такое время, когда бульвары, в свою очередь, стали переживать период упадка, когда Рашель вдохнула новую жизнь в классическую трагедию; когда вновь появились просвещенные круги общества и когда вновь обратились к Расину. Словом, все шло как должно. Такие колебания маятника и составляют историю искусства. Но 1832 год был годом триумфа мелодрамы, а Дюма, казалось, был создан для того, чтобы творить именно в этом жанре, потому что он разделял чувства толпы: жажду справедливости, стремление говорить горькие истины в глаза сильным мира сего, привычку делить человечество без каких-либо промежуточных категорий на героев и подлецов.

Прочитав рукопись, присланную ему Арелем, Дюма сразу понял, что можно из нее извлечь. В начале следовало добавить одну картину, чтобы познакомить зрителя со всеми персонажами; затем надо ввести «сцену в тюрьме», которая отсутствовала в варианте Гайярде.

Но прежде всего необходимо было выделить основное содержание драмы, которое, по мнению Дюма (его разделила и публика), заключалось в «борьбе между Бурриданом и Маргаритой Бургундской, между авантюристом во всеоружии своего гения и королевой во всеоружии своего сана. Стоит ли говорить о том, что гений неминуемо одерживает победу над саном».

Кроме того, необходимо было ввести в пьесу те блестящие диалоги, которые доставляли такое удовольствие Дюма и его публике. Например, в конце первой картины, когда убийца Орсини встречается в таверне с тремя молодыми людьми, жизни и счастьем которых он

угрожает, раздается удар колокола, возвещающий комендантский час.

«ОРСИНИ. Пробил колокол, господа.

БУРИДАН (*берет плащ и выходит*). Прощайте, меня ждут во второй башне Лувра.

ФИЛИПП. Меня — на улице Фруа-Мантель.

ГОТЬЕ. Меня — во дворце.

(*Они уходят. Орсини закрывает дверь, свистит. Появляется Ландри, с ним еще три человека.*)

ОРСИНИ. А нас, ребята, — в Нельской башне!

Текст пошлый звучит бравурно, но зато какая концовка!

Когда трем юношам, приходится расплачиваться за ночь любви жизнью, Филипп д'Онэ, истекая кровью, падает на землю и кричит.

«ФИЛИПП. На помощь! На помощь! Ко мне, брат!

КОРОЛЕВА (*входит с факелом в руках*). «Увидеть твое лицо и умереть» — так, кажется, ты говорил? Желание твое исполнится. (*Срывает маску.*) Взгляни — и умирай.

ФИЛИПП. Маргарита Бургундская, королева Франции! (*Умирает.*)

ГОЛОС СТРАЖНИКА (*за сценой*). Три часа ночи. Все покойно. Мирно спите, парижане».

Там были фразы выпренные и величественные: «Трактирщик дьявола, пронзай мое сердце тысячью кинжалов — тебе не открыть моей тайны!», «Вот руки твои, вот вены, а в венах этих — кровь».

Дюма был сражен, покорен; он немедленно написал Арелю, что готов приступить к работе над «Нельской башней», но необходимо с самого начала урегулировать финансовые условия сотрудничества. Контракт обеспечивал Гайярде сорок франков авторских отчислений с каждого представления плюс билеты, которые он мог продать, на сумму в восемьдесят франков. Половину этой суммы он обещал Жюлю Жанену в ту пору, когда тот брался переписать драму. Но Жанен вышел из игры и благородно отказался от своей доли. Дюма все же оставил в пьесе один монолог, принадлежащий перу Жанена, а именно знаменитый монолог о знатных дамах.

«БУРИДАН. Неужели вам не приходила в голову мысль о том, к какому сословию принадлежат эти женщины? Неужели вы не заметили, что это знатные дамы?.. Доводилось ли вам когда-нибудь в ваших гарнизонных похождениях видеть такие белые ручки, такие надменные улыбки? Обратили ли вы внимание на эти пышные наряды, на эти нежные голоса, на эти лицемерные взгляды? О, конечно, это знатные дамы! По их приказанию нас разыскала ночью старуха, прикрывающая лицо платком, медовыми сло-

вами заманила она нас сюда. О, это, несомненно, знатные дамы! Едва мы вошли в роскошно обставленную комнату, теплую и благоухающую редкими ароматами, как они кинулись нам на шею, ласкали нас, отдались нам без оглядки и без промедлений. Да, да, они бросились к нам в объятия, к нам, хотя они нас видели в первый раз и мы промокли под дождем. Можно ли после этого сомневаться, что это знатные дамы!.. За столом... они предавались любви и опьянению пылко и самозабвенно, они богохульствовали, вели непотребные речи, уста их изрыгали гнусные ругательства; они потеряли всякий стыд, потеряли человеческий облик, забыли о земле, забыли о небе. Да, это знатные дамы, поверьте мне, очень знатные дамы!..»

Дюма смаковал этот монолог, как гурман. Да, слов нет, мелодрама была что надо; но, поскольку Жюль Жанен отказался от своих прав, Гайярде вновь становился единственным владельцем пьесы. Дюма предложил оставить в силе прежний договор с ним при условии, что он, Дюма, будет получать проценты со сбора, ну, скажем, процентов десять. Арель согласился: если пьеса будет иметь успех, Дюма получит кучу денег, если нет — ничего. Конфликт начался с того момента, когда Дюма объявил, что хочет сохранить инкогнито. Это не устраивало Ареля, рассчитывавшего, что имя Александра Дюма привлечет в театр публику. Но Александр был неумолим. Он требовал, чтобы в день премьеры объявили имя одного Гайярде. Почему? Из скромности? Вряд ли его можно заподозрить в этом. Может быть, он считал, что критика, жестоко разгромившая «Карла VII у своих вассалов», отнесется более снисходительно к произведению начинающего автора?

Гайярде он написал великодушное письмо, в котором сообщал, что Арель попросил его «дать несколько советов», что он рад случаю помочь юному коллеге, что он будет счастлив оказать услугу, а не *продать ее*, что соответствовало истине, так как по соглашению с Арелем заработки Дюма не уменьшали гонорар Гайярде.

Но молодой человек из Тоннера в сердцах ответил, что не желает никаких соавторов. Дюма кинулся к Арелю, тот возмутился: «Да он, должно быть, рехнулся! Он нисколько не возражал против Жанена!» — и приказал начать репетиции пьесы в варианте Дюма. Гайярде прибыл из Тоннера, закатил скандал и хотел даже стреляться с Дюма. В конце концов они пришли к соглашению — на афишах будет стоять: «Драма господ Гайярде и ***», после премьеры «объявят» имя одного Гайярде; каждый из авторов будет иметь право включать «Нель-

скую башню» в полное собрание своих сочинений. Условия как будто вполне справедливые.

На репетициях в исполнении таких великолепных актеров, как мадемуазель Жорж и Пьер Бокаж, в пьесе, по выражению Дюма, «появилось нечто величественное». Роль Буридана Дюма сперва предназначал для Леметра, но Фредерик, боясь холеры, не появлялся в Париже. К тому же мадемуазель Жорж вовсе не хотелось играть с таким партнером, который постарается забрать себе весь успех, и она настояла на Бокаже. Фредерик тут же сломя голову примчался в Париж, но Арель отказался платить неустойку Бокажу, и Фредерик пришел в неописуемую ярость.

Дюма очень хотелось воспользоваться этим случаем для своей новой протехе Иды Ферье: «Арелю, я уверен, нужна именно такая актриса. Жюльетта не может претендовать ни на одну сколько-нибудь значительную роль». Эта Жюльетта была Жюльетта Друэ, бывшая натурщица скульптора Прадье, полукуртизанка, полуактриса. Но Арель не пожелал использовать в «Нельской башне» не только Жюльетту, но и Иду. Премьера состоялась 29 мая 1832 года. Мадемуазель Жорж была величественна и импозантна, Бокаж фатален и демоничен. Дюма в «Мемуарах» с наивным самодовольством описывает свой триумф:

«Зал волновался. Все предвещало большой успех, казалось, успех витал в воздухе, все дышало им.

Конец второй картины потряс публику. Буридан выпрыгивал из окна в Сену. Маргарита, срывая маску, обнажала окровавленную щеку...— все это производило огромное впечатление на публику. И когда после оргии, после побега, после убийства, после раскатов смеха, заглушенных стопами, после того, как герой кидается в реку, после того, как вслед за ночью любви царственная любовница безжалостно велела убить своего любовника, когда после всего этого раздался спокойный и монотонный голос ночного стража: «Три часа ночи. Все спокойно. Мирно спите, парижане»,— зал разразился аплодисментами... Потом пришел черед знаменитой сцене в тюрьме.

Как-то сын спросил меня (в то время он еще не был драматургом):

— Какие основные принципы построения драмы?

— Первый акт надо делать предельно ясным, последний — коротким и ни в коем случае не вводить тюремную сцену в третий.

Но, давая такой совет, я проявил неблагодарность: я не помню, чтобы сцена так захватила зрителя, как эта сцена в тюрьме, которую великолепно сыграли два актера, буквально вынесшие ее на своих плечах...

И, наконец, наступил пятый акт, за который Арель очень бо-

ялся. Он делится на две картины, восьмую, полную ледящего кровь комизма, и девятую, которую по нагнетанию ужасов можно сравнить лишь со второй. Было в нем что-то от античного рока Софокла, соединенного со сценическими ужасами Шекспира. Пьеса имела огромный успех, имя Фредерика Гайярде провозгласили под гром аплодисментов...»

На следующий день Арель приказал поставить на афишах: «Нельская башня», драма господ *** и Гайярде». Дюма кинулся к Арелю.

— Вы меня снова поссорите с этим Гайярде! — кричал он.

— Мой дорогой! — ответил Арель. — Пьеса имела большой успех, не хватает только маленького скандала, чтобы успех обратился в триумф. Если Гайярде станет протестовать, — тем лучше, я получу свой скандал... Пусть и он хоть что-нибудь сделает для пьесы... Неужели вы думаете, Дюма, что можно создавать шедевры, а потом заявлять: «Я не имею к этому никакого отношения»? Нет, хотите вы того или не хотите, Париж все равно узнает, что вы приложили руку к «Нельской башне».

В этот момент раздался стук в дверь. Вошел судебный исполнитель и принес официальное послание на гербовой бумаге от Гайярде из Тоннера (департамент Ионн), в котором тот требовал поставить имя «госпожина Три Звездочки» на второе место. Арель отказался. Гайярде затеял процесс и выиграл его, но хитрый директор получил бесплатную рекламу, а он только того и хотел. Ссора Дюма и Гайярде зашла так далеко, что они стрелялись на дуэли, впрочем, безрезультатно. Три звездочки перешли на второе место. С точки зрения закона инцидент был исчерпан.

И тем не менее эта история повредила репутации Дюма. Мелкие газетенки, всегда придиравшиеся к Дюма, утверждали, будто в «Нельской башне» ему не принадлежит ни строки, что было неправдой. Его враги, а их было немало, — несмотря на всю его доброту, потому что его бахвальство раздражало, а успехи в театре и у женщин вызывали зависть, — изо всех сил старались доказать, что он не написал ни слова ни в одной из своих пьес и что все в них сделано его соавторами. Если так, то поневоле возникает вопрос, почему пьесы Гайярде, написанные им самостоятельно, пользовались самым скромным успехом, а то и вовсе проваливались?

Ворчливый Гюстав Планш писал: «Нам кажется, что господин Дюма, который дебютировал не далее, как в 1829 году, угрожает быстрое забвение». Он упрекал Дюма за желание подменить идеализм классиков низким реализмом: «Господин Дюма не привык думать, у него поступки с детской торопливостью следуют за желаниями; вот почему Дюма кинулся ниспровергать традиции, не соразмерив ценности того памятника, на который посягает». Обвинение Дюма в реализме кажется нам по меньшей мере странным. Трудно представить себе что-нибудь менее реалистическое, чем его театр. Гораздо точнее будет сказать, как тот же Планш: «Господин Дюма воспротивился против себя всех серьезных художников». В начале тридцатых годов «Молодая Франция» считала Виктора Гюго и Александра Дюма создателями современной драмы. «Генрих III и его двор» проложил дорогу «Эрнани», и публика охотно ставила обоих драматургов рядом. После 1832 года люди с тонким вкусом не разделяли больше этого мнения. Гюго вырвался далеко вперед. Сент-Бёв, который не отрицал таланта Дюма, говорил: «Да, он талантлив, но талант его скорее физиологичен... В нем,— пояснял Сент-Бёв,— больше от вдохновения, нежели от искусства. Все дело в его кипучем темпераменте».

Но разве так уж плохо иметь кипучий темперамент?

Глава вторая

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

В 1832 и 1833 годах Дюма ухитрялся делить свою жизнь между Белль и Идой. Первый год он провел с Белль (Мелани Серре) и жил то в Париже на Орлеанской площади, то в Трувиле, нормандском портовом городке, где он обычно скрывался в гостинице, чтобы иметь возможность работать. Но в 1833 году Ида взяла верх и меблировала для Дюма квартиру на улице Блэ (лимонное дерево, звериные шкуры), где правила единовластно. Мирное сосуществование весьма облегчал театр. Обе дамы были актрисами, и Дюма заботился о карьере обеих. В «Анжеле», написанной в 1833 году, играли и мадемуазель Мелани и мадемуазель Ида. «Я хочу,— заявлял Дюма директорам,— видеть на сцене тех теат-

ров, которым я отдаю свои пьесы, дарования, которые мне приятны». Пожелание, выраженное весьма тактично.

Ида Ферье, более честолюбивая, чем Белль Крельсамер, требовала от Дюма роскоши, что ему очень импонировало. Дюма уже знал все серьезные недостатки своей любовницы: Ида устраивала по нескольку сцен на день, восстанавливала против него слуг, перехватывала его письма. «Но у нее,— писала графиня Даш,— были искусно подрисованные брови, белоснежная атласная кожа с легким румянцем, коралловые губки и волосы, завитые мелкими локонами а-ля Манчини». Полнота ее к этому времени приняла угрожающие размеры, произношение было отвратительным. Говорила она в нос, будто страдала хроническим насморком. Но она умела принять гостей, и вскоре Дюма стал больше ценить в ней хозяйку дома, нежели владычицу своего сердца. И хотя Катрина и Белль родили ему детей, Иде все же удалось захватить титул первой султанши и даже поселить у себя вдову Ферран, свою мать.

Молодого Александра, сына Катрины, принесли в жертву. К этому времени он перешел из заведения Вотье в пансион Губо. Директор пансиона Проспер Губо был, как мы уже упоминали, другом его отца. На досуге он писал пьесы, участвовал (под псевдонимом Дино) в создании знаменитой драмы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» и дал Дюма сюжет «Ричарда Дарлингтона». Умный и образованный, Губо был хорошим воспитателем. Он основал пансион Сен-Виктор на улице Бланш, на том месте, где сейчас находится Парижский театр. При финансовой поддержке банкира Лаффита ему удалось создать процветающее заведение, в котором воспитывались сыновья аристократов, крупных финансистов и коммерсантов. Дюма остановил свой выбор на Губо, потому что знал его по театру. Он, конечно, не мог предугадать, какой прием окажут незаконному сыну белошвейки избалованные, испорченные, высокомерные мальчишки.

Матери нескольких учеников были клиентками Катрины Лабе. От них стало известно, что она не замужем и что ее сын — незаконнорожденный. Дальше стало происходить нечто невероятное.

«Мальчишки,— писал позже Александр Дюма-сын,— оскорбляли меня с утра до вечера, по-видимому, радуясь случаю унижить

то имя, которое прославил мой отец, унижить, пользуясь тем, что моя мать не имела счастья его носить».

Когда маленький Александр попытался вступить за честь матери, товарищи подвергли его бойкоту.

«Один считал себя вправе попрекать меня бедностью, потому что был богат, другой — тем, что моей матери приходится работать, потому что его мать бездельничала, третий — тем, что я сын швеи, — потому что сам был благородного происхождения; четвертый — тем, что у меня нет отца, возможно, потому что у него их было два...»

Ночью ему мешали спать, в столовой передавали пустые блюда. В классе его мучители придумали новую игру — они спрашивали учителя:

— Сударь, скажите, пожалуйста, какое прозвище было у красавца Дюнуа?

— Орлеанский бастард.

— А что значит «бастард», сударь?

Ученик Дюма разыскал слово «бастард» в словаре. Словарь объяснял: «рожденный вне брака». Его палачи зашли настолько далеко, что изрисовали все его книги и тетради непристойными сценами, под которыми подписывали имя его матери. Когда чаша терпения переполнялась, маленький Александр плакал, забившись в уголок. Травля ожесточила характер мальчика и подорвала его здоровье. Он стал мрачным, подозрительным и страстно мечтал о мести.

Этот ад произвел на него неизгладимое впечатление. Вся жизнь ему не будет давать покоя судьба соблазненных девушек и незаконнорожденных детей. Он признавался позже, «что так никогда полностью и не оправился от этого потрясения, что никогда, даже в самые счастливые дни своей жизни, не мог ни простить, ни забыть этой обиды». Как-то на бульваре он встретил одного из своих прежних мучителей; тот кинулся пожимать ему руку «с великодушием человека, не помнящего зла, которое сам причинил». Дюма сурово остановил его. «Любезнейший, — сказал он, — сейчас я на голову выше тебя, и, если ты еще раз вздумаешь заговорить со мной, я тебе все ребра переломаяю».

Вот откуда у него наряду с чертами, унаследованными от отца, — гигантским ростом, сочувствием к мстителям и желанием самому стать мстителем, и притом грозным, — совершенно иные качества. Дюма-отец всегда окружал себя людьми, около него постоянно вертелись своры прихлебателей и любовниц; сын будет лю-

бить уединение и созерцательную жизнь. Отец выдумывал людей, сын будет их изучать. Он станет реформатором, восставшим против царящего беспорядка, и, едва страсти юности утихнут, сделается приверженцем самой строгой морали.

Генерал Дюма бунтовал против начальства, автор «Антони» — против общества. Но все анафемы и проклятия Дюма-отца были лишь данью литературной моде, тогда как протест Дюма-сына, порожденный страданиями, перенесенными в детстве, был искренним и глубоким. Отец обладал отменным здоровьем; здоровье сына, как телесное, так и душевное, временами будет находиться на грани кризиса; даже его рассудок не раз окажется под угрозой. Отец, несмотря на все свои злоключения, останется до конца дней оптимистом; сын, несмотря на ранний успех, всегда будет пессимистом.

«В своей жизненной философии я исхожу из предположения, что все мужчины — подлецы, а женщины — потаскушки. И если я вижу, что ошибся в отношении одного или одной из них, мое разочарование становится для меня источником не горя, а радости».

Мы судим о рынке по тому, какие товары мы там находим. Дюма-сын на пороге жизни столкнулся с вылощенными молодыми негодьями из пансиона Губо. До конца жизни он не сможет их забыть.

В 1832 году театральная деятельность Дюма-отца была прервана на несколько месяцев длительным путешествием по Швейцарии, которое он вынужден был предпринять из соображений осторожности. Июльская монархия оставалась непопулярной; студенты и рабочие устраивали манифестации. В июле похороны либерально настроенного генерала Ламарка послужили поводом к серьезным волнениям. Дюма в форме артиллериста шел в толпе демонстрантов, его узнали и объявили республиканцем. В одной легитимистской газете даже сообщалось, что он захвачен с оружием в руках и расстрелян. Все это было, конечно, смешно, но шум, поднятый вокруг его имени, становился опасным. У него были друзья при дворе (и прежде всего молодой и обаятельный герцог Орлеанский, наследник престола), они посоветовали ему в ожидании, пока все забудется, провести несколько месяцев за границей.

Путешествие было живописным и полным драматических событий, как и все путешествия Дюма. Он

встречался с Шатобрианом, королевой Гортензией, альпинистом Бальма. Два тома «Путевых впечатлений», написанных блестяще и живо, появились сначала в «Ревю де Дё Монд», затем вышли отдельным изданием. Он согласился также написать для того же журнала несколько рассказов на исторические темы, в которых очень дерзко обращался с историей и к которым, однако, историки отнеслись довольно почтительно. Сент-Бёв, скрупулезный биограф, считал Дюма поверхностным автором; читатели были снисходительнее.

Отбыв свой срок в чистилище, Дюма вернулся в Париж. Там к нему сразу примчался Арель с просьбой написать пьесу для Порт-Сен-Мартен. Вот тут-то и начался разлад между Дюма и Гюго. Гюго всю свою молодость прожил как примерный отец и супруг. Но в 1833 году безоблачному существованию примерной четы пришел конец. Адель и Виктор по обоюдному согласию сохраняли перед посторонними и своими четырьмя детьми видимость респектабельной семьи. На самом же деле Адель разрешала Сент-Бёву ухаживать, да и не только ухаживать за собой; Гюго взял в любовницы Жюльетту Друэ, актрису блистательной красоты и посредственного таланта. До сих пор Гюго и Дюма неплохо ладили друг с другом. Каждый из них был слишком уверен в себе, чтобы завидовать другому, но между актрисами существует соперничество куда более жестокое, чем между писателями. И с тех пор как Гюго стал протезировать Жюльетте, точно так же как Дюма — Иде, конфликты стали неизбежны, тем более что обе женщины жаждали играть одни и те же роли и состояли в труппе одного и того же театра — Порт-Сен-Мартен.

Арель, директор, и мадемуазель Жорж, богиня-покровительница театра, чаще поддерживали Иду, чем Жюльетту Друэ, во-первых, потому, что Ида была все же лучшей актрисой, во-вторых, потому, что Жюльетта была гораздо красивее, но прежде всего потому, что мадемуазель Жорж имела на Гюго зуб за то, что он никогда не пытался за ней ухаживать. Она вовсе не хотела иметь его своим любовником, но ей было неприятно, что такой красивый мужчина стал любовником другой, да к тому же еще и более молодой женщины. Арель же во всем поступал так, как хотела его величаявая и властная подруга. Он пытался пропустить вне очереди пьесу, которую Дюма написал для Иды («Екатерина Говард»)

и задержать представление «Марии Тюдор» Виктора Гюго, что вызвало первые размолвки, рассеявшиеся лишь благодаря великодушному и лояльному поведению Дюма. Он вмешался и помирил Ареля и Гюго.

Но Гюго требовал, чтобы Жюльетте отдали вторую роль (Джейн Тальбот) в его пьесе, главную роль в которой (королевы Марии) должна была играть мадемуазель Жорж. Все в театре говорили, что Жюльетта провалит пьесу и что следует отдать роль Иде. Бокаж и мадемуазель Жорж, державшие в страхе божием весь театр, обращались с нежеланной партнершей настолько оскорбительно, что она совершенно терялась и от страха не могла и слова вымолвить. В результате первое представление «Марии Тюдор» прошло очень плохо. Жюльетту освистали. Все герои битвы за «Эрнани» с Сент-Бёвом во главе говорили, что Ида, к счастью, знает роль и что ее необходимо ввести со второго же представления. Жюльетта с горя заболела и слегла; Гюго, желая спасти пьесу, сдался.

Однако за несколько дней до этих событий в «Журналь де Деба» появилась статья Гранье де Кассаньяка, который обвинял Дюма в подражании Шиллеру, Гёте, Расину и в том, что на «Христину» его вдохновил пятый акт «Эрнани». Дюма мог бы просто посмеяться над этим. Разве Виньи, например, не обвинял Гюго в том, что он обкрадывает всех и вся? Но Дюма знал, что в «Деба» Кассаньяка устроил сам Гюго, поэтому он пришел в ярость и написал поэту: «Я уверен, что вам была заранее известна эта статья». Гюго отрицал это, заверял Дюма в своей дружбе, а Гранье де Кассаньяк в письме, напечатанном в «Деба», подтвердил, что Гюго не имел никакого отношения к статье. Но опровержениям редко верят, и они еще реже того заслуживают. Очевидно, и это письмо постигла обычная участь, так как в переписке Сент-Бёва мы читаем: «Статья одного из приятелей Гюго, направленная против Дюма, настроила его против Гюго; они рассорились навеки и, что еще хуже, со скандалом, а это всегда бросает тень на литературу...»

Добрейший Сент-Бёв лицемерил; он был слишком рад ссоре Дюма и Гюго, чтобы думать о престиже литературы. Но он не учел природного добродушия Дюма, не любившего долгих ссор. Некоторое время спустя, когда Дюма понадобился секундант, он без колебаний обратился к своему старому другу Гюго:

«Виктор, каковы бы ни были наши нынешние отношения, я надеюсь, что вы все же не откажете мне в услуге, о которой я хочу вас просить. Какой-то наглец позволил себе оскорбить меня в мерзком листке, четвероногой скотине, именуемой «Медведь». Сегодня утром этот тип отказался встретиться со мной под предлогом, что не знает имен моих секундантов. Одновременно с письмом вам я отправляю письмо Виньи, чтобы иметь возможность сказать своему противнику, что если он еще раз попытается отделаться подобной отговоркой, я сочту это дурной шуткой. Я жду вас завтра, в семь часов, у себя. Одно слово посыльному, чтобы я знал, могу ли я рассчитывать на вас. И потом — разве это не даст нам повод снова пожать друг другу руки: я, по правде говоря, этого очень хочу».

После таких лестных для Гюго авансов дружеские отношения восстановились. В 1835 году Дюма уехал в длительное путешествие по Италии, из которого он привез три драмы, стихотворный перевод «Божественной комедии» и новые «Путевые впечатления». По пути в Италию и по возвращении он останавливался в Лионе, где ухаживал за актрисой Гиацинтой Менье, ловкой инженерю, которая умела удержать около себя Дюма, почти ничего ему не позволяя. «Гиацинта, дорогая, я никогда не думал, что можно сделать мужчину столь счастливым, отказывая ему во всем...» Подле нее он мечтал «о любви возвышенной, небывалой, любви сердца, а не страсти». Эта полуплатоническая идиллия началась в 1833 году и длилась, правда с перерывами, несколько лет. Юной Гиацинте он признавался, что разочарован в Иде.

«Я надеялся,— писал он,— найти в этом союзе одновременно и физическую красоту и духовную близость. Но вскоре я понял, что любовь ее по силе не равна моей. Слишком гордый, чтобы давать больше, чем мне хотят возвращать, я заключил в душе избыток бушующей во мне страсти».

Этот-то избыток он и предлагал Гиацинте, но рамки, в которых она старалась его удержать, были для него слишком тесны.

«Прощай, мой ангел, я люблю тебя и целую твой лоб и твои колени. Ты видишь, я не касаюсь того, что мне не принадлежит».

Однако платонизм был не в характере Дюма:

«Прощайте, Гиацинта, и на этот раз мои надежды оказались обманутыми. Отныне моим уделом станет честолюбие, и вы будете в числе тех, кто настолько иссушил мое сердце, что теперь лишь оно сможет там обитать».

Следующим летом по приглашению Адели он посетил семейство Гюго в Фурке, одном из пригородов Парижа, где они обычно отдыхали, и очаровал детей свои-

ми рассказами. Он слишком любил жизнь, чтобы пережевывать прошлые обиды, ссоры ему быстро надоедали.

1836 год ознаменовался для Дюма новым триумфом: драмой «Кин, или Гений и беспутство» — о великом английском актере, который недавно трагически скончался в результате слишком бурно проведенной жизни. Как и почти всегда у Дюма, в создании этой драмы случай играл ведущую роль. Фредерик Леметр только что перешел в театр Варьете. Заглавие пьесы «Гений и беспутство» как нельзя более точно характеризовало самого Фредерика. Дюма считал его первым актером своего времени. Он создал для него «Наполеона» и находил, что Леметр исполнял роль Буридана гораздо лучше, чем Бокаж. Но характер у него был трудный. Он появлялся на сцене мертвецки пьяным, выходил через суфлерскую будку и мог ко всеобщему удивлению играть Буридана в зеленых очках. До безумия тщеславный, он всегда считал, что его имя напечатано на афише недостаточно крупными буквами.

— Но, господин Фредерик, — спросил его однажды какой-то директор, — где же прикажете тогда печатать имена остальных?

— С той стороны, где клей, — надменно ответил Фредерик.

У него было много общих черт с Кином, и ему очень хотелось сыграть эту роль для своего дебюта в Варьете. Два драматурга, Теолон и Курси, авторы столь же плодотворные, сколь и бездарные, предложили ему черновой набросок пьесы. Фредерик был им не слишком доволен и обратился за помощью к Дюма, который оживил интригу, переписал диалог и поставил под пьесой только свое имя. Он вложил в нее много от Фредерика и от самого себя. Сцена, в которой Кин оскорбляет пэра Англии, воспроизводила ссору Леметра и Ареля, свидетелем которой оказался Дюма. Яростный монолог Кина об английской критике во втором акте был инвективой самого Дюма в адрес французской критики.

Дюма не изменил сценария Теолона: Кин, соперник принца Уэльского, оспаривает у него любовь прекрасной жены датского посла и прерывает спектакль «Ромео и Джульетта» для того, чтобы обратиться со сцены с издевательской речью к наследному принцу. После этого

трагику «предлагают» проехаться в Америку. В ссылку его сопровождает преданная ему молодая девушка, которая давно его любит.

Благодаря картинам театральной жизни и образу Кина, воплощенному Леметром с «гением и беспутством», пьеса имела бешеный успех. Генрих Гейне, критик не слишком снисходительный, писал:

«Потрясает правдивость всего спектакля... Между персонажем и актером удивительное родство... Фредерик — возвышенный шут, его дикие клоунады заставляют Талию бледнеть от ужаса, а Мельпомену смеяться от радости...»

Директор Варьете обещал Дюма тысячу франков премии, если двадцать пять первых представлений «Кина» дадут ему шестьдесят тысяч франков. В вечер двадцать пятого представления Дюма вошел к нему в кабинет и потребовал премию.

— Вам не повезло, — сказал директор, который только что закончил подсчеты. — У нас всего 59 997 франков.

Дюма занял у него двадцать франков, кинулся в каску и купил билет в партер за пять франков.

— Теперь у вас 60 002 франка, — сказал он.

И получил премию.

Глава третья

БРАКИ ВО ВРЕМЕНА ЛУИ-ФИЛИППА

В 1837 году герцог Орлеанский женился. Его отец пытался получить для него эрцгерцогиню Австрийскую, но королевская семья дулась на «узурпатора». И ему пришлось довольствоваться немецкой принцессой Еленой Мекленбург-Шверинской, которая, впрочем, оказалась очень милой, романтической и образованной девушкой. Луи-Филипп объявил, что в честь этого события в Версальском дворце будет дан парадный обед, за которым последует бал для всех, кто составляет славу Франции.

Накануне праздника разгневанный Дюма прибежал к Гюго. Ожидалось представление к ордену Почетного легиона. Дюма был в списках, но король его вычеркнул. Сказалась обида на республиканца, артиллериста национальной гвардии, и давняя антипатия к непокорному чиновнику Пале-Рояля. Оскорбленный Дюма отослал обратно пригласительный билет на версальский

праздник. Виктор Гюго благородно объявил, что полностью солидарен со своим другом и коллегой, и написал герцогу Орлеанскому письмо, в котором отказывался от приглашения и объяснял причину отказа.

Наследный принц, большой поклонник обоих писателей, очень огорчился, еще больше огорчилась юная герцогиня, с нетерпением ожидавшая встречи со своими любимыми авторами. Они ходатайствовали перед королем, и все уладилось. Дюма был восстановлен в списках. Друзья решили отправиться в Версаль вместе, и так как мундир был обязателен, оба надели мундиры национальной гвардии, чтобы еще сильнее подчеркнуть свое единство. Там они встретили Бальзака в придворном костюме, взятом напрокат у костюмера, и Эжена Делакруа. Король и принцы были очень любезны. Давали «Мизантропа» с участием мадемуазель Марс. Аудитория, состоявшая из генералов и высшего чиновничества, чувствовала себя обманутой в своих ожиданиях. «Так это и есть «Мизантроп»? — переговаривались зрители. — А мы-то думали, что это смешно...» Когда празднество кончилось, пришлось долго разыскивать кареты. Дюма и Гюго нашли свою лишь к часу ночи и возвратились в Париж на рассвете.

Отныне обоим писателям была навсегда обеспечена дружба королевской четы. Виктору Гюго она принесла розетку офицера Почетного легиона, Дюма — ленточку кавалера. Дюма, который узнал эту новость от наследного принца, сразу же оповестил Гюго:

«Мой дорогой Виктор, ваше и мое представление были подписаны сегодня утром. Меня просили сообщить вам об этом полуофициально. Ее высочество герцогиня Орлеанская очень гордится вашим подарком, она хочет ответить вам сама. Об этом меня просили вам сообщить вполне официально. Обнимаю вас».

Гюго принял награду с обычным для него надменным достоинством. Дюма радовался, как ребенок, гордо разгуливал по бульвару, украсив себя огромным крестом, рядом с которым он приколот орден Изабеллы Католической, какую-то бельгийскую медаль, шведский крест Густава Вазы и орден святого Иоанна Иерусалимского. В любой стране, которую он посещал, Дюма выпрашивал себе награды и скупал все ордена, какие только можно было приобрести. Его фрак в торжественные дни превращался в настоящую выставку лент и медалей. Невинное удовольствие!

Генеральша Дюма так и не дожидая до того дня, когда ее сын получил награду, в которой всегда отказывали ее мужу. Она умерла от второго апоплексического удара 1 августа 1836 года. Дюма, не переставая ее любить, последнее время был к ней менее внимателен. Она жила на улице Фобур-дю-Руль, неподалеку от улицы Риволи, где ненасытная Ида незадолго до этого заставила своего любовника снять роскошную квартиру. Дюма поспешил к матери и у ее постели написал письмо своему верному другу герцогу Орлеанскому:

«Здесь, у изголовья моей умирающей матери, я молю Бога хранить ваших родителей...»

Через час в квартиру поднялся лакей и сообщил, что принц ожидает его в карете. Дюма спустился, сел в карету и расплакался, уткнувшись в колени самого человеческого из всех принцев.

Дюма — художнику Амори Дювалю:

«Моя мать умирает, дорогой Амори. У меня нет ее портрета. Рассчитывая на Вашу дружбу, я прошу Вас оказать мне эту последнюю услугу. Ожидаю Вас на улице Фобур-дю-Руль, в доме № 48, у мадам Лорсе. Искренне Ваш».

После смерти матери Ида Ферье окончательно прибрала Дюма к рукам. Этот добряк, прекрасодушный и слабохарактерный, не умел устроить свою жизнь. И он охотно позволял руководить собой умной женщине, которую не слишком любил, но которая зато не стесняла его свободы, доказала свою бесплодность и была неплохой актрисой. Он взял ее с собой в Ноан, к Жорж Санд, и обе женщины очень сблизились. Хотя каждая из них на свой лад была связана с романтизмом, и та и другая оставались трезвыми реалистками. Санд считала, что Ида на сцене «временами достигала совершенства», и восхваляла ее ум. Ида Ферье была достаточно мудра, чтобы не противиться увлечениям Дюма. Она хотела быть и оставалась первой султаншей, к которой повелитель мог вернуться всякий раз, когда разочаровывался в других. В награду за это он жил с ней, содержал ее поцарски, брал с собой во все путешествия и писал для нее роли:

И слышал, слышал я ваш голос дорогой:

«Мне драму написать должны вы...» Вот она.

Он подолгу жил с нею в Италии, и в особенности во Флоренции, где она сумела завоевать сердца многих итальянских аристократов.

Теперь она была очень толста. «Она не всегда была такой,— писал Теофиль Готье.— Мы помним ее стройной и даже тоненькой». Но добрый Тео тут же добавляет, что зато Ида Ферье «в изобилии обладает тем, чего не хватает половине парижских женщин; вот почему женщины худые считают ее слишком толстой и слишком грузной... Я должен признаться, рискуя прослыть турком, что цветущее здоровье и роскошные формы являются, по-моему, очаровательным недостатком в женщине». «В теле всякой женщины есть скелет,— писал Виктор Гюго.— Но нам нравится, когда этот скелет облечен плотью и незаметен...»

Пределом мечтаний для честолюбивой Иды был в то время ангажемент в Комеди Франсез. В обмен на эту услугу Дюма обещал театру две пьесы, и 1 октября 1837 года Иду взяли в труппу на ампула «молодой героини». Для дебюта своей любовницы и ради собственной славы Дюма написал шестиактную трагедию в стихах «Калигула». Античный сюжет, александрийский стих — словом, Дюма бросал вызов Расину на его собственной территории. Пьеса уж одной своей наивностью должна была бы обезоружить критиков. Политическая и любовная интриги в ней переплетались, как и в «Марии Тюдор» Гюго. (Акила, молодой галл, соглашается убить развратного императора, так как тот обесчестил его невесту.) Дюма создал для Иды чисто голубую роль Стеллы, римлянки, обращенной в христианство, которую похитил и соблазнил Калигула. У нее в полном соответствии с традициями романтической литературы есть свой антипод — Мессалина, героиня кровожадная и порочная, «алчущая извращенных наслаждений», которая очень похожа на Маргариту Бургундскую.

И тем не менее Готье рассыпался в похвалах этой нелепой пьесе: «Калигула» — единственное добросовестное поэтическое произведение, появившееся в 1837 году; написать большую шестиактную драму в стихах представляется мне героическим поступком в наши дни... Я не хочу сказать, что это произведение лишено недостатков, но оно, безусловно, заслужило более благосклонный прием со стороны критики...» Добрый Тео был, как всегда, слишком добр.

Комеди Франсез потратила бешеные деньги на постановку «Калигулы». Роскошные декорации сменяли одна другую: римская улица с видом на Форум, вилла,

скопированная с домика Фавна в Помпее (где Дюма прожил некоторое время, чтобы «проникнуться местным колоритом»), терраса дворца Цезаря и, наконец, триклиний императора. Дюма хотел еще, чтобы колесницу Цезаря вывозила четверка лошадей.

— Лошади на сцене Французского театра! — возмущались актеры.

Дюма настаивал на своем.

— Как,— говорил старейшина Самсон,— требовать лошадей от нас, когда мы при нашей классической нищете сами еле стоим на ногах?

В конце концов автору пришлось уступить. Декорации, едва не разорившие театр, вызывали только хохот. Завсегдатаи освистали пьесу. Большинство актеров откровенно ненавидело свои роли. «Ты мне окалигулел»,— сказал Лижье одному актеру. Нельзя сказать, что Ида провалилась, но особого успеха она не имела: хвалили ее красивое лицо, сожалели о толщине и гнусавой дикции. Одна газета осмелилась назвать ее «каллипигийской мученицей». Но вскоре хроникеры прекратили свои издевательства, сборы упали, и пьеса исчезла с афиш.

Однако собратья-драматурги продолжали обращаться к Дюма, как к костоправу, считая, что только он может спасти их хромящие детища. Дюма в припадке литературного пуританства благородно отвергал их предложения.

Александр Дюма — Арману Дюрантену, 29 июня 1837 года:

«Сударь, я сейчас настолько занят моей трагедией «Калигула» (которую не позже 15 августа рассчитываю прочесть во Французском театре), что не могу быть вам полезным в той мере, в какой бы мне хотелось. Но в любом случае, сударь, я не стал бы вашим соавтором. Я совершенно отказался от такого рода работ, которые низводят искусство до уровня ремесла; и, кроме того, сударь, ваша пьеса либо хороша, либо дурна. Я еще не прочел ее, но разрешите мне, быть может, с излишней прямоотой, сказать вам, как я понимаю этот вопрос: если она хороша, к чему вам моя помощь и тем более мое соавторство? Если же она дурна, я не настолько уверен в себе, чтобы полагать, что мое участие ее улучшит. И тем не менее я всецело к вашим услугам, сударь, в том немногом, что я стою, и в том немногом, что я умею...»

Но этот приступ добродетели длился недолго.

Гюго и Дюма, помирившись, пытались объединенными усилиями получить разрешение основать второй Французский театр. Оба были в плохих отношениях с ведущими актерами Комеди Франсез, а также имели

основания быть недовольными Арелем. Дюма жаловался герцогу Орлеанскому, их покровителю, на то, что у новой литературы нет своего театра, поскольку Комеди Франсез посвятила себя служению мертвецам, а Порт-Сен-Мартен — служению глупцам, — и современное искусство оказалось беспризорным. Герцог признал, что два таких великих драматурга имеют право на собственную сцену, и обещал поговорить с Гизо.

— Иметь театр — это, конечно, очень хорошо, — сказал Гюго, — но нам понадобится директор.

И он предложил на этот пост театрального критика, который не раз выступал в защиту новой школы, — Антенора Жоли.

— Антенор Жоли! — воскликнул Дюма. — Да ведь у него ни гроша за душой!

— Если у него будет разрешение, — ответил Гюго, — он найдет деньги.

В сентябре 1837 года Жоли получил разрешение, раздобыл немного денег и снял зал «Вантадур», который и стал театром Ренессанс. Гюго должен был написать к открытию новую драму («Рюи Блаз»), что не могло не тревожить Дюма. Ида подстрекала его требовать уравнивания в правах с Гюго и уверяла, что тот втайне поддерживал заговор против «Калигулы». Жюльетта Друэ надеялась, что ей удастся сыграть в «Рюи Блазе» роль испанской королевы. Адель Гюго написала Антенору Жоли, чтобы предотвратить этот «скандал», и директор сдался. Ида Ферье плела интриги, желая снова отнять роль у бедной Жюльетты, но это значило бы нанести той жесточайшее оскорбление, и поэтому роль досталась третьей актрисе — Атале Бошен. Участие Фредерика Леметра обеспечило пьесе успех. Фредерик, в восторге от того, что на этот раз ему не придется выступать в своем обычном амплуа, великолепно сыграл Рюи и дал Гюго ряд ценных советов, рекомендуя «усилить комическую струю в пьесе».

В 1838 году настала очередь Дюма, и он выступил с «Алхимиком» — пьесой, которую, несмотря на все свои филиппики против соавторства, он написал в содружестве с очаровательным молодым поэтом Жераром де Нервалем. Нервалю, влюбленному в актрису Женни Колон, очень хотелось написать для нее пьесу, и он создал вместе с Дюма комедию «Пикилло», которую подписал

один Дюма и главную роль в которой играла Женни. После чего соавторы написали «Алхимика» для Иды Ферье, затем «Лео Бурхарта», вышедшего за подписью одного Нерваля. Так как эта драма была основана на истории студента Карла Занда, убийцы Коцебу, политическая цензура надолго задержала ее постановку. Может быть, именно поэтому Дюма отдал пьесу Жерару, который к тому же (если судить по стилю) проделал большую часть работы.

Сохранились письма Нерваля к Дюма, написанные в 1838 году:

«Мой дорогой Дюма... Я только что прочел во франкфуртской газете, что вы были 24-го в Кобленце mit Ihr liebenswurdige Gattin¹ (sic!). Значит, мое письмо еще застанет вас во Франкфурте... Я заканчиваю подготовку материала для нашего общего детища — надеюсь, что смогу предложить вам нечто увлекательное. Я засыплю вас сюжетами рассказов, появивсь у вас в том нужда; никогда мне не работалось лучше, чем этим летом...»

Супругой этой была Ида Ферье.

Пьесы Дюма, в создании которых участвовал Нерваль, носят отпечаток его таланта. «Пикилло» кажется предтечей театра Мюссе. Теофиль Готье это понимал:

«Вот, наконец, пьеса, не похожая на остальные... Мы были рады увидеть, как среди непроходимых зарослей колючего чертополоха, жгучей крапивы, овсяга и бесплодных растений, которые пробиваются под бледным светом люстр между пыльными досками подмостков, вдруг распустился прекрасный цветок фантазии с граненым серебряным стеблем, с ажурными листьями, зелеными, как морские волны, искрящимися, как прожилки кварца, — той идеальной и небывалой зелени, в которой преобладает морская синь и которую художники называют *зеленью веронезе*, диковинный цветок с расширяющейся чашей, расписанной причудливым стрельчатым узором, цветок — полубабочка, полуптичка, из которого вместо пестиков торчат хохолки павлина, бородки цапли и завитки золотой филиграни...»

Стиль пьесы напоминает легкую и стремительную иноходь маленьких комедий Мольера: он точен, остер, меток и несется вскачь с задорным видом, развевая султан по ветру; он резко отличается от тяжелого и вялого стиля наших обычных комических опер; тщательно отделанные строки напоминают свободный стих «Амфитриона», «Психеи» и интермедий Кино...»

Удивительная пронизательность критика не может не вызвать восхищения.

Приведенное ниже письмо Жерара де Нерваля является грустным свидетельством того, как сложились фи-

¹ С Вашей достопочтенной супругой (искаж. нем.).

нансовые отношения между этими людьми, постоянно нуждавшимися в деньгах:

«Я глубоко сожалею, сударь, что могу в столь незначительной мере отблагодарить вас за те услуги, которые вы мне оказали, но я и сам никак не ожидал, что общий доход так сократится. Я далек от того, чтобы жаловаться на моего соавтора Дюма, но, вероятно, он мог бы отдать мне все билеты на «Лео Бурхарта», так как в свое время забрал себе все билеты на «Алхимика». Это настолько щекотливый вопрос, что его почти невозможно поставить даже через третье лицо, особенно ввиду того, что каждый из соавторов обычно считает, что он проделал большую часть работы. Так вот за «Пикилло» Дюма, по-видимому, хотел получить две трети, я был с этим не согласен, но тем не менее отдал всю рукопись в его полное распоряжение. Я вернул ему все, что был должен за наше путешествие, как только получил от вас деньги. Правда, он платил за меня на обратном пути из Франкфурта, но ведь он получил премию за «Алхимика» в пять тысяч франков. Кроме того, я никогда не упоминал о тех пятистах франках, которые я дал ему накануне его отъезда в Италию и в возмещение которых он обязался посылать мне статьи для газеты, являющейся основной причиной моего нынешнего затруднительного положения.

И, наконец, он отлично знает, что «Лео Бурхарт», четыре акта которого написаны им и два — мной (сценарий мой целиком), в своем первом варианте не устраивал театр Ренессанс, и мне пришлось его полностью переделать, так что в пьесе осталось от силы две сотни строк, принадлежащих ему, и лишь благодаря этой коренной переработке театр принял пьесу.

Простите мне эти подробности, сударь, но для нас, писателей, вы являетесь своего рода врачом, и мы ничего не можем от вас скрыть. Прошу вас переговорить с Дюма о моих билетах в том случае, если вам покажутся недостаточными те гарантии, которые я вас прошу принять. Но пока я предпочел бы, чтобы вы удовлетворились тем, что я вам предлагаю, потому что если б не та крайняя нужда, в которой я сейчас нахожусь, мне никогда и в голову не пришло бы вступить с Дюма в переговоры о наших денежных делах.

Впрочем, все эти трудности лишь временные. Я заканчиваю две пьесы, одну — для театра Ренессанс, другую для Опера-Комик (обе приняты по сценарию), и надеюсь, что они позволят мне выйти из этих денежных затруднений.

Преданный вам

Жерар Лабрюни де Нерваль».

К тому времени, когда был написан «Алхимик», Александру Дюма-младшему исполнилось четырнадцать лет. В 1838 году он перешел из заведения Губо в пансион Энон (дом № 16, улица Курсель), который готовил учеников к поступлению в Бурбонский коллеж. Дюма-сын предпочитал школу плавания в Пале-Рояле и гимнастический зал на улице Сен-Лазар латыни и математике. Если не считать браконьерства и бродяжничества, то юность сына во многом напоминала юность Дюма-отца:

его свободу тоже никто не стеснял. Правда, Дюма-отец не знал страданий, вызванных столкновениями покинутой матери с тираническими любовницами. Дюма-сын не хотел признавать Иду Ферье точно так же, как в свое время Белль Крельсамер.

Странная вещь: история с Александром, сыном Катрины Лабе, в точности повторилась с Мари, дочерью Белль Крельсамер. Добрая Марселина Деборд-Вальмор была очень взволнована этим. «Я встретила госпожу Серре-Дюма, еще более красивую, чем всегда, она не перестает оплакивать свое несчастье и свою дочь, с которой он не позволяет ей видеться. Непонятный деспотизм». К такой жестокости его принуждала Ида; по словам Марселины, Дюма «совершил большую ошибку», пожертвовав ради этой эгоистичной женщины госпожой Серре, которая «гораздо красивее, бесконечно элегантна и обладает золотым сердцем».

В 1840 году Дюма женился на Иде Ферье. Он не питал иллюзий на ее счет. К чему же тогда ему понадобилось превращать связь, которой он изрядно тяготился, в постоянный союз? Рассказывают, что однажды Дюма совершил погрешность против этикета, взяв Иду на прием к герцогам Орлеанским в надежде, что ее не заметят в толпе приглашенных. Но принц тихо сказал ему: «Я счастлив видеть госпожу Дюма. Надеюсь, вы вскоре представите нам вашу жену в более узком кругу», — что прозвучало не только как урок хороших манер, преподанный в вежливой форме, но и как приказание. Рассказ этот представляется нам маловероятным. Вьель-Кастель утверждает, будто Ида скупилась векселя Дюма и поставила его перед выбором: либо долговая тюрьма, либо женитьба. Актер Рене Люге рассказывает, что сам Дюма, когда его спрашивали, зачем он вступает в брак, отвечал: «Да чтобы отделаться от нее, голубчик».

Когда оглашение было опубликовано, Мелани Вальдор пришла в неопишемую ярость. Александр Дюма-сын, который проводил каникулы у матери, остался в самых хороших отношениях с Мелани Первой. Под нажимом двух брошенных любовниц Дюма-младший написал Дюма-старшему негодующее письмо. Жених поневоле в это время скрывался в Петит-Вилетт, в доме Жака Доманжа, богатого подрядчика ассенизационных работ, которого Ида называла «дорогим благодетелем»

и который, кстати говоря, давал за невестой приданое. Туда-то и отправила Мелани через денщика майора Вальдора возмущенное послание лицеиста, протестовавшего против женитьбы своего отца.

Мелани Вальдор — Александру Дюма-сыну, 15 января 1840 года:

«Вот какой прием, мое дорогое дитя, встретило твое письмо к отцу. Его доставили в Петит-Вилетт через посредника. Проникнуть в дом господина Доманжа удалось с большим трудом, причем на звонок вышел сам господин Доманж, который уверял, что твоего отца у него нет, и распечатал письмо, говоря, что иначе не даст расписки в получении. Он задал множество вопросов, на которые ему не ответили. По расписке ты увидишь, что завтра он отправится в твой пансион. Я пишу тебе на адрес твоей матери¹.

Очень боюсь, что твое письмо не дойдет до отца: приняты все меры для этого. Я сама ожидала возвращения денщика. Он ушел часов в десять, а вернулся лишь в два. Завтра меня не будет дома с одиннадцати до пяти; если захочешь со мной поговорить, ты сможешь меня застать утром или вечером.

Господин Доманж уверял посыльного, что твой отец находится на улице Риволи².

Думаю, твоей матери следует сходить с тобой к свидетелям и рассеять их заблуждения: ведь им говорили, что ты с радостью дал согласие на этот брак! Может быть, так удастся спасти твоего отца.

Прощай, мой дружок, нежно тебя целую. Приходи ко мне в воскресенье, если не сможешь раньше, и, если у тебя есть хоть какая-нибудь надежда, напиши мне...»

Дюма-отец ответил Дюма-сыну письмом, которое представляет собой удивительный образчик защитительной речи.

«Не моя, а твоя в том вина, что между нами уже давно не существует отношений отца и сына. Ты приходил в мой дом, тебя все хорошо принимали, и вдруг ты позволил себе неизвестно по чьему подстрекательству не здороваться с особой, к которой я отношусь, как к своей жене, поскольку живу с ней под одной крышей. Этот день (должен тебе при сем заметить, что я не намерен получать от тебя советы, пусть даже косвенные) положил начало тому положению вещей, на которое ты жалуешься и которое, к моему великому сожалению, длится уже шесть лет.

Но оно может прекратиться в любой день, как только ты этого пожелаешь. Напиши письмо госпоже Иде: попроси ее, чтобы она стала для тебя тем же, чем она стала для твоей сестры³, и ты будешь отныне и навеки самым желанным для нас гостем. В твоих же интересах, чтобы мои отношения с госпожой Идой продолжались

¹ Письмо адресовано: «Госпоже Лабе (sic!) для г-на Дюма-сына. 63, улица Шайо, Елисейские Поля».

² Дюма-отец снял на улице Риволи, в доме № 22, две смежные квартиры.

³ Мари Дюма, которой в то время было восемь лет, жила у отца и воспитывалась Идой Ферье, к которой она, впрочем, испытывала искреннюю привязанность... Она никогда не виделась со своей матерью Белль Крельсамер.

лись, ибо за те шесть лет, что мы живем вместе, у нас не было детей, и я твердо уверен в том, что их не будет и в дальнейшем, так что ты останешься не только моим старшим, но и моим единственным сыном...

Больше мне нечего добавить. Подумай, если я женюсь на другой женщине, не на госпоже Иде, у меня могут появиться еще три-четыре ребенка, с ней же у меня никогда не будет детей. Я надеюсь, что ты будешь руководствоваться тем, что тебе подскажет сердце, а не соображениями выгоды, хотя в данном случае это совпадает. От всей души обнимаю тебя...»

Брачный контракт был подписан 1 февраля 1840 года в Вилетт в присутствии мэтра Деманеша (нотариуса Жака Доманжа). Свидетели жениха: виконт де Шатобриан и Франсуа Вильмен, министр народного просвещения в кабинете Гизо. Свидетели невесты: граф де Нарбонн-Лара и виконт де ля Бонардьер, государственный советник. Сумма приданого — 120 тысяч франков во «французской золотой и серебряной монете».

Мемуарист Гюстав Клоден приписывает Шатобриану остроумие, на наш взгляд вполне вероятную: глядя на декольте невесты, прославленный пэр Франции с горечью прошептал, намекая одновременно и на французскую монархию и на несколько увядшие прелести госпожи Иды: «Видите, судьба преследует меня. Все, что я благословляю, гибнет». Анекдот, конечно, пикантный, но не вымышлен ли он? Свидетельство Клодена вызывает некоторое недоверие, так как в его рассказе две серьезные неточности¹: он упоминает в числе свидетелей Роже де Бовуара (а это неверно) и утверждает, что церковный брак имел место в часовне Палаты пэров. На самом деле венчание состоялось 5 февраля 1840 года в церкви святого Роха, приходской церкви обоих супругов, поселившихся к этому времени в доме № 22 по улице Риволи.

Шатобриан, который был в тот день нездоров, послал в церковь своего представителя. Свидетельство о церковном браке подписали художник Луи Буланже, архитектор Шарль Роблен и «Жак Доманж, домовладелец». Приведем забавные заметки Поля Лакруа (библиофила Жакоба) о свадьбе Дюма:

«Сейчас много говорят о женитьбе нашего друга Александра Дюма. Не могу ничего добавить, помимо того, что автор «Генри-

¹ Биографы Александра Дюма утверждают (как и Клоден), что свадьба состоялась 1 февраля; документы свидетельствуют о том, что она состоялась 5 февраля.

ха III» и «Антони» был волен признать пользу и, если хотите,— святость статьи 165 Гражданского кодекса... Да и кто может позволить себе порицать или критиковать законный союз (если прибегнуть к стилю катехизиса), при заключении которого в качестве свидетелей присутствовали министр народного просвещения и господин Шатобриан. Вот два имени, воистину достойные украсить брачный контракт любого литератора. Вот два имени, которые говорят: «Молодой человек, заслуженно пользующийся самым шумным успехом на поприще драматургии, вы — поэт, вы — романист, вы — путешественник, чтобы добиться поста министра и попасть в Академию, вы должны пройти через позорную капитуляцию в Кавдинском ущелье классического Гименя!»

Можно смело предсказать, что отныне Александру Дюма обеспечен пост бессменного секретаря Французской академии и министра народного просвещения. Благодаря святости брака, санкционированной ее величеством королевой Франции, можно достичь всего в этот век владычества золота и цивильного листа... О Матримониомания Дворца!..

Итак, господа Вильмен, Шатобриан и Шарль Нодье (мне кажется, я оставил этого остроумного представителя французской словесности в книжной лавке Тешенера) сопровождали новобрачных в мэрию, где и состоялась церемония, на этот раз не слишком торжественная, но на неофициальную церемонию в церковь они послали вместо себя других свидетелей. Вышеозначенные сменные свидетели были люди с умом и талантом, хотя и не принадлежавшие к академической пастве.

Священник церкви святого Роха, венчавший нашего Александра Дюма, приготовил приличествующую случаю речь, которую он намеревался представить двору вместе с первым хлебом, освященным в его приходе.

«Прославленный автор «Гения христианства»,— сказал он, обращаясь к одному из свидетелей (способному художнику колористической школы),— и вы, писатель, известный своим отточенным, изысканным стилем, держащий в своих руках судьбы французской словесности и народного просвещения,— добавил он, адресуясь к другому свидетелю (который был просто хорошим архитектором),— вы, господа, взяли на себя почетную и благородную задачу оказать покровительство этому молодому неопиту, пришедшему к подножью алтаря умолять о священном благословении своего брака!.. и т. д. ...Молодой человек, напомню вам слова великого епископа Реми, обращенные к королю Хлодвигу: «Склони голову, гордый сикамб, сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал...» Пусть отныне из-под вашего пера выходят лишь произведения, исполненные христианского духа, поучительные и евангелические. Отриньте губительные волнения театра, коварных сирен страсти, постыдную суетность дьявола... и т. д. ...Господин виконт де Шатобриан и господин Вильмен (я сожалею, что господин Шарль Нодье не смог прийти), вы отвечаете перед Богом и людьми за литературное обращение этого мятежного ересиарха романтизма. Отныне вы будете крестными отцами его произведений и его детей. Вот чего я желаю ему, мои дорогие братья во Христе. И да будет так!»

Почтенный кюре святого Роха узнал о своей ошибке уже в ризнице, когда прочитал подписи свидетелей в приходской книге. Он говорил потом своей экономке, что у него закрались некоторые

подозрения относительно этого *qui pro quo*¹, когда он заметил, что господин Шатобриан носит бородку в стиле «Молодая Франция», а господин Вильмен — желтые перчатки по два франка пятьдесят сантимов. Утешает его лишь воспоминание о полном обращении Александра Дюма».

Замужество не пошло Иде впрок. Вероятно, оно внушило ей слишком большую уверенность в нерасторжимость брачных уз. До нас дошел анекдот, хотя, возможно, и апокрифический, о том, что она в лучших традициях почти сразу же изменила мужу с первым другом дома Роже де Бовуаром, поэтом и драматургом, на семь лет моложе ее мужа. Бовуар был очарователен.

«Ах, как он был элегантен и эксцентричен! — писала графиня Даш. — Какие прелестные стихи он писал и какие прелестные давал ужины! Он сочетал в себе Анакреона и Мецената. Он писал романы и покровительствовал искусствам. В его приемную каждое утро стекались толпой писатели, у которых не было издателя, художники, которые нуждались в студиях; он принимал их, не вставая с постели, угощал котлетами и шампанским, и они, уходя, восхваляли его обаяние.

В те времена у Бовуара было тридцать тысяч ливров ежегодной ренты, тильбюри, грум, лошади... Его повсюду узнавали по великолепной черной шевелюре, выразительному лицу и тому шуму, который он поднимал вокруг себя. Он носил золоченые жилеты и халаты... Он менял туалеты по крайней мере три раза в сутки. Он расходовал на день по четыре пары светло-желтых перчаток... Он не пропускал ни одного спектакля в Опере и в антрактах носился между кулисами и зрительным залом, чтобы обратить на себя всеобщее внимание и завязать знакомства... За вечер он успевал побывать во всех театрах... Он обедал в Кафе Англе, Кафе де Пари или Роше де Канкаль, что не мешало ему еще и приезжать туда ужинать. Словом, он вел головокружительную жизнь. Никто не мог перед ним устоять...»

Как тут было устоять Иде?

Обе Мелани, и Вальдор и Серре, трагически отнеслись к законному браку их общего любовника.

Марселина Деборд-Вальмор — своему мужу, 7 февраля 1840 года:

«Тебе, наверно, уже сообщили о женитьбе Дюма на толстой мадемуазель? Говорят, что брачный контракт подписали Шатобриан, Нодье, Вильмен и Ламартин. Узнав об этом, госпожа Серре упала в обморок перед его домом. Она будет судиться, чтобы ей вернули дочь. Госпожа Вальдор тоже поспешила туда, вне себя от великодушной радости, ибо она считала, что он берет в жены честную женщину. Незадолго до этого она написала ему, что, «наконец, вздохнула с облегчением, узнав, что он порвал эту по-

¹ Недоразумения (лат.).

стыдную связь». Представь себе, какой эффект должно было произвести ее письмо. Что касается меня, то я ничего не могу к этому добавить. Он женился, и все тут!..»

Женитьба отца, бросившего его мать, на другой женщине стала для молодого Александра источником новой драмы.

Глава четвертая

КОМЕДИИ

«Алхимик» потерпел провал, «Рюи Блаз» тоже не имел особого успеха. Жанры старятся так же, как и люди. Драма агонизировала.

«Как это ни досадно, но мы должны признать,— писал Теофиль Готье,— что переживаем сейчас полнейший упадок; фабричные методы проникли повсюду, пьесу теперь изготавливают точно так же, как сюртук: один из соавторов снимает с актера мерку, другой — кроит материю, третий — сметывает куски; изучение человеческого сердца, стиля, языка теперь не ставят ни во что... Соавторство в творчестве совершенно немислимо.. Представьте себе Прометея, перед которым, подперев рукой подбородок, сидит соавтор, с интересом наблюдая, как бунтарь борется с остроклювым коршуном, ловко выклеивающим у него сердце и печень, и при этом делает на клочке бумаги пометки карандашом Конте!..»

Дюма, на лету схватывавший перемены в настроениях публики, уловил необходимость перемен. Если вдуматься, поневоле удивишься, почему этот жизнерадостный молодой человек гораздо чаще писал мрачные драмы, чем веселые комедии. Он, конечно, умел повергать в ужас, но еще лучше умел веселить. Подходя к четвертому десятку, он начал пробовать свои силы в пьесах а ля Мариво. Готье с присущей ему пронизательностью объяснил эту эволюцию таланта: «Комедия чужда ранней юности, которая ко всему относится серьезно и все принимает близко к сердцу... Если бы господин Дюма стал теперь переделывать «Антони», Адель д'Эрве не умерла бы, а любовник, спокойно представившись ее супругу, играл бы с ним в экарте... Чем дольше вы живете, тем сильнее вами овладевает смертельная тоска — и тут-то вы и начинаете писать комедии...»

В 1839 году Комеди Франсез поставила комедию Дюма «Мадемуазель де Бель-Иль». Сент-Бёв, всегда отрицательно относившийся к драматургии Дюма, вдруг стал любезным.

«Когда писатель,— говорил он,— заблуждается на свой счет, когда он, занимаясь без должных оснований высокой поэзией, тщетно пытался казаться более великим, чем есть на самом деле, всем радостно узнать, что он одержал неожиданный, блестящий и легкий успех,— и все, наконец, стало на свои места. Господин Александр Дюма — писатель, пользующийся любовью публики, и все искренне аплодировали его живой и остроумной комедии... Хотелось бы, чтобы господин Дюма пустил корни где-то между Эмпиреями и Бульваром, не так высоко и не так низко...»

Актеры Комеди Франсез разделяли чувства Сент-Бёва:

— Вы чудесно пишете комедии,— говорили они Дюма.

— Уж не потому ли, что я всегда писал драмы, вы мне это говорите? — отвечал Дюма.

«Мадемуазель де Бель-Иль» напоминает по тону пьесы Мариво и Бомарше, которые Дюма старательно читал и которым ловко подражал, хотя в ней и нет их изящества. После стольких преступлений, самоубийств и мятежей было приятно очутиться в обществе изысканно дерзких ловеласов в пудренных париках, которые умеют без слез и воплей предаваться наслаждениям. От XVIII века в пьесах Дюма сохранились всего три черты: любезная его сердцу свобода нравов, насмешливое отношение к верным мужьям или женам и гнетущий страх перед Бастилией, неминуемо ожидающей побежденных вслед за упоением поединка.

Сюжет «Мадемуазель де Бель-Иль» довольно прост, зато пикантен. Герцог Ришелье, самый большой распутник века, побился об заклад с компанией повес, что станет любовником первой же дамы, девицы или вдовы, которая пройдет по галерее, где они находятся, и что уже в полночь красавица назначит ему любовное свидание у себя в комнате. В этот момент объявляют о приезде маркизы де При, любовницы герцога Бурбонского.

«— Ну, эта в счет не идет, господа,— говорит Ришелье,— обкрадывать вас я не намерен».

В конце галереи появляется мадемуазель де Бель-Иль, которая приехала просить фаворитку похлопотать за ее отца, заключенного в Бастилию.

Вперед выступает молодой шевалье д'Обиньи и заключает пари с Ришелье:

— Через три дня я собираюсь жениться на той, которую господин Ришелье хочет сегодня вечером обесчестить... Я ручаюсь за нее.

Клинки скрещиваются.

Во втором акте маркиза де При, взявшая под свое покровительство молодую девушку, отправляет ее в своей карете в Бастилию на свидание с отцом. Сама фаворитка запирается в спальне мадемуазель де Бель-Иль, тушит свет и поджидает чересчур предприимчивого герцога.

«На самом деле,— пишет Сент-Бёв,— невозможно предположить, чтобы герцог, пробираясь на цыпочках к своей нежной жертве, не заподозрил почти сразу же подвоха и не обнаружил своей ошибки. Я заранее извиняюсь перед читателями, но от литературы нам придется перейти к физиологии. Любопытно отметить, что мы подошли к такому этапу, когда для того, чтобы судить о достоверности драматического произведения, приходится заниматься делами, относящимися обычно к области судебной медицины; я пропустил этот промах, так же поступила и публика...»

В театре публика принимает на веру все, особенно невероятное. Она охотно допускает, что Ришелье, проведя ночь с мадам де При, думает, будто он обесчестил девушку. И вот герцог с твердой уверенностью в своей правоте посылает д'Обиньи записку, в которой сообщает, что выиграл пари.

До сих пор мы находились в атмосфере комедий Мариво или даже Крепильона. «Но нельзя забывать, что мы имеем дело с нашим Дюма, большим любителем нагнетать страсти». С нашим Дюма, который больше всего на свете любит драматические ситуации и который в глубине души разделяет здоровую мораль народа. По правде говоря, он за свою жизнь лишил невинности не одну девицу, но со сцены он порицает порок, и начиная с третьего акта комическое в пьесе шествует бок о бок с патетическим. Такова сцена объяснения шевалье д'Обиньи с его нареченной, когда он, по-прежнему любя ее, обвиняет ее в неверности, а она не может оправдаться, потому что торжественно поклялась хранить в тайне свое посещение Бастилии и, следовательно, не может сказать, где она провела ночь. Такова и сцена между Габриэль де Бель-Иль и герцогом Ришелье, когда герцог, уверенный, что говорит с соучастницей, фатовски вспоминает подробности прошлой ночи и этим окончательно убеждает д'Обиньи в справедливости его подозрений. Габриэль в отчаянии восклицает: «О Боже, Боже, жалься надо мной!»

Пари превращается в пытку! С этого момента и до последней сцены комедия вдруг становится драмой, наподобие тех, что ставились в Порт-Сен-Мартен. Но в финале пьеса вновь оборачивается комедией, и веселая развязка кажется тем более приятной, что она совершенно неожиданна. Герцог Ришелье, которому маркиза открывает глаза, приходит вовремя и выводит всех из заблуждения. Д'Обиньи под занавес торжественно представляет: «Мадемуазель де Бель-Иль — моя жена! Герцог Ришелье — мой лучший друг».

Сент-Бёв язвительно заметил, что герцог, «должно быть, улыбнулся, услышав во время венчания, что ему выдают патент на звание *лучшего друга*; может быть, к пьесе следовало бы добавить еще один чисто комический акт под заглавием «*Два года спустя...*». Роже де Бовуар оказался бы в этом случае незаменимым соавтором. Но и в таком виде комедия имела бешеный успех. Она была последним триумфом мадемуазель Марс, которая в шестьдесят лет сыграла Габриэль трогательно, как и подобает инженеру. Молодость в театре всегда вопрос условности. Фирмен, который был первым другом Дюма в Комеди Франсез, исполнял роль герцога Ришелье с чисто аристократической заносчивостью. Словом, прелестный спектакль.

Дюма, ободренный успехом, захотел повторить себя. В 1841 году он отдал театру пьесу «Брак при Людовике XV», написанную, как он сам признавался, на довольно избитый сюжет, «который, однако, можно было омолодить остроумными деталями». Это старая история о двух супругах, поженившихся по воле родителей и расставшихся по обоюдному согласию. Но потом они признают свою ошибку и покидают: он — любовницу, она — поклонника, которых они, как им казалось, любили, и сходятся вновь, на этот раз по взаимной склонности.

Комедия «Воспитанницы Сен-Сирского дома» (1843 г.) была встречена менее благосклонно. «Она, как и все пьесы, выходящие из-под пера этого автора,— писал Сент-Бёв Жюсту Оливье,— довольно жива, увлекательна и не лишена занятости, но ее портят незавершенность, небрежность и вульгарность. Ну посудите сами, станет ли воспитанница госпожи Ментенон разговаривать, как лоретка с улицы Гельдер.. Читая Дюма, все время восклицаешь: «Какая жалость!» Теперь я начинаю думать, что мы ошибались на его счет:

он из тех натур, которые никогда не достигли бы подлинных высот и вообще не способны к серьезному искусству. Нам кажется, что он разбрасывается и не реализует своих возможностей, тогда как на самом деле он как раз пускает их в ход и выигрывает еще и на том, что заставляет публику думать, будто он мог бы создать нечто лучшее, тогда как на самом деле он на это совершенно не способен...»

Жюль Жанен яростно напал на пьесу: «Если это убожество будет и впредь продолжаться, придется закрыть Французский театр. Перед премьерой только и разговоров было: «Ах, вы увидите, как это интересно! Ах, вы услышите...» Сколько шума из ничего...»

Дюма рассердился и, так как от природы был добр, ответил неловко. Мстительность была ему не к лицу: желая быть злым, он оказался просто нудным, припоминая давно забытые истории, которые не имели никакого отношения к делу. В своем ответе он воскрешал те времена, когда Жанен жил на улице Мадам в одном доме с мадемуазель Жорж и Арелем и был третьим членом этого семейства, нисколько не нарушавшим, однако, согласия достойный четы. Выпад, несомненно, дурного вкуса.

Одной из причин излишней суровости Жанена было то, что Дюма изо всех сил старался проникнуть во Французскую академию. Избрание Гюго подало надежды всем романтикам. Гюго и сам расценивал это именно так: «Академии, как и все остальное, будут принадлежать новому поколению. А в ожидании этого времени я буду той живой брешью, через которую туда уже сегодня входят новые идеи, а завтра войдут новые люди...» Какие люди? Гюго, как человек великодушный, думал о Виньи, о Дюма, о Бальзаке и даже о своем враге Сент-Бёве. Дюма же думал только о Дюма. В 1839 году, после успеха «Мадемуазель де Бель-Иль», он написал Франсуа Бюлозу, директору «Ревю де Дё Монд»: «Поговорите обо мне в «Ревю» в связи с выборами в Академию и выразите, пожалуйста, удивление, как это могло получиться, что я не выставил свою кандидатуру, особенно если учесть, что Ансело выставил свою?» и 15 января 1841 года: «Замолвите за меня словечко в вашем журнале перед выборами в Академию. Меня нет в списке кандидатов, но я уверен, что все этому удивляются...»

После избрания Гюго Дюма воззвал к своему старому другу Нодье, который сам уже давно был членом Академии: «Как вы думаете, есть ли у меня сейчас какие-нибудь шансы пройти в Академию? Гюго уже прошел, а ведь почти все его друзья являются и моими друзьями... Если вам кажется, что ситуация благоприятная, поднимитесь на академическую трибуну и от моего имени расскажите вашим достопочтенным собратьям, как велико мое желание занять место среди них... Одним словом, скажите им все хорошее, что вы обо мне думаете, и даже то, чего вы не думаете...» Однако Дюма никогда не удастся проникнуть в эту дверь. Так же как и Бальзаку. Но Бальзак умер молодым. Дюма же, хоть и дожил до шестидесяти восьми лет, так и не добился избрания.

«Значит, слава может служить препятствием? — с гневом спрашивала Дельфина де Жирарден. — Почему людям прославленным так трудно добиться избрания в Академию? Значит, заслужить признание публики — это преступление?.. — Бальзак и Александр Дюма пишут по пятнадцать — восемнадцать томов в год; этого им не могут простить. — Но ведь это великолепные романы! — Это не оправдание, все равно их слишком много. — Но они пользуются бешеным успехом! — Тем хуже: вот пусть напишут один-единственный тоненький посредственный романчик, который никто не будет читать, — тогда мы еще подумаем. Оказывается, излишек багажа является препятствием. В Академии такие же правила, как и в саду Тюильри: туда не пропускают тех, у кого слишком большие свертки...»

На самом деле академиков испугал отнюдь не огромный литературный багаж Дюма. Ведь избрали же они Гюго, который тоже был очень плодовитым автором. Они просто боялись скандалов, а Дюма, этот типичный представитель богемы, мог, конечно, попасть в любую переделку. Двое незаконнорожденных детей, строптивные любовницы, огромные долги... Если он и зарабатывал большие деньги, то тратил еще больше...

— Я никогда и никому не отказывал в деньгах, за исключением моих кредиторов, — говорил он.

Однажды, когда у него попросили двадцать франков на похороны судебного исполнителя, умершего в бедности, он ответил:

— Вот сорок франков. Похороните двух исполнителей.

Это, конечно, была всего лишь шутка, но в официальных местах таких шуток не любят.

«Дюма очарователен,— говорили о нем,— но его нельзя принимать всерьез».

Во Франции, если человек не носит голову, будто чашу со святым причастием, его считают весельчаком, но не уважают.

Людям скучным всегда отдают предпочтение.

Глава пятая

БЛУДНЫЙ ОТЕЦ

С тех пор как Дюма женился на Иде, отношения его с сыном оставляли желать лучшего. Любовь отца к сыну была неизменной, но неглубокой, у сына привязанность к отцу чередовалась с приступами неприязни. Невозможно было не любить его и не восхищаться им, таким веселым товарищем, но прошло немало времени, прежде чем сын привык к сумасбродным выходкам отца. Завершив без особого блеска свое образование, Дюма-сын пытался время от времени жить в доме отца. Там он видел не слишком положительный пример. «Мой сын,— торжественно говорил отец,— если имеешь честь носить фамилию Дюма, приходится жить на широкую ногу, обедать в Кафе де Пари и ни в чем себе не отказывать...»

Ни один юноша, как бы добродетелен он ни был по природе и воспитанию, не может устоять перед соблазнами. Позже Дюма напишет: «Я вел эту жизнь не столько по склонности, сколько по инертности характера, по лени и из подражания». И еще: «Мне не доставляли радости легкие удовольствия. Я чаще наблюдал кутежи, чем участвовал в них сам». Все посмеивались над несколько «скабресной дружбой отца и сына, которые вместе бегали в поисках приключений, брали друг друга в поверенные своих любовных дел, платили из общего кошелька и тратили деньги, не считая...» Кое-кто порицал отца за то, что он «отдавал сыну не только свои старые башмаки, но и своих любовниц».

Меж тем Дюма-сын, хотя и не одобрял той роскошной и полной развлечений жизни, которую вели в отцовском доме, все же участвовал в ней. «К восемнадцати годам я с головой окунулся в то, что я назвал бы паганизмом современной жизни... Разумеется, жил я отнюдь

не как святой, если только не считать *Блаженного Августина в ранней юности...*»

Он нередко посещал девиц легкого поведения, которых в те времена было множество, и все они были весьма привлекательны. В восемнадцать лет у него был первый роман с замужней женщиной. В письме к майору Ривьеру (от 11 апреля 1871 года) он вспоминает это счастливое время:

«Представьте себе (это пришло мне в голову, когда я ставил дату на письме), что сегодня, в тот самый миг, когда я вам пишу (а именно в половине третьего), исполнилось ровно двадцать восемь лет с тех пор, как прекрасная мадам Прадье, послужившая мне моделью для мадам Клемансо, впервые пришла ко мне. Помню, на ней было платье из белого шелка, расшитое букетами цветов, такой же шарф и шляпка из рисовой соломки. Мне было в ту пору восемнадцать лет. Я только что окончил коллеж. Впервые порог моей холостяцкой квартирки переступила, что называется, светская женщина. Представьте себе эту сцену! Она была замечательно хороша: золотые волосы, сапфировые глаза, жемчужные зубки, розовые пальчики, тоненькие и хрупкие, маленький букет цветов за корсажем... Должен сказать, она не теряла времени даром... Черт побери, хотелось бы мне вновь пережить этот день...»

Холостяцкая квартира, элегантные любовницы, обеды в Кафе Англе — такая жизнь стоит не дешево. И Дюма-сын тоже завел долги. Когда это начало его тревожить, отец, которому очень хотелось поставить себе на службу расцветающий талант Александра Второго, сказал: «Работай, и ты сможешь расплатиться. Почему бы тебе не сотрудничать со мной? Уверю тебя, нет ничего проще, полагайся только во всем на меня». Но у Александра Второго были другие планы. Встать на буксир к отцу и идти по фосфоресцирующему следу этого могучего корабля — нет, его не устраивала такая судьба. Свидетель блестящих триумфов своего отца, он жаждал завоевать славу самостоятельно. Он не знал еще, о чем он будет писать и будет ли писать вообще (ведь успеха можно добиться и в других областях), но он уже был блестящим и остроумным собеседником, и отцу, гордившемуся своим талантливым сыном, очень нравилось цитировать его словечки. Прослушав чтение «Шарлотты Корде» Понсара, Александр Второй сказал:

Так дух он испустил. О небо! Мечь ужасна.
Ему не повезло. Он в ванну влез напрасно.

Александр Первый пришел в восторг от этого школярского двустипия.

Сыну уже и тогда не хватало простоты отца и его легкости в обращении с людьми.

— Послушайте, мой милый,— сказал ему как-то старый друг их дома,— я обращаюсь на «ты» к автору «Антони», а вам говорю «вы». Это же смешно! Давно пора это исправить.

— В самом деле,— ответил молодой Дюма,— вам давно пора говорить папе «вы».

Время от времени между мужчинами разгорались ссоры из-за Иды. Ида, которой удалось завоевать расположение своей падчерицы Мари, тщетно пыталась приручить пасынка. Дюма-отец вступался за супругу.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Ты ошибаешься, мой друг, потому что я добился — а вернее сказать, потребовал — гораздо большего. Мадам Дюма напишет тебе и пригласит прийти к нам, когда у нас будут мои друзья. Таким образом, ты войдешь в мой настоящий дом, а им являются мои друзья, что вознаградит меня за твое долгое отсутствие и поможет наладить дела в будущем. Целую тебя. Увижу ли я тебя сегодня вечером?»

Он давал ему советы по поводу его карьеры:

«Мой дорогой мальчик, твое письмо слегка успокоило меня в отношении финансовом и моральном, но оно нисколько не успокоило меня в отношении твоего будущего. Ты сам выбрал себе будущее в области умственного труда. Однако ни одно место не может отвечать тем потребностям, которые у тебя перешли в привычки, по моей вине столько же, сколько и по твоей.

Любую славу можно перевести на деньги, но деньги приходят к нам лишь следом за славой. Неужели ты думаешь, что, ложась спать на заре и вставая в два-три часа дня, отягощенный вчерашними неприятностями и исполненный тревоги за завтрашний день, неужели ты думаешь, что при такой жизни у тебя останется время для размышлений и ты сможешь создать что-либо путное? Дело не в том, чтобы просто что-то делать, а в том, чтобы делать хорошо. Дело не в том, чтобы ты имел деньги, а в том, чтобы ты их зарабатывал. Поработай год, два, три. Потом, когда у тебя будет почва под ногами, делай что хочешь и как хочешь...»

В 1844 году Александр Второй, который не мог дольше мириться с госпожой Дюма, попросил отца дать ему деньги на путешествие. Сначала отец воспротивился: ему нравилось общество красивого и блестящего юноши. Он пытался отговорить его от этой затеи.

«Мой друг, я отвечаю тебе, как ты и просил,— письмом, и притом длинным. Ты знаешь, что мадам Дюма является моей женой лишь формально, тогда как ты — мой настоящий сын, и не только мой сын, но и почти единственное мое счастье и утешение.

Ты хочешь поехать в Италию или в Испанию. Я уже не говорю о том, что с твоей стороны будет черной неблагодарностью бросить меня одного среди людей, которых я не люблю и с кото-

рыми меня связывают лишь светские отношения. Да и что ждет тебя в Италии или в Африке? Если тебе просто хочется путешествовать — это еще куда ни шло. И все же мне представляется, что ты бы мог подождать, пока нам не удастся поехать вместе.

У тебя в Париже, говоришь ты, *глупое* и *унизительное* положение. Почему, спрашиваю я тебя? Ты — мой единственный друг. Нас так часто видят вместе, что наши имена стали нераздельны. Если тебя где-нибудь и ждет будущее, то, конечно, в Париже. Работай серьезно, пиши, и через несколько лет ты будешь получать ежегодно тысячу десять франков. Не вижу в этом ничего *глупого* и *унизительного*. Впрочем, ты сам знаешь, что ради счастья тех, кто меня окружает, и ради благополучия тех, за кого я несу ответственность перед Богом, я привык обречь себя на любые лишения и что я готов поступить так, как ты пожелаешь. Ведь если ты будешь несчастен, ты в один прекрасный день обвинишь меня в том, что я помешал тебе последовать твоему призванию, и решишь, что я принес тебя в жертву эгоизму отцовской любви, единственной и последней любви, которая мне осталась и которую ты обманешь так же, как это делали до тебя другие.

Может быть, тебе приглянется другая перспектива. Хочешь получить место в одной из парижских библиотек, место, которое сделало бы тебя почти независимым? Но поразмысли, хватит ли у тебя, привыкшего к вольной жизни, выдержки посвящать каждый день четыре часа службе?

Короче, пойми одно: разрыв мой с мадам Дюма может быть лишь *разрывом духовным*, ибо супружеские раздоры заинтересовали бы публику, что было бы для меня очень неприятно, — а следовательно, просто *исключено*. И кроме того, я нахожу очень непорядочным и несправедливым, когда ты, которому принадлежит вся моя любовь и нежность, говоришь: «*Выбирай* между мной и той, которая, не располагая твоей привязанностью, распоряжается твоими деньгами». Ты не прав, когда не хочешь поговорить обо всем этом лично. Буду ждать тебя до трех часов. Теперь ты видишь, что я всецело принадлежу тебе, тогда как ты мне — лишь отчасти...»

Но так как Александр продолжал настаивать на отъезде, отец послал его на некоторое время к своим друзьям в Марсель, среди которых были и литераторы: поэт Жозеф Отран, родом из старой марсельской семьи, взбалмошный и эксцентричный Жозеф Мери, библиотекарь и писатель, и некая леди Сюзанна Грейг, уроженка острова Мальта, в чьем доме на улице Сен-Ферреоль собирался салон. Молодой Дюма одержал в Марселе лестные победы. Отран посвятил ему следующую эпистолау:

Я помню твой приезд, о юноша-поэт.
Ты нам назвал себя, и словно вспыхнул свет:
При имени твоём раскрылись наши двери.
Мы, восхищенные, своим глазам не веря,
Смотрели на тебя, ты покоришь сердца:
Ниспосланный нам друг был копией отца.
Казалось, он, став юным, к нам явился,

Мы видели глаза, в которых ум искрился,
И голос был его, и речь, как будто он
Всем существом своим в тебе был отражен.
И кто из нас тогда не доказал на деле,
Увидев копию, столь верную модели,
Что восхищеньем преисполнен он к тому,
Кто блеск такой придал творенью своему?

Дюма-отец пекся о «своем творении» издалека, посылал ему деньги, что является основной задачей даже блудных отцов, и предлагал различные возможности их заработать. Отца попросили написать небольшую книгу о Версале. Почему бы сыну не заняться этим делом?.. Он пошлет ему все необходимые книги, справки, план работы. Но это поручение, скучное и незначительное, не могло заинтересовать молодого честолюбца, который пописывал стишки, работал над романом и ухаживал за красивой актрисой, прибывшей в Марсель на гастроли. Когда гастроли кончились, он последовал за ней в Париж и написал оттуда Мери, сообщая о конце этого приключения. Письмо это стоит привести, оно характеризует юношу:

Александр Дюма-сын — Жозефу Мери, 18 октября 1844 года:
«Мой милый и добрый Мери, ваше окно сейчас, должно быть, распахнуто, а мое закрыто, но зато у меня в камине разведен огонь, «за отсутствием Фебова огня», как сказал бы наш друг Делиль. Я по уши увяз в Людовике XV, как сказали бы вы, и последние две недели предавался меланхолии.

Помните ли вы тот день, когда я уезжал в Лион, откуда я вернулся, получив еще один солнечный удар и потеряв еще один предмет своей страсти? Когда я рассказал вам о своих приключениях, вы заверили меня, что я поступил мудро и что вы на моем месте не проявили бы такой силы воли. Ну так вот, мой милый, то, что я недавно сделал, еще похлеще.

Недавно отец подал мне здравый совет расстаться с той, за которой я помчался в Париж, но так как у меня не было для этого никакого повода, я был в затруднении. Наконец настал день, когда та молодая и привлекательная особа, которая была столь любезна ко мне в вашем прекрасном городе, произнесла следующие памятные слова: «Боюсь, как бы моя связь с тобой не поссорила меня с твоим отцом и не помешала бы моей карьере. Хочь я того или нет, я неизбежно трачу гораздо больше денег, чем ты можешь мне давать, даже если бы ты ради этого стеснял себя. Кончим на этом. Однако уверяю тебя, ты ни в чем не можешь меня упрекнуть».

Я поймал ее на слове и две недели носу к ней не казал. На другой же день она начала преследовать меня, бегала ко всем моим друзьям, подсылая их ко мне и шла на всевозможные уступки, — я не отвечал, но, оставшись один, плакал горячими слезами. Наконец мы успокоились. В прошлое воскресенье она пришла и за-

стала меня дома. Она дала мне понять, что, хотя она и живет с другим человеком, которого считает своим мужем и который ей нужен лишь для денег, она была бы счастлива не порывать прежних отношений и со своими марсельскими друзьями.

Тогда я взял ее руки в свои, почтительно их поцеловал и дал ей совет не посещать меня слишком часто, потому что она будет только зря себя компрометировать. Я по-братски проводил ее до двери, невзирая на слезинки, блиставшие в ее огромных голубых глазах, этих звездах, освещающих небосклон Жимназ, и, поверьте, ни один брат и сестра не были столь целомудренны, как мы. В прошлый четверг она снова приходила, но, к счастью, я был на скачках. Таковы последние новости, друг мой. Я должен был рассказать вам о них, потому что вся эта история началась у вас на глазах.

Теперь горе мое притупилось. Я работаю, чувствую себя хорошо и, вспоминая о Марселе, а это случается нередко, думаю гораздо чаще о доме на Музейной улице, чем о доме на улице де ля Палю. И все же, признаюсь, временами сердце у меня сжимается. Ведь вы помните, как необычно и мило начался этот роман! Ну вот! Я вижу: вы улыбаетесь, читая эти строки. Вы говорите себе: «Все это я уже пережил. Я хорошо знаю, чем все это кончается», — и вы правы, потому что я и сам тоже знал об этом: ведь я не раз говорил с вами о начале этого романа и никогда о его будущем.

Да, у нас большие новости, мой милый и добрый друг! Дом Дюма на пороге краха. Супруги вот-вот разойдутся, как Авраам и Агарь, хотя причиной тому будет отнюдь не бесплодие, и я полагаю, что вскоре вы увидите, как некая толстая особа проследует через Марсель, направляя стопы свои в Италию, дабы обосноваться там навечно! Все это меня радует. Что касается нас, то мы в следующем году собираемся поехать в Китай и по дороге прихватим с собой Мери. Вот вам наши новости и наши планы...»

Дюма-сын не без цинизма говорит о женщине, недавно им любимой. И хотя юноша еще способен расчувствоваться и пролить несколько слезинок, укротитель уже начинает размахивать хлыстом.

Семья Дюма и впрямь распалась. Вот уже несколько лет, как Ида завоевала во Флоренции сердце знатного итальянца Эдуардо Аллиата, двенадцатого князя Виллафранка, герцога Салапарутского, испанского гранда первого класса, князя Монреальского, герцога Сапонарского, маркиза Санта-Лючии, барона Мастрского, сеньора Мирии, Манджиавакки, Виагранде и других мест... Готский альманах — а кто лучше разбирается в титулах — помещает Эдуардо де Виллафранка в разряд сительнейших высочеств. Князь священной империи и граф Палатинский, он имел (в теории, конечно) наследственное право чеканить монету.

Виллафранка, единственный наследник стольких ленов, выполнил свой долг дворянина: женился молодым и

дал жизнь единственному сыну, нареченному при крещении Джузеппе-Франческо-Паоло-Гаспар-Бальтазар. После чего оставил жену и ребенка в Палермо, а сам переселился на полуостров, где и жил то в Риме, то во Флоренции с госпожой Дюма. Она была на семь лет старше своего любовника и на десять лет старше покинутой им княгини. Но она была из тех женщин, которые, умея завоевать любовь мужчины, умеют и удерживать ее. Актриса, наделенная всеми соблазнами парижанки, она была далеко не глупа. Ее здравый смысл пленял сицилийца.

Начиная с 1840 года она каждый год проводила по нескольку месяцев во Флоренции. Туда к ней часто приезжал и Дюма, которого этот дележ нисколько не тревожил. Затем она возвращалась в Париж и с присущей ей грацией правила домом маркиза де ля Пайетри.

Ида Дюма — Теофилю Готье, 1843 год:

«Мой дорогой поэт, как решиться предложить обыкновенную чашку чаю вам, питающемуся поцелуями олеандровых лепестков? И все же, если вы захотите на мгновение спуститься с синих небес вашей прекрасной Испании¹, вы застанете нас в среду дома в обществе нескольких более или менее остроумных друзей, и мы по возможности попытаемся не скучать. Ваш друг...»

Между Идой и Дюма-сыном продолжалась отчаянная борьба за власть над Дюма-отцом. Когда молодой Александр был в Марселе, его двоюродный брат Альфред Летелье, сын Александрины-Эме², служивший секретарем у Дюма-отца, вызвал его в Париж:

«Твое чересчур затянувшееся пребывание в Марселе может тебе сильно повредить. Твой отец добр, слишком добр, но так как тебя здесь нет и некому противостоять влиянию некоей особы, тебе придется потом нелегко... Я откровенно говорю тебе обо всем этом, как брат, как друг и как очевидец. Теперь, когда ты рассеялся и отдохнул в Марселе, тебе следовало бы вернуться в Париж. Подумай о том, что тебе двадцать лет и что тебе необходимо поступить на службу. Твой отец начинал так, и это не помешало ему стать тем, чем он стал...»

В 1844 году супруги решили полюбовно разойтись. Ида хотела жить со своим князем; Дюма, которому она изрядно надоела, был рад с ней расстаться. В контракте, заключенном 15 октября 1844 года, он обещал ей ежегодную ренту в двенадцать тысяч франков золотом плюс

¹ Теофиль Готье только что опубликовал книгу «Путешествие по Испании. Через горы».

² Дочь генерала Дюма вышла замуж за Виктора Летелье.

три тысячи франков «на карету». Он даже предложил купить у нее спальнй гарнитур лимонного дерева за фантастическую сумму в девять тысяч франков.

На бумаге щедрость Дюма производит внушительное впечатление. Но чем он рисковал? Ведь ему ничего не стоило раздавать несуществующие ренты и устанавливать пенсии на доходы с несуществующего капитала. Ида лучше, чем кто бы то ни было, знала, что ей никогда не получить назад своего приданого (ста двадцати тысяч франков золотом). Значит, надежды были только на Виллафранка.

Разрыв фактический, за которым не последовало никаких формальностей. Дюма повел себя рыцарски по отношению к женщине, носившей его имя. Когда Ида уезжала в Италию, он дал ей письмо к французскому послу, письмо очень теплое, из которого никак нельзя было понять, даже читая между строк, что путешествие это означает окончательный разрыв и что прославленное семейство распалось. Маркиз де ля Пайетри, который вполне охладел к Иде, но отнюдь не охладел к аристократии, решил, что его маркиза нашла ему воистину достойного преемника.

Он и в самом деле был рад вновь обрести свободу. Хотя Ида и не ревновала его, все же она по праву занимала супружеский дом и мешала поселить там очередную временщицу. Дюма представлял себе счастье так: уединенная комната; работа по десять — двенадцать часов в сутки за простым некрашеным столом; огромная кипа голубой бумаги; женщина, молодая и пылкая в любви; сын и дочь, которых он любил бы от всего сердца, с которыми бы обращался по-товарищески и которые никогда не читали бы ему морали; веселые друзья, которые опустошали бы его кошелек, объедали бы его, опивали и платили бы за это остроумиями, а вдобавок — театральная суэта, запойное чтение и клокотание непрерывно рождающихся грандиозных сюжетов. Короче говоря, он обожал независимость, силу, веселье и ничего на свете не боялся, кроме скучных людей, плаксивых любовниц и кредиторов. Но нарисованная нами картина была бы неверной, если бы мы не отметили, что за этим роскошным и безалаберным существованием таилось желание служить униженным и оскорбленным, желание, которое ему так и не удалось воплотить в жизнь и которое он отныне будет удовлетворять в своих романах.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ОТ «ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ»
ДО «ДАМЫ С КАМЕЛИЯМИ»

Глава первая,
В КОТОРОЙ ДРАМАТУРГ СТАНОВИТСЯ
РОМАНИСТОМ

Никто так не чувствовал театр, как он, это видно по всем его романам.

Арсен Гуссе

Первую половину жизни Дюма критика и публика считали его прирожденным драматургом — и тут они нисколько не ошибались. Правда, наряду с драмами он писал такие эссе, как «Галлия и Франция», путевые записки, романы; но в каком бы жанре он ни работал, всегда сказывалось его врожденное умение строить напряженное действие, которое и делает драматургом, да и кроме того, он в это время еще не приступил к осуществлению своего грандиозного замысла — воскресить историю Франции в серии романов, которые гораздо больше, чем драмы, будут способствовать его славе.

Литературные жанры рождаются от союза гения и обстоятельств. Дюма был в своем роде гениален: он обладал вдохновением и чувством драматического. Обстоятельства довершили остальное. Первым из этих обстоятельств было возрождение исторического романа. Романы, в которых наряду с вымышленными героями действуют известные исторические персонажи, писали еще до Вальтера Скотта. Пример тому — «Принцесса Клевская». Скотт первым сумел воссоздать эпоху и среду. Бальзак, Гюго, Виньи и Дюма были его восторженными почитателями.

Почему? Потому что он отвечал потребностям своего времени, лишенного эффектных развязок эпохи империи и изголодавшегося по всему необычному. Кто-то сказал, что воображение молодых людей 1820-х годов напоминало пустой дворец, на стенах которого висят портреты их славных предков. Дворцу надо было придать жилой вид. И так как современная мебель для

этого не годилась, писателям пришлось прибегнуть к тому гигантскому мебельному складу, что зовется Историей. Но история в скучном пересказе может стать мрачным кладбищем. Фантазия Вальтера Скотта сделала ее живой и красочной. Даже историки и те относились к нему с почтением: «Я считаю Скотта,— говорил Огюстен Тьерри,— непревзойденным мастером, умеющим, как никто, передать исторический колорит».

Молодые французские писатели шли по стопам Вальтера Скотта. Альфред де Виньи написал «Сен-Мара», Гюго — «Собор Парижской Богоматери», Бальзак — «Шуанов», Мериме — «Хронику времен Карла IX». Эти книги имели большой успех у немногих избранных, но только Гюго удалось завоевать «широкую публику». А между тем публика так же охотно читала исторические романы, как до этого ходила на исторические драмы, и объясняется это одними и теми же причинами. Людям, которые *делали* историю и были свидетелями грандиозных переворотов, хотелось заглянуть за кулисы столь недавнего прошлого. Но чтобы заинтересовать толпу жизнью королей и королев, фаворитов и министров, надо было показать ей, что под придворными нарядами таятся те же страсти, что и у простых смертных. В этом Дюма не имел себе равных.

Он не был ни эрудитом, ни исследователем. Он любил историю, но не уважал ее. «Что такое история? — говорил он. — Это гвоздь, на который я вешаю свои романы». Дюма мял юбки Клио, он считал, что с ней можно позволить любые вольности при условии, если сделаешь ей ребенка. А так как он был смел и чувствовал себя на это способным, он не был склонен выслушивать мелочные признания, поучения и попреки этой несколько педантичной и болтливой музы. Он знал, что как историка его никогда не будут принимать всерьез. «Только неудобочитаемые истории имеют успех, они похожи на обеды, которые трудно переварить... Обеды, которые перевариваешь легко, забываешь на следующий день...» Он не обладал терпением, необходимым для того, чтобы стать эрудитом; ему всегда хотелось свести исследования к минимуму. Он испытывал необходимость в сырье, переработав которое он мог бы проявить свой редкий дар вдыхать жизнь в любое произведение. Счастливый случай свел Дюма с любителем и знатоком мемуарной литературы: талант сочинителя оплодотворился

более скромной, но весьма драгоценной страстью к прошлому.

Как мы помним, очаровательный Жерар де Нерваль стал одним из постоянных сотрудников Дюма. Так вот у Нерваля был друг, преподаватель Огюст Маке. Сын богатого фабриканта, этот элегантный молодой человек с мушкетерскими усиками был страстно влюблен в литературу. С 1833 года Маке, тогда еще двадцатилетний юноша, входил в маленькую группу смельчаков, борющихся с классицизмом; там он встречал, кроме Нерваля, Теофиля Готье, Петрюса Бореля, Арсена Гуссе и художника Селестена Нантейля. В этом кругу Маке, находивший свое имя недостаточно романтичным, велел называть себя Огастэсом Мак-китом. Он преподавал историю в лицее Карла Великого, но не любил своей профессии и мечтал с ней расстаться. В 1836 году он поступил в «Фигаро» и стал пробовать свои силы в драматургии.

Он предложил Антенору Жоли, директору театра Ренессанс, драму «Карнавальный вечер», которую тот отверг. «Недурно написано, но для театра не годится», — сказал Жоли. Высшим жрецам театра доставляло жестокое наслаждение закрывать непосвященным доступ в святилище.

Жерар де Нерваль предложил показать «калеку» Дюма, прославленному костоправу, спасшему немало «хромающих» пьес. Диагноз был таков: «Полтора акта очень хороши, полтора акта нуждаются в переделке. У Дюма нет на это времени, потому что он должен в ближайшие две недели закончить «Алхимика»... Но если друг умел настоять на своем, Дюма всегда находил время и успевал сделать все.

Жерар де Нерваль — Огюсту Маке, 29 ноября 1838 года:
«Дорогой друг, Дюма переписал всю пьесу, в соответствии с твоим замыслом, конечно; твое имя будет упомянуто. Пьеса принята, она нравится всем без исключения и будет поставлена. Вот и все... Прощай. Завтра я встречу с тобой и представлю тебя Дюма...»

Вот так Огюст Маке в двадцать пять лет поставил трехактную пьесу и свел знакомство с «архизнаменитостью». Драма получила новое название — «Батильда», премьера состоялась 14 января 1839 года. Маке, в восторге от такого дебюта, на следующий год принес Дюма набросок романа «Добряк Бюва́», историю Селлама-

ра (испанского посла, затеявшего заговор против регента и высланного за границу), рассказанную безвестным писцом (добряком Бюва), замешанным в события, смысла которых он не понимал. Дюма эта история понравилась. Он и сам обращался к этой эпохе в своих комедиях; он знал ее нравы и стиль. Он предложил Маке переработать роман и удлинить его.

Но тут в игру вступает новая сила, которая создает благоприятную конъюнктуру для появления романов с продолжениями.

Вот уже несколько лет две газеты, «Ля Пресс» Эмиля Жиардена и «Ле Съекль» Ледрю-Роллена, прилагали огромные усилия, чтобы расширить круг своих читателей. Годовая подписка стоила всего сорок франков, поэтому в подписчиках и объявлениях не испытывалось недостатка, но подписчиков надо было не только завоевать, но и удержать. Лучше всего этого можно было достичь публикацией «захватывающего» романа-фельетона — то есть романа, печатающегося подвалами из номера в номер. Формула «Продолжение следует», которую изобрел в 1829 году доктор Верон для «Ревю де Пари», стала могучей движущей силой журналистики.

В глазах директоров газет самым выдающимся писателем был тот, чьи романы привлекали наибольшее число читателей. Самые талантливые писатели могли потерпеть провал в жанре романа-фельетона. Бальзак, постоянно нуждавшийся в деньгах, не желал ничего лучшего, как поставлять подобные романы. «Как только он почует туго набитую кошню,— говорили его недоброжелатели,— он не может сдвинуться с места, будто замороженный, и готов часами караулить ее, словно кошка — мышку». Но издатели колебались: Бальзак казался им трудным автором. Длинные описания места действия, которыми начинались его романы, отпугивали читателей. По мнению издателей, техникой этого жанра в совершенстве овладели Эжен Сю, Александр Дюма и Фредерик Сулье. «Будь я Луи-Филиппом,— говорил Мери,— я пожаловал бы ренту Дюма, Эжену Сю и Сулье с условием, что они вечно будут продолжать «Мушкетеров», «Парижские тайны» и «Записки дьявола». И тогда бы мы навсегда покончили с революциями».

«Ля Пресс»,— писал Сент-Бёв,— пустилась в дерзкую спекуляцию: она скупала всех писателей, какие только есть на книжном рынке; она не стоит за ценой и приобретает про запас; она посту-

пает, как те богатые промышленники, которые, желая стать хозяевами рынка, скупают оптом масло и зерно, чтобы затем продавать в розницу мелочным торговцам. Если, например, вы, владельцы маленькой газеты, газеты не такой богатой, как «Ля Пресс», захотите дать вашим подписчикам произведение Александра Дюма, «Ля Пресс» вам его переуступит: ведь она скупила все, что Александр Дюма может написать или подписать на двенадцать — пятнадцать лет вперед; у нее есть гораздо больше того, что она может использовать, но отныне только у нее и на ее условиях вы сможете приобрести желаемое...

«Ля Пресс» объявляет, что она будет публиковать «Дневник с острова Святой Елены» генерала Монтолона в переработанном варианте; объявляет она также и то, что к этому произведению приложит руку сам Александр Дюма, чтобы придать больше достоверности воспоминаниям достопочтенного генерала. «А ведь не далее, как вчера,— пишет «Ле Глоб».— «Ля Пресс» восторгалась стилем генерала. Что за комедия! Виданное ли дело — издаваться над публикацией с таким апломбом!» Но если не принимать во внимание всех этих мелких и неизбежных посредников, можно сказать, что отныне Наполеон станет одним из трех главных авторов «Ля Пресс».

В этом объявлении «Ля Пресс» не скупится на самые лестные похвалы в свой адрес: Александра Дюма там сравнивают и ставят в один ряд и с Вальтером Скоттом и с Рафаэлем одновременно».

Дюма размышлял о мастерстве гораздо больше, чем принято считать. Он тщательнейшим образом изучал приемы Вальтера Скотта. Тот начинал романы с подробнейших описаний действующих лиц, чтобы, встретив их впоследствии, читатель мог сразу узнать в них старых знакомых. Но в романе-фельетоне, который должен с первых же строк «увлечь» читателя, автор не имеет права начинать с длиннот, и Дюма, наметив несколькими яркими мазками действующих лиц, тут же переходил к действию-диалогу. Его талант драматурга находил, таким образом, полное применение. Специфика жанра требовала обрывать каждую главу на самом интересном месте, чтобы держать читателя в напряжении. Дюма издавна овладел трудным искусством блестящих концовок. В 1838 году «Капитан Поль» (роман с захватывающей интригой, написанный в подражание «Пирату» Фенимора Купера) за три недели принес «Ле Съекль» больше пяти тысяч новых подписчиков. После этого Дюма стал кумиром всех директоров.

Когда Дюма переделал книгу Маке и дал ей новое название — «Шевалье д'Арманталь», он несколько не возражал против того, чтобы и молодой человек поставил под ней свое имя, но газета воспротивилась: «Ро-

ман, подписанный «Александр Дюма», стоит три франка за строку,— сказал Эмиль Жирарден,— подписанный «Дюма и Маке» — тридцать су». Жирарден рабски подчинился вкусам своих читателей. «У меня нет времени читать,— говорил он.— Если Дюма или Эжен Сю пишут или подписывают любую ерунду, публика, веря в эти имена, все равно считает их книги шедеврами. Желудок привыкает к тем блюдам, которые ему дают». Теофилю Готье, который жаловался, что его не допускают в круг избранных, Жирарден цинично ответил: «Все вы, конечно, великие писатели, это так, но вы не способны дать мне и десяти подписчиков. В этом все дело...» Директора крупных газет, гонявшиеся за громкими именами, боялись новичков. Поэтому Дюма подписал книгу один, а Маке получил восемь тысяч франков, огромную по тем временам сумму, которую без помощи Дюма ему бы никогда не заработать. Компенсация показалась ему тогда вполне справедливой. Позже он изменит это мнение! Но в начале их сотрудничества он сам признавал, что благодарен Дюма, восхищен и очарован им.

Успех «Шевалье д'Арманталя» показал Дюма, что исторические романы — золотая жила. Поэтому он был в восторге, когда Маке принес ему план романа из эпохи Людовика XIII, Ришелье, Анны Австрийской и герцога Букингемского, романа, который впоследствии станет «Тремя мушкетерами». Кто из двух авторов первым натолкнулся на «Мемуары господина д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров», поддельные мемуары, написанные Гасьеном де Куртилем (часто именуемым Куртилем де Сандра, или Сандра де Куртилем) и изданные в 1700 году в Кельне, а затем в 1704 году в Амстердаме Жаном Эльзевиром? Маке утверждает, что он. А между тем формуляр марсельской библиотеки свидетельствует, что Дюма взял эту книгу в 1843 году и не вернул ее. Библиотекарем в то время был его друг Мери, и он, должно быть, посмотрел на это сквозь пальцы.

Несомненно, что многие эпизоды романа и даже имена (слегка измененные) — Атос, Портос и Арамис — были заимствованы у Гасьена де Куртиля; несомненно и то, что этот пасквильант был довольно бездарен, и лучшие эпизоды романа (история мадам Бонасье, история леди Винтер) были целиком переделаны, а по большей части и придуманы Дюма и Маке; и, наконец, то,

что Маке выступал лишь в роли мраморщика, а скульптором был Дюма. У Дюма уже выработались более или менее постоянные приемы работы с соавторами. Соавтор писал сценарий. Дюма прочитывал его «в один присест» и затем использовал как черновик. Он переписывал текст, добавляя тысячи деталей, придававших ему живость, переделывал диалог, в котором не имел себе равных, тщательно отшлифовывал концы глав и увеличивал общий объем, чтобы удовлетворить требованиям, предъявляемым к роману-фельетону, который должен был тянуться долгие месяцы и держать читателей в постоянном напряжении.

Дюма ввел новых героев, например лакея Гримо, великого молчальника, односложно отвечавшего на любые вопросы: выдумка, свидетельствующая о большой находчивости Дюма, так как газеты платили построчно. Столь стремительный диалог имел двойное преимущество: облегчал чтение и удесятерял гонорар автора. Но в один прекрасный день все пошло прахом. «Ля Пресс» и «Ле Сьекль» объявили, что отныне они будут платить лишь за те строки, которые занимают больше половины колонки. Директор «Фигаро» Вильмессан случайно оказался в этот день у Дюма. Он заметил, что тот перечитывает рукопись и вымарывает целые страницы.

— Что вы делаете, Дюма?

— Да вот убил его...

— Кого?

— Гримо... Ведь я его придумал только ради коротких строчек. Теперь он мне ни к чему.

Писатель того времени Вермерш написал позже пародию на знаменитые диалоги Дюма:

«— Вы видели его?

— Кого?

— Его.

— Кого?

— Дюма.

— Отца?

— Да.

— Какой человек!

— Еще бы!

— Какой пыл!

— Нет слов!

— А какая плодовитость!

— Черт побери!»

Нельзя отрицать, что Маке много работал над «Тре-

мя мушкетерами». Сохранились полные беспокойства записки, которые посылал ему Дюма:

«Как можно скорее принесите рукопись, и прежде всего первый том д'Артаньяна («Мемуаров»)...»

«Не забудьте записать томом по истории царствования Людовика XIII, где говорится о процессе Шалэ и есть соответствующие документы. Вместе с ним принесите мне все, что вы сделали для Атоса...»

«Любопытная вещь: сегодня утром я написал вам, чтобы вы ввели в эту сцену палача, а потом бросил письмо в камин, решив, что сделаю это сам. Первое же слово, которое я прочел, доказало мне, что наши мысли совпали...»

Однако другие письма свидетельствуют о том, что руководил всем Дюма.

Александр Дюма — Огюсту Маке:

«Мне кажется, можно было бы ввести очаровательную сцену — ночь у Мари Туше *. Прелестная женщина утешает всемогущего короля; она одна во всем королевстве любит его. Маленький герцог Ангулемский в колыбельке. Король забывает обо всем... Думайте, читайте, смотрите...»

«Мой дорогой друг, в следующей главе мы должны услышать от Арамиса, который обещал д'Артаньяну разузнать, в каком монастыре содержится мадам Бонасье, рассказ о том, что она там делает и какое покровительство оказывает ей королева».

«Дорогой друг, мне кажется, что мы не уделили достаточно внимания нашему Горенфло ¹. Надо бы, коль уж мы увозим его из монастыря, увезти для чего-то более серьезного. Нам непременно нужно увидеться завтра».

«Раз нам почти ничего не дало то, что Диксмер и Мэзон-Руж ² изолированы и ничего не знают друг о друге, давайте объединим их. А то маловероятно, чтобы они так и не нашли друг друга в одной тюрьме».

«Сегодня надо сделать еще одно большое усилие и как следует поработать над Бражелоном, чтобы в понедельник или вторник мы смогли возвратиться к нему и закончить второй том ³... А сегодня вечером, завтра, послезавтра и в понедельник, засучив рукава, займемся Бальзамо, — черт его побери!»

Маке позже опубликует главу о смерти Миледи в том виде, в каком он ее написал. Он хотел доказать, что подлинным автором «Трех мушкетеров» был он, но доказал совершенно обратное. Все лучшее в этой сцене, все, что придает ей колорит и жизненность, исходит от Дюма. Так же глупо было бы утверждать, что Дюма не знакомился с источниками. Ведь это он исправил все погрешности, которые содержались в книге памфлетиста Гасье-

¹ Действующее лицо романа Дюма «Графиня де Монсоро».

² Действующие лица романа Дюма «Шевалье де Мэзон-Руж».

³ «Виконт де Бражелон» и «Жозеф Бальзамо» (Записки врача) были опубликованы в одном году (1848).

на де Куртиля, и нашел множество дополнительных сведений у госпожи де Лафайет, Тальмана де Рео и десятка других авторов. Прежде всего он превратил мушкетеров, которых Гасьен де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами, в легендарных героев, восхищающих нас и поныне. Ведь это он унаследовал от отца вкус к невероятным, но тем не менее невыдуманым битвам, в которых один человек обезоруживал сотню врагов, как было, например, на Бриксенском мосту; ведь только он, сын солдата, творившего историю Франции, мог так хорошо «чувствовать» эту историю.

«Настоящий французский дух — вот в чем заключается секрет обаяния четырех героев Дюма: д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Кипучая энергия, аристократическая меланхолия, сила, не лишенная тщеславия, галантная и изысканная элегантность делают их символами той прекрасной Франции, храброй и легкомысленной, какой мы и поныне любим ее представлять. Конечно, за пределами этого суетного мирка, занятого любовными и политическими интригами, существовали Декарты и Паскали, которые, впрочем, тоже были не чужды обычаям света и армии... Зато сколько великодушия, изящества, решительности, мужества и ума проявляют эти молодые люди, которых шпага объединяет раньше, чем мушкетерский плащ. В романе все, вплоть до мадам Бонасье, предпочитают храбрость добродетели.

Д'Артаньян, хитрый гасконец, лихо подкручивающий свой ус; тщеславный силач Портос, знатный вельможа Атос, настроенный романтически; Арамис, таинственный Арамис, который скрывает свою религиозность и свои любовные похождения, ревностный ученик святых отцов (*non inutile est desiderium in oblatione*¹) — эти четверо друзей, а не четверо братьев, как их изображал Куртиль, представляют собой четыре основных варианта нашего национального характера. А с каким невероятным упорством, с каким мужеством они добиваются своих целей, вы и сами знаете. Они совершают свои подвиги с удивительной легкостью. Они мчатся во весь опор, они преодолевают препятствия так весело, что вселят мужество даже в нас. Путешествие в Кале, о котором в «Мемуарах» упоминалось лишь вскользь, по своей стремительности может сравниться лишь с итальянской кампанией. А когда Атос выступает в роли обвинителя своей чудовищной супруги, мы поневоле вспоминаем и военные трибуналы и трибуналы времен революции. Если Дантон и Наполеон были воплощением французской энергии, то Дюма в «Трех мушкетерах» был ее национальным поэтом...»

Одно поколение может ошибиться в оценке произведения. Четыре или пять поколений никогда не ошибаются. Прочная популярность «Трех мушкетеров» во всем мире свидетельствует о том, что Дюма, наивно выражая через посредство своих героев собственный харак-

¹ Некоторое сожаление приличествует тому, кто приносит жертву Господу (лат.).

тер, отвечал той потребности в энергии, силе и великодушии, которая присуща всем временам и всем странам. Его творческая манера так подходила к избранному им жанру, что она и поныне остается образцом для всех, подвизающихся в нем. Дюма или Дюма-Маке¹ отталкивались от известных источников, иногда поддельных, как «Мемуары д'Артаньяна», иногда подлинных, как «Мемуары мадам де Лафайет», из которых вышел «Виконт де Бражелон». Сравним «Мемуары» и роман.

Мадам де Лафайет повествует о первых увлечениях Людовика XIV, о его разрыве с Марией Манчини, о встрече с Луизой де Лавальер, о смерти Мазарини и опале Фуке. Стиль ее краток, сдержан и изыскан, конфликты остаются нераскрытыми, госпожа де Лафайет никогда не описывает сцен, при которых она не присутствовала.

Дюма заимствовал у нее героев и общий костяк сюжета. Но каждый раз, когда в «Мемуарах» сцена только намечена, он пишет ее так, как написал бы драматург, прибегая к всевозможным эффектам, неожиданным поворотам сюжета, умело чередуя драматические и комические элементы. Тонкий штриховой рисунок мадам де Лафайет у Дюма превращается в музей, где выставлены раскрашенные, разодетые скульптуры, которые при всей своей карикатурности все же создают иллюзию подлинной жизни. Исторические персонажи изображаются автором с явно предвзятых позиций. Дюма любит одних героев и ненавидит других. Его Мазарини столь же отвратителен, как у кардинала де Ретца. Дюма всецело встает на сторону Фуке, против Кольбера. Верность истории требовала бы передачи нюансов; читатель романов-фельетонов любил, чтобы героев изображали только двумя красками: черной и белой.

Но самое главное — и в этом и заключался секрет успеха Дюма — он ввел в повествование второстепенных персонажей, вызванных к жизни им самим, и объяснял поступками этих неизвестных все великие исторические события. Иногда эти герои действительно существовали. Некий виконт де Бражелон, например, бледной тенью проходит в «Мемуарах» мадам де Лафайет. Ино-

¹ Так предлагал называть их Альбер Тибодэ, который хотел, чтобы это двойное имя стало столь же употребительным, как Эркман-Шатриан.

гда Дюма придумывал их целиком. Но чудо заключается в том, что эти вымышленные герои ухитряются присутствовать в решающие моменты подлинной истории. Атос прячется под эшафотом во время казни Карла I Стюарта и слышит его последние слова; именно ему адресует Карл знаменитое «Remember!»¹. Атос и д'Артаньян вдвоем восстанавливают Карла II на английском троне. Арамис пытается подменить Людовика XIV его братом-близнецом, который впоследствии станет Железной Маской. История низводится до уровня любимых и знакомых персонажей и тем самым до уровня читателя.

Метод этот безупречен при условии, если у писателя темперамент Дюма-отца. Правдоподобных героев можно создать, только вкладывая в них многое от самого себя. Точно так же как Мольер нашел в себе Альцеста и Филинта, Мюссе — Оттавио и Челио, Дюма раздвоился, чтобы произвести на свет Портоса и Арамиса. В Портосе воплощены те черты, которые Дюма унаследовал от своего отца; в Арамисе — элегантность, доставшаяся обоим Дюма от Дави де ля Пайетри. «Тонкая кость и могучая мускулатура» — таков Дюма.

Не следует забывать и о том, что по своей морали и философии Дюма был близок не мыслящей верхушке Франции, а массе своих читателей. Вальтеру Скотту, добродетельному шотландцу, его моральное и художественное кредо диктовало нравственные эпилоги. Мораль Дюма — это сочетание любви к славе и «здорового смысла», не лишенного цинизма. Таким образом, Дюма объединяет Францию героических поэм и Францию фавлю — сочетание, представляющее если не всю Францию, то, во всяком случае, значительную ее часть. Как и Рабле, Дюма любил пирушки, попойки, любовные похождения. Если бы д'Артаньян не был героем, он казался бы нам чрезвычайно безнравственным. Мушкетеры, и в этом они похожи на своего творца, не видят ничего дурного ни в том, чтобы менять любовниц, ни в том, чтобы иметь по нескольку любовниц зараз, ни в том, чтобы брать у них деньги. Все это так, и тем не менее романы Дюма не были ни непристойными, ни воинствующе аморальными. Его творчество разительно отличалось от творчества его друзей романтиков, напоминавшего лавку похоронных принадлежностей. Дюма достав-

¹ «Запомни!» (англ.)

лял удовольствие. «Да, это нечто невероятное,— писал Жюль Жанен,— этот роман, интрига которого тесно связана с самыми крупными событиями в истории Европы». Жанен был прав. В 1845 году по прихоти Дюма Париж действительно гораздо больше интересовался Анной Австрийской, чем Луи-Филиппом, и похождениями герцога Букингемского, чем угрозами Англии.

Глава вторая

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЕКСАНДР ДЮМА И К°»

За всю историю французской литературы ни один писатель не был столь плодовит, как Дюма в период с 1845 по 1855 год. Без передышки обрушивает он на газеты и журналы романы, в восемь — десять томов каждый. Перед нами проходит вся история Франции. За «Тремя мушкетерами» следуют «Двадцать лет спустя», за которыми потянется «Виконт де Бражелон». Другая трилогия («Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок пять») выводит на сцену Валуа. В «Королеве Марго» повествуется о борьбе между Генрихом Наваррским и Екатериной Медичи; в «Графине де Монсоро» увлекательно рассказывается о царствовании Генриха III. В «Сорока пяти» Диана де Монсоро мстит герцогу Анжуйскому за смерть своего любовника Бюсси д'Амбуаза.

Одновременно в другой серии романов («Ожерелье королевы», «Шевалье де Мэзон-Руж», «Жозеф Бальзамо», «Анж Питу», «Графиня де Шарни») Дюма описывает закат и падение французской монархии. Можно с полным основанием говорить об «историческом империализме» Дюма. Он еще смолоду замыслил объединить в своей писательской державе всю историю. «Мечты мои не имеют границ,— говорил сам Дюма,— я всегда желаю невозможного. Как я осуществляю свои стремления? Работая, как никто никогда не работал, отказывая себе во всем, часто даже во сне...» Вот откуда эта цифра — пять или шесть сотен томов, потрясающая читателя.

Среди этой гигантской продукции мало неудач. К его романам обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произведений Дюма (прочсть их так же невозможно, как написать), но весь земной шар чи-

тал Дюма... Если еще существует, говорили в 1850 году, на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон Крузо, он наверняка сейчас читает «Трех мушкетеров». Следует добавить, что и весь мир и сама Франция знакомилась с французской историей по романам Дюма. История эта не во всем верна, зато она далеко не во всем неверна и всегда полна самого захватывающего драматизма. «Заставляет ли Дюма думать? — Редко. — Мечтать? — Никогда. — Лихорадочно переворачивать страницы? — Всегда».

Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздражать своим красноречием, бахвальством, орденами и неуважением к законам республики изящной словесности. Казалось оскорбительным, что один-единственный писатель захватил все подвалы во всех газетах. Казалось непорядочным, что он содержит целый отряд анонимных соавторов — Фелисьена Мальфиля (обычно сотрудничавшего с Жорж Санд), Поля Мериса, Огюста Вакери (обычно сотрудничавшего с Гюго), Жерара де Нерваля, Анри Эскироса и, конечно же, Огюста Маке. Человек, заставляющий работать на себя «негров», никогда не вызывает ни уважения, ни симпатии — такое сотрудничество следует хотя бы облечь в какую-то приличную форму. Сент-Бёв, например, никогда не смог бы завершить свой гигантский труд без помощи секретарей. Но в отличие от Дюма Сент-Бёв сам уважал свой сан и заставлял других его уважать: его помощники казались не рабами или эксплуатируемыми, а служками, помогающими священнику при отправлении обряда.

А о Дюма все думали (и совершенно напрасно), что он покупает на 250 франков рукописей, с тем чтобы перепродать их за десять тысяч. Говорили, что Дюма, создав в начале своей карьеры фабрику пьес, присоединил к ней предприятие по производству романов. Во времена «Нельской башни» история с Гайярде вызвала много толков. Затем появилась статья Гранье де Кассаньяка, пробудившая подозрения публики. А в 1843 году некий молодой эрудит Луи де Ломени, которому его почтенные труды не принесли славы, опубликовал «Галерею знаменитых современников, написанную никчемным человеком». Он жаловался на этот «чудовищный колокол, который заглушает звон его маленького бубенчика»; он извергал громы и молнии против «этой литературной фабрики». Сент-Бёв заклеил «коммерческую

литературу», Ломени писал: «Пораженный постыдной заразой индустриализма, этой язвой нашего века, господин Дюма, это можно и даже должно сказать, видно, телом и душой отдался культу золотого тельца. На афише какого только театра, пусть самого жалкого, в какой только лавчонке, торгующей литературной бакалейей, не красуется его имя? Физически невозможно, чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем».

В 1845 году памфлетист Эжен де Мирекур (настоящее имя которого было Жан-Батист Жако) опубликовал брошюру «Фабрика романов «Торговый дом Александр Дюма и К^о», наделавшую много шума. Небезынтересно отметить, что, прежде чем напасть на Дюма, Мирекур готов был работать на него и предлагал ему сюжет романа, из которого могло бы выйти «замечательное произведение». Так что этот праведник был сам не без греха и, если б только мог, охотно принял бы участие в «предприятии». Потерпев неудачу, он сразу же обратился в «Общество литераторов» с протестом против такого положения дел, при котором писатели, как он говорил, не имеют возможности заработать себе на жизнь. Когда ему и там отказали, он написал письмо Эмилю Жирардену, издателю «Ля Пресс», в котором требовал закрыть двери перед «беззастенчивым торгашом Александром Дюма» и открыть их перед «талантливыми молодыми писателями» (читай: Эженом де Мирекуром). Жирарден ответил, что его подписчики хотят читать Дюма, и он будет печатать Дюма. Тогда Мирекур решил написать и опубликовать «Торговый дом Александр Дюма и К^о».

По всей видимости, он был неплохо информирован. Некоторые соавторы Дюма, которым казалось, что их услуги недостаточно ценят, а их таланты не получают законного признания, делились с Мирекуром своими обидами. Он разобрал все произведения Дюма, драму за драмой, роман за романом, и обнародовал имена тех, кого называл «подлинными авторами»: Адольфа де Левена, Анисе-Буржуа, Гайярде, Жерара де Нерваля, Теофиля Готье, Поля Мериса и прежде всего — Огюста Маке. Нападки эти, возможно, и достигли бы своей цели, если б Мирекур обладал чувством меры. Но он обнаружил свою недобросовестность, осыпая Дюма самыми гнусными оскорблениями.

«Поскребите труды господина Дюма,— писал разбушевавшийся Мирекур,— и вы обнаружите дикаря... На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку — и пожирает ее прямо с кожурой. Он домогается почестей... Он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции, продажных литераторов, которые унижают себя, работая, как негры под свист плетки надсмотрщика-мулата».

Мирекур нападал даже на частную жизнь Дюма. Он издевался над Идой Ферье, маркизой де ля-Пайетри. Короче говоря, памфлет был настолько груб, что вызвал отвращение даже у врагов Дюма. Бальзак, который был бы только счастлив, если б соперника, постоянно оттеснявшего его на второй план, задели за живое, сурово осудил Мирекура: «Мне показали,— писал он,— памфлет «Торговый дом Александр Дюма и К°». Это до омерзения глупо, хотя, к сожалению, верно... Но так как во Франции больше верят остроумной клевете, чем скучной правде, памфлет этот не слишком повредит Дюма».

И в самом деле, памфлет не только не повредил Дюма во мнении читателей, но Дюма одержал победу и в суде. Затеяв против Мирекура процесс, он добился, чтобы клеветника приговорили к двухнедельному тюремному заключению и обязали опубликовать официальное извещение об этом приговоре в газетах. В литературном мире перестали верить Мирекуру. Забавно, что несколько позже обвинителя, в свою очередь, обвинили, и вполне справедливо, в том, что он нанимал соавторов, имена которых скрывал. В 1857 году некто Рошфор в памфлете, озаглавленном «Торговый дом Эжен де Мирекур и К°», история, изложенная бывшим компаньоном», рассказал о том, как Мирекур, когда ему нужно было за короткий срок написать исторический роман, передал эту работу эрудиту Уильяму Дакетту; тот, будучи занят, в свою очередь, перепоручил ее Рошфору, получившему за свои труды сто франков. Дюма был щедрее.

Чтобы окончательно разгромить Мирекура, Дюма обратился за помощью к Огюсту Маке. Тот написал письмо, целью которого было, как говорил он, оградить Дюма от притязаний своих наследников, буде таковые появятся,— письмо, в котором он заявлял, что не имеет никаких претензий к Дюма и что все расчеты производились честно и справедливо. Позже, когда оно было

опубликовано, *Маке*, к этому времени поссорившийся с *Дюма*, уверял, будто письмо вырвали у него насильно. В чем заключалось насилие? Тон письма кажется искренним и недвусмысленным.

4 марта 1845 года: «Дорогой друг, в нашей совместной работе мы всегда обходились без контрактов и формальностей. Доброй дружбы и честного слова нам было всегда достаточно; так что мы, написав почти полмиллиона строк о делах других людей, ни разу не подумали о том, чтобы написать хоть одну строчку о наших делах. Но однажды вы нарушили молчание. Вы поступили так, чтобы оградить нас от низкой и нелепой клеветы; вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на какую я мог когда-либо надеяться; вы поступили так, чтобы публично объявить, что я написал в сотрудничестве с вами ряд произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой друг, вы могли трижды отречься от меня, но вы этого не сделали — и прославили меня. Разве вы уже не расплатились со мной сполна за все те книги, что мы написали вместе?»

У меня не было с вами контракта, а вы никогда не получали от меня расписок; но представьте себе, что я умру — и жадный наследник явится к вам, размахивая этим заявлением, и потребует от вас того, что я уже давно получил. На документ надо отвечать документом, — вы заставляете меня взяться за перо.

Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на переиздание следующих книг, которые мы написали вместе, а именно: «Шевалье д'Арманталь», «Сильванир», «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Женская война», «Королева Марго», «Шевалье де Мэзон-Руж», и утверждаю, что вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей устной договоренностью.

Сохраните это письмо, дорогой друг, чтобы показать его жадному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив и польщен честью быть сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступит, как я.

Маке».

Чтобы разобраться во всем этом, следует вспомнить, что во времена *Дюма* коллективная работа над литературными произведениями не считалась зазорной. И, конечно, напрасно, потому что великим может называться лишь тот художник, на всем творчестве которого лежит отпечаток его гения. И все же прославленным художникам — *Рафаэлю*, *Веронезе*, *Давиду*, *Энгру* — в работе над большими композициями помогали ученики. В театре спектакль неизменно является плодом сотрудничества автора, режиссера, актеров, декоратора, а иногда и композитора. *Дюма*, чтобы его воображение работало, нужен был «стимулятор идей». В этом он был не одинок. *Бальзак* написал не один большой роман по сюжетам, которые ему давали целиком или набрасывали в об-

щих чертах (сюжет «Беатрисы» дала ему Санд, «Лилии долины» — Сент-Бёв, «Департаментской музы» — Каролина Марбути). Стендаль обязан «Люсьеном Левеном» рукописи одной незнакомки. Так в чем же тут преступление?

Дюма вовсе не был «ленивым королем», передавшим власть ловким «майордомам». Он вовсе не эксплуатировал своих сотрудников, скорее наоборот — он придавал их трудам слишком большое значение. Легкость, с которой он превращал любого мертворожденного литературного уродца в жизнеспособное произведение, заставляла его предполагать талант в самых бездарных писателях.

— Никак не могу понять, — сказал он однажды, — чего не хватает Мальфилю, чтобы быть талантливым писателем.

— Я вам скажу, — ответил собеседник, — по всей вероятности, ему не хватает таланта.

— И правда, — сказал Дюма, — а мне это никогда не приходило в голову.

Когда вышли «Жирондисты», он написал: «Ламартин поднял историю до уровня романа». Нельзя сказать, что Дюма поднял роман до уровня истории — этого не хотел бы ни он сам, ни его читатели, — но он вывел на сцену историю и роман, воплотил их в незабываемых образах, сделал достоянием самой широкой публики, — а только она и является настоящей публикой, — и под лучами его прожекторов история и роман зажили новой жизнью, к великой радости всех времен и народов!

Глава третья МАРИ ДЮПЛЕССИ

Под роскошными камелиями я
увидел скромный голубой цветок.

Эмиль Анрио

После отъезда Иды во Флоренцию отношения между отцом и сыном наладились. Дюма-отец сказал однажды Дюма-сыну: «Когда у тебя родится сын, люби его, как я люблю тебя, но не воспитывай его так, как я тебя воспитал». В конце концов Дюма-сын стал принимать Дю-

ма-отца таким, каким его создала природа: талантливым писателем, отличным товарищем и безответственным отцом. Молодой Александр твердо решил добиться успеха самостоятельно. Он, конечно, будет писать, но совсем не так, как Дюма-отец. Нельзя сказать, чтобы он не восхищался своим отцом, но он любил его скорее отцовской, нежели сыновней любовью.

«Мой отец,— говорил он,— это большое дитя, которым я обзавелся, когда был еще совсем маленьким». Таким вставал перед ним отец из рассказов его матери, мудрой Катрины Лабэ, которая, чтобы зарабатывать на жизнь, содержала теперь небольшой читальный зал на улице Мишодьер. Она не затаила обиды на своего ветеранского любовника, но и не питала на его счет никаких иллюзий.

У сыновей часто вырабатывается обратная реакция на недостатки отцов. Дюма-сын ценит ум и талант Дюма-отца, но его оскорбляют некоторые смешные черты отца. Он страдает, слушая его наивно-хвастливые рассказы. Образ жизни в отцовском доме, где вечно мечутся в поисках ста франков, внушает ему неосознанное стремление к материальной обеспеченности. Да и потом стариковское донжуанство всегда раздражает молодежь. «Я выступаю в роли привратника твоей славы,— сказал однажды Александр Дюма-сын Александру Дюма-отцу,— обязанности которого заключаются в том, чтобы проводить к тебе посетителей. Стоит мне взять даму под руку — и первое, что она делает, подбирает подол, чтобы не замарать его, второе — просит познакомить с тобой».

К этому времени, чтобы избежать путаницы, их уже начали называть Александр Дюма-отец и Александр Дюма-сын, что очень возмущало старшего.

«Вместо того, чтобы подписываться Алекс[андр] Дюма, как я,— что в один прекрасный день может стать причиной большого несудобства для нас обоих, так как мы подписываемся одинаково,— тебе следует подписываться Дюма-Дави. Мое имя, как ты понимаешь, слишком хорошо известно — и на этот счет двух мнений быть не может, а прибавлять к своей фамилии «отец» я не могу: для этого я еще слишком молод...»

В двадцать лет Дюма-сын был красивый молодой человек, с гордой осанкой, полный сил и пышущий здоровьем. В высоком, широкоплечем, с правильными чертами лица юноше ничто, кроме мечтательного взгля-

да и слегка курчавой светло-каштановой шевелюры, не выдавало правнука черной рабыни из Сан-Доминго. Он одевался, как денди или как «лев», по тогдашнему выражению: суконный сюртук с большими отворотами, белый галстук, жилет из английского пике, трость с золотым набалдашником. Счета портного оставались непоплаченными, но молодой человек держался высокомерно и сыпал остротами направо и налево. Однако под маской пресыщенности угадывался серьезный и чувствительный характер, унаследованный им от Катрины Лабе; Дюма-сын скрывал эту сторону своей натуры.

В сентябре 1844 года отец и сын поселились на вилле «Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ. Там оба работали и оказывали самое радушное гостеприимство своим друзьям. Дюма-сын приглашал их любезными посланиями в стихах:

Коль ветер северный не очень вас пугает,
То знайте, вас прием горячий ожидает
Здесь, в Сен-Жермен-ан-Лэ, где, право же, давно
Хотели б видеть вас отец и сын его.
И если озарил нас луч, зажженный Фебом,
И если ясный день нам был ниспослан небом,
И если публика в краю, где мы живем,
Подобна дикарям, но солнце светит днем,
Так приезжайте к нам; мы здесь вдвоем, быть может,
Поможем вам забыть все то, что вас тревожит,
Взамен синеющих небес и красок дня
Вам предложив табак и место у огня.
Мы ждем еще гостей, друзей мы ждем, вернее;
Художники придут и свод оранжереи
Нам разрисуют весь, обычай их таков;
Теперь там нет цветов, но слышен стук шаров.
Приедет Мюллер к нам, пастель его чудесна,
Приедет и Дозá, который повсеместно
Слывет за гения. И будет с ним Диас,
Ни с кем он не сравним и позабавит вас.
И, наконец, мой друг, когда настанет вечер,
Вы дам увидите, изысканны их речи;
И этот аргумент столь вѣсок, что к нему
Прибег я под конец; с ним спорить ни к чему.
Чтоб не пришлось вам зря излишний делать крюк,
Я точный адрес дам. Запомните, мой друг:
Идите улицею Медичи, потом,
Пройдя ее насквозь, ищите крайний дом,
В нем дверь зеленая. Но если вам случится
Приют наш не найти или с дороги сбиться,
Зайдите в первый же знакомый особняк.
И там вам объяснят, куда пройти и как.
Прощайте, от души я вас обнять хотел бы..

Однажды по дороге в Сен-Жермен Дюма-сын встретил Эжена Дежазе, сына знаменитой актрисы. Молодые люди взяли напрокат лошадей и совершили прогулку по лесу, затем вернулись в Париж и отправились в театр Варьете. Стояла ранняя осень. Париж был пуст. В Комеди Франсез «молодые, еще никому не известные дебютанты играли перед актерами в отставке старые, давно забытые пьесы», — писала Дельфина де Жирарден. В залах Пале-Рояля и Варьете можно было встретить красивых и доступных женщин.

Эжен Дежазе питал так же мало уважения к общепринятой морали, как и Дюма-сын. Баловень матери, он был гораздо менее стеснен в средствах, чем его друг. Молодые люди в поисках приключений лорнировали прелестных девиц, занимавших авансцену и ложи Варьете. Красавицы держались с простотой, присущей хорошему тону, носили роскошные драгоценности, и их с успехом можно было принять за светских женщин. Их было немного — знаменитые, известные всему Парижу, эти «высокопоставленные кокетки» образовывали галантную аристократию, которая резко отличалась от прослойки лореток и гризеток.

Хотя все они и были содержанками богатых людей (надо же на что-то жить), они мечтали о чистой любви. Романтизм наложил на них свой отпечаток. Виктор Гюго реабилитировал Марион Делорм и — Жюльетту Друэ. Общественное мнение охотно оправдывало куртизанку, если причиной ее падения была преступная страсть или крайняя бедность. Куртизанки и сами были не чужды сентиментальности. Большинство из них начинало жизнь простыми работницами; чтобы стать честными женщинами, им не хватило одного — встретить на своем пути хорошего мужа. Достаточно было прогулки в Тиволи, посещения зарешеченной ложи в Амбигю, кашемировой шали и драгоценной безделушки, чтобы перейти в разряд содержанок. Но, даже став продажными женщинами, они сохраняли тоску по настоящей любви. Жорж Санд умножила число непонятых женщин, мечтающих о «вечном экстазе». Все это объясняет, почему два юных циника в Варьете смотрели не только на соблазнительные белоснежные плечи куртизанок, но и вглядывались в их глаза, светящиеся нежностью и грустью.

В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся своей красотой, вкусом и

теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонсина Плесси, но она предпочитала именовать себя Мари Дюплесси. «Она была,— пишет Дюма-сын,— высокой, очень изящной брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как глаза японок, только смотрели они живо и гордо; у нее были красные, словно вишни, губы и прелестнейшие на свете зубки. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора...» Узкая талия, лебединая шея, выражение чистоты и невинности, байроническая бледность, длинные локоны, ниспадавшие на плечи на английский манер, декольтированное платье из белого атласа, бриллиантовое кольцо, золотые браслеты — все это делало ее царственно прекрасной. Дюма был ослеплен, поражен в самое сердце и покорен.

Ни одна женщина в театре не могла соперничать с ней в благородстве наружности, и тем не менее, кроме одной из ее бабок, Анны дю Мениль, происходившей из дворянского нормандского рода и совершившей мезальянс, предки Мари Дюплесси были лакеями и крестьянами. Ее отец, Марен Плесси, человек мрачный и злобный, считался в деревне колдуном. Он женился на Мари Дезайес, дочери Анны дю Мениль, которая родила ему двух дочерей, а потом сбежала от него. Альфонсина родилась в 1824 году; она была одних лет с Дюма. Она не получила никакого образования и до 15—16 лет бегала по полям. Потом отец — если верить рассказам — продал Мари цыганам, которые увезли ее в Париж и отдали в обучение к модистке. Гризетка, зачитывавшаяся романами Поль де Кока, она танцевала со студентами во всех значных уголках Парижа, а по воскресеньям в Монморанси охотно позволяла увлекать себя в темные аллеи. Ресторатор Пале-Рояля, который однажды свозил ее в Сен-Клу, меблировал для нее небольшую квартиру на улице Аркад, но почти сразу же вынужден был уступить Мари герцогу Аженору де Гишу, элегантному студенту Политехнической школы, который в 1840 году ушел из армии для того, чтобы стать одним из предводителей «модных львов» Итальянского бульвара и «Антиномем 1840 года». Через неделю у «Итальянцев» и в знаменитой «инфернальной ложе» авансцены № 1 Оперы, своего рода филиале Жокей-клуба, только и говорили, что о новой любовнице молодого герцога.

Молодой красавицей увлекались самые блестящие мужчины Парижа: Фернан де Монгион, Анри де Контад, Эдуард Делессер и десятки других. От знатных любовников она переняла изящные манеры и образование, пусть и поверхностное, но все же весьма выгодно ее отличавшее от других дам этого рода. Под руководством лучших наставников одаренная и чувствительная девушка расцвела. В 1844 году, когда Дюма-сын с ней познакомился, в ее библиотеке были Рабле, Сервантес, Мольер, Вальтер Скотт, Дюма-отец, Гюго, Ламартин и Мюссе. Она превосходно знала произведения этих авторов, любила поэзию. Ее обучали музыке, и она с чувством играла на пианино баркаролы и вальсы.

Короче говоря, она с головокружительной быстротой шла в гору, окруженная все более изысканной роскошью. В 1844 году она считалась самой элегантной женщиной Парижа и соперничала с Алисой Ози, Лолой Монтеc и Аталой Бошен. У нее можно было встретить не только «львов» Жокей-клуба, но и Эжена Сю, Роже де Бовуара, Альфреда де Мюссе. Все испытывали к ней восхищение, смешанное с уважением и жалостью, потому что она была явно выше своей постыдной профессии. Почему она ею занималась? Во-первых, потому, что привыкла тратить сто тысяч франков золотом в год, а во-вторых, потому, что, больная, лихорадочно-возбужденная, вечно недовольная собой, она могла забыться лишь в наслаждении.

В тот вечер в ложе Варьете с Мари сидел дряхлый старик граф Штакельберг, бывший русский посол. Позже она рассказала Дюма, что этот выживший из ума старик взял ее на содержание потому, что она напоминала ему умершую дочь. Выдумка чистой воды. «Для графа, несмотря на его преклонный возраст, Мари Дюплесси была не Антигоной при Эдипе, а Вирсавией при Давиде». Он поселил ее в доме № 11 по бульвару Мадлен, подарил ей двухместную голубую карету и двух чистокровных лошадей. Благодаря ему и другим поклонникам квартира Мари Дюплесси была всегда украшена цветами, и не только камелиями, а всеми цветами, какие только можно было достать в это время года. Она, однако, боялась роз, от запаха которых у нее кружилась голова; больше всего она любила камелии, эти цветы без запаха. «Ее заточили,— писал Арсен Гуссэ,— в крепость из камелий...»

Мари Дюплесси старалась знаками привлечь внимание толстой женщины, с которой Дюма был слегка знаком, — немного модистики, а преимущественно сводни, по имени Клеманс Пра. Эжен Дежазе хорошо знал эту особу, которая тоже жила на бульваре Мадлен и была соседкой Мари Дюплесси. Мари села в свою карету и покинула Варьете, не дожидаясь конца спектакля. Немного погодя фиакр высадил Дюма, Дежазе и Клеманс Пра у дверей дома Клеманс, где они должны были ждать дальнейшего развития событий. В романе «Дама с камелиями» Дюма рассказывает об этой сцене, но там он превратил Штакельберга в «старого герцога», а Клеманс Пра назвал Прюданс Дювернуа.

«— Старый герцог сейчас у вашей соседки? — спросил я Прюданс.

— Нет, она должна быть одна.

— Но ей, наверное, ужасно скучно!

— Мы часто проводим вечера вместе. Когда она возвращается, она зовет меня к себе. Она обычно не ложится до двух часов ночи. Она не может раньше заснуть.

— Почему?

— Потому что у нее больные легкие, и ее почти всегда лихорадит».

Вскоре Мари крикнула из своего окна Клеманс, чтобы та пришла и освободила ее от докучливого гостя, графа N, который до смерти ей надоел.

— Никак не могу, — сказала Клеманс Пра. — У меня сидят два молодых человека: сын Дежазе и сын Дюма.

— Берите их с собой. Я буду рада кому угодно, лишь бы избавиться от графа. Приходите скорее!

Все трое поспешили на ее зов и застали в гостиной соседнего дома Мари за фортепьяно и графа, прислонившегося к камину.

Она любезно приняла молодых людей, а с графом обращалась так грубо, что он вскоре откланялся. Мари сразу развеселилась. За ужином все много смеялись, но Дюма было грустно. Он восхищался бескорыстием этой женщины, которая прогнала богатого поклонника, готового ради нее разориться; он страдал, видя, как это возвышенное существо пьет без удержу, «ругается, как грузчик, и тем охотнее смеется, чем непристойнее шутки». От шампанского ее щеки полыхали лихорадочным

румянцем. К концу ужина она зашла в кашле и убежала.

— Что с ней? — спросил Эжен Дежазе.

— Она слишком много смеялась, и у нее началось кровохарканье, — ответила Клеманс Пра.

Дюма пошел к больной. Она лежала, уткнувшись лицом в софу. Серебряный таз, в котором виднелись сгустки крови, стоял на столе.

«Я приблизился к ней, но она не обратила на меня никакого внимания; я сел и взял ее руку, лежавшую на диване.

— Ах, это вы? — сказала она с улыбкой. — Разве вы тоже больны?

— Нет, но вы... вам все еще плохо?

— Ничего, я уже к этому привыкла.

— Вы себя убиваете, — сказал я ей взволнованным голосом. — Мне хотелось бы быть вашим другом, вашим родственником, чтобы помешать вам губить себя.

— Чем объяснить такую преданность моей особе?

— Той непреодолимой симпатией, которую я питаю к вам.

— Значит, вы в меня влюблены? Так скажите об этом прямо, это проще.

— Если я и признаюсь вам в любви, то не сегодня.

— Лучше будет, если вы этого никогда не сделаете.

— Почему?

— Потому что это может привести только к двум вещам.

— К каким?

— Либо я вас отвергну, и тогда вы на меня рассердитесь. Либо сойду с вами, и тогда у вас будет незавидная любовница: женщина нервная, больная, грустная; а если веселая, то печальным весельем. Подумайте только, женщина, которая харкает кровью и тратит сто тысяч франков в год! Это хорошо для богатого старика, но очень скучно для такого молодого человека, как вы... Все молодые любовники покидали меня.

Я ничего не ответил, я слушал. Эта ужасная жизнь, от которой бедная девушка бежала в распутство, в пьянство и в бессонницу, так ошеломила меня, что я онемел.

— Однако, — продолжала она. — мы говорим глупости. Дайте мне руку, и вернемся в столовую».

Почему она стала его любовницей? Он был беден, а страстные признания в любви ей доводилось выслушивать не меньше десяти раз на дню. Но он продолжал свои атаки с пламенным упорством. «Эта смесь веселости, печали, искренности, продажности и даже болезни, которая развила в ней не только повышенную раздражительность, но и повышенную чувственность, возбуждали страстные желания обладать ею...» В ней жила трогательная непосредственность, «временами она страстно рвалась к более спокойной жизни... Пылкая, она легко поддавалась искушению и была падка на наслаж-

дения, но при этом не теряла гордости и сохраняла достоинство даже в падении».

Молодому Дюма не были чужды благородные порывы: любовь к матери научила его жалеть всех женщин, несправедливо выброшенных из общества. Чистосердечный, несмотря на всю свою пресыщенность, он сочувствовал их горестям, умел вызывать их на откровенность и угадывал слезы под маской притворного веселья. К куртизанкам он был бесконечно снисходителен. Он считал их не преступницами, а жертвами. Они были благодарны ему за то уважение, которое он им выказывал в их унижении. И нет никакого сомнения, что именно это привлекало к нему Мари Дюплесси. Однажды она сказала ему: «Если вы пообещаете беспрекословно выполнять все мои желания, не делать мне никаких замечаний, не задавать никаких вопросов, быть может, в один прекрасный день я соглашусь вас полюбить...»

Какой юноша в двадцать лет откажется дать такое невыполнимое обещание? И на время Мари бросила почти всех своих богатых покровителей ради этого серьезного и красивого «пажа». Ей доставляло удовольствие, вновь превратившись в гризетку, гулять с ним по лесу или по Елисейским Полям. В ее комнате, «где на возвышении стояла великолепная кровать работы Буля, ножки которой изображали фавнов и вакханок», она давала ему упоительные «пиршества плоти». Ах, как ему нравились ее огромные глаза, окруженные черными кругами, ее невинный взгляд, гибкая талия и «сладострастный аромат, которым было пронизано все ее существо».

Дюма-отец рассказывает о том, каким образом сын поведал ему о своей победе.

«Проследуйте за мной во Французский театр; там в этот вечер давали, кажется, «Воспитанниц Сен-Сирского дома». Я шел по коридору, когда дверь одной из лож бенуара отворилась, и я почувствовал, что меня хватают за фалды фрака. Оборачиваюсь. Вижу — Александр.

— Ах, это ты! Здравствуй, голубчик!

— Войдите в ложу, господин отец.

— Ты не один?

— Вот именно. Закрой глаза, а теперь просунь голову в щелку, не бойся, ничего худого с тобой не случится.

И действительно, не успел я закрыть глаза и просунуть голову в дверь, как к моим губам прижались чьи-то трепещущие, лихорадочно горячие губы. Я открыл глаза. В ложе была прелестная молодая женщина лет двадцати — двадцати двух. Она-то и наградила меня этой отнюдь не дочерней лаской. Я узнал ее, так

как до этого видел несколько раз в ложах авансцены. Это была Мари Дюплесси, дама с камелиями.

— Это вы, милое дитя? — сказал я, осторожно высвобождаясь из ее объятий.

— Да, я, а вас, оказывается, надо брать силой? Ведь мне хорошо известно, что у вас совсем иная репутация, так почему же вы столь жестоко ко мне? Я уже два раза писала вам и назначала свидания на балу в Опера...

— Я полагал, что ваши письма адресованы Александру.

— Ну да, Александру Дюма.

— Я полагал, Александру Дюма-сыну.

— Да бросьте вы! Конечно, Александр — Дюма-сын. Но вы вовсе не Дюма-отец. И никогда им не станете.

— Благодарю вас за комплимент, моя красавица.

— И все-таки почему вы не пришли?.. Я не понимаю.

— Я вам объясню. Такая красивая девушка, как вы, приглашает на любовное свидание мужчину моих лет лишь в том случае, если ей что-нибудь от него нужно. Итак, чем могу быть вам полезен? Я предлагаю вам свое покровительство и освобождаю вас от своей любви.

— Ну, что я тебе говорил! — воскликнул Александр.

— Тогда, я надеюсь, вы разрешите, — сказала Мари Дюплесси с очаровательной улыбкой и взмахнула длинными черными ресницами, — еще навестить вас, сударь?

— Когда вам будет угодно, мадемуазель...

Я поклонился ей так низко, как поклонился бы только герцогине. Дверь закрылась, и я очутился в коридоре. В тот день я в первый раз целовал Мари Дюплесси. В тот день я видел ее последний раз. Я ждал Александра и прекрасную куртизанку. Но спустя несколько дней он пришел один.

— В чем дело? — спросил я его. — Почему ты ее не привел?

— Ее каприз прошел: она хотела поступить в театр. Все они об этом мечтают! Но в театре надо учить роли, репетировать, играть — это тяжкий труд... А ведь куда легче встать в два часа пополудни, не спеша одеться, сделать круг по Булонскому лесу, вернуться в город, пообедать в Кафе де Пари или у «Братьев-провансальцев», а оттуда отправиться в Водевиль или Жимназ, провести вечер в ложе, после театра поужинать и вернуться часам к трем утра домой, или отправиться к кому-нибудь, чем заниматься тем, что делает мадемуазель Марс! Моя дебютантка уже была о своем призвании... И потом, мне кажется, она очень больна.

— Бедняжка!

— Да, ты прав, что жалеешь ее. Она гораздо выше того ремесла, которым вынуждена заниматься.

— Надеюсь, ты испытываешь к ней не любовь?

— Нет, скорее жалость, — ответил Александр.

Больше я никогда не разговаривал с ним о Мари Дюплесси...

Дюма-сын придерживался гораздо более строгих правил, чем Дюма-отец. Мари Дюплесси читала «Манон Леско». Она хотела заставить этого красивого юношу играть при ней роль де Грие. Он отказался. А чего бы он хотел? Перевоспитать ее? Убедить изменить свой образ жизни? Она, возможно, смогла бы это сделать,

так как была скорее сентиментальна, чем корыстна. Дюма сам сказал о Мари: «Она была одна из последних представительниц той редкой породы куртизанок, которые обладали сердцем». Но суммы, потраченной на один вечер с Мари: билеты в театр, камелии, конфеты, ужин, всевозможные прихоти,— было достаточно, чтобы разорить молодого Александра. Он мало зарабатывал и был вынужден беспрестанно обращаться к отцу, который, хотя и сам часто сидел без денег, все же давал ему время от времени записку на имя госпожи Порше — билетерши, продававшей его билеты, с просьбой выдать сыну сто франков.

Александр Дюма-сын — госпоже Порше: «Вы сказали, сударыня: «Потерпите несколько дней». Но это равносильно тому, что попросить человека, которому вот-вот отрубят голову, сплясать ригодон или сочинить каламбур. Да через несколько дней я стану миллионером! Я получу пятьсот франков. Если я обращаюсь к вам, если я надоедаю вам своими просьбами, так это потому, что впал в такую нищету, что мог бы дать несколько очков вперед Иову, а ведь он был самым бедным человеком древности. Если вы не пришлете мне с моим посланцем сто франков, я куплю на последние гроши кларнет и пуделя и буду давать представления под окнами вашего дома, написав большими буквами на животе: «Подайте литератору, оставленному милостями госпожи Порше!» Хотели бы вы, чтоб я представил вам в качестве залога свою голову? Чтоб я кричал: «Да здравствует республика!»? Чтоб я женился на мадемуазель Моралес? Или бы вы предпочли, чтоб я отправился в Одеон, чтоб я восхищался талантом Кашарди, носил складные шляпы? Что бы вы мне ни приказали, я все выполняю — только пришлите мне эти сто франков. И еще лучше, если пришлете побольше.

Ваш покорнейший слуга *А. Дюма*

Мне совершенно безразлично, пришлете ли вы эти сто франков серебром или банковскими билетами, так что не утруждайте себя».

Каждое утро Мари Дюплесси присылала ему приказ на день: «Дорогой Адé...» Из инициалов своего любовника она сделала прозвище. Вечером он заезжал за ней. Они обедали, ехали в театр, потом снова возвращались в будуар Мари, где в огромных китайских вазах стояли цветы без запаха. «Однажды,— писал он,— я ушел от нее в восемь часов утра, и вскоре настал день, когда я ушел от нее в полдень».

Вы помните ль еще те ночи? Страсть пылала.

И поцелуи жгли, и обрывался стон.

Вас лихорадило. Потом глаза устало

Вы закрывали вдруг и погружались в сон.

(*А. ДЮМА-сын. «Грехи юности».*)

Часто она не могла заснуть, выходила из спальни в пеньюаре из белой шерсти, накинутом на голое тело, «садилась на ковер перед камином и грустно следила за игрой пламени в очаге». В такие минуты Дюма страстно любил ее. В другие он боялся оказаться обманутым. Он знал, что она часто лжет ему, возможно из деликатности. Штакельберг по-прежнему занимал какое-то место в ее жизни, так же как и человек более молодой — Эдуар Перрего, по отцу — внук знаменитого финансиста, председателя Французского банка, по матери — герцога Тарентского. На розовой бумаге, сложенной треугольником, Мари Дюплесси писала ему:

«Вы доставили бы мне большое удовольствие, дорогой Эдуар, если бы посетили меня сегодня вечером в Водевилье (ложе № 29). Не могу пообедать с тобой: чувствую себя очень плохо». И на бледно-голубой бумаге: «Нед, дорогой, сегодня в Варьете будет совершенно необычайное представление по случаю бенефиса Буфф... Ты доставишь мне большое удовольствие, если сможешь добыть для меня ложу. Ответь мне, дорогой друг, тысячу раз целую твои глаза...»

Неду она говорила: «Сегодня я проведу вечер с Зелией», — и проводила его с Дюма. С Дюма же она играла роль кающейся грешницы. Когда однажды у нее спросили, почему она так любит лгать, она расхохоталась и ответила: «От лжи зубы белеют». Она тщательно пыталась «примирить любовь и дела».

И для Дюма вслед за несколькими днями счастья потянулись долгие месяцы подозрений, тревог и угрызений совести. Он полагал, что разрывается между Любовью и Честью. Сколько суетности скрывают эти слова с большой буквы!

К исходу второго месяца ласки сменились упреками. Теперь он реже видел Мари. Она чувствовала, что он отдалается.

«Дорогой Аде,— писала она,— почему ты не даешь о себе знать и почему ты не напишешь мне обо всем искренне? Мне кажется, что ты мог бы относиться ко мне как к другу. В ожидании вестей от тебя нежно целую тебя, как любовница или как друг — по твоему выбору. И в любом случае остаюсь преданной тебе Мари».

30 августа 1844 года он решил порвать с ней.

Александр Дюма-сын — Мари Дюплесси:

«Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне хотелось бы, и не настолько беден, чтобы быть любимым

так, как хотелось бы вам. И поэтому давайте забудем оба: вы — имя, которое вам было, должно быть, почти безразлично; я — счастье, которое мне больше недоступно. Бесплезно рассказывать вам, как мне грустно, потому что вы и сами знаете, как я вас люблю. Итак, прощайте. Вы слишком благородны, чтобы не понять причин, побудивших меня написать вам это письмо, и слишком умны, чтобы не простить меня. С тысячью лучших воспоминаний.

А. Д.

30 августа. Полночь».

Когда художник расстается с любимой женщиной, любовь начинает новую жизнь в его воображении. Исчезнувшая Мари постоянно занимала мысли Аде.

Глава четвертая

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТНЮДЬ НЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

После разрыва отца с Идой Ферье и сына с Мари Дюплесси оба Дюма съехались. Оба вели жизнь беспорядочную и ни в чем не стесняли друг друга. Сын стал любовником актрисы Водевиля Анаис Льевенн. Во время ужина, который она давала у «Братьев-провансальцев», и была спровоцирована ссора, которая кончилась дуэлью (приобретшей потом скандальную известность) между талантливым журналистом Дюжарье, заведующим отделом романов-фельетонов в «Пресс», и профессиональным бретером Роземоном де Бовалоном, предательски убившим своего противника, как говорили тогда, по приказу и за деньги соперничавших изданий. В борьбе за подписчиков газеты теперь не гнушались даже убийствами.

Сначала Бовалон был оправдан, но решением кассационного суда его дело передали руанскому суду, который приговорил его к восьми годам заключения. Оба Дюма, вызванные на суд в качестве свидетелей, приехали в Руан со своими любовницами, за что общественное мнение сурово осудило их.

В письме Нестора Рокплана его брату Камиллу мы читаем:

«Что до Дюма (отца), то он выставил себя на посмешище своим ответом председателю суда. «Ваша профессия?» — спросили его. «Я сказал бы, драматург, если б не жил на родине Корнеля». Гиацинт, мой актер, спародировал эту плоскую остроуту. Когда его, как сержанта национальной гвардии, вызвали принести присягу, он должен был объявить о роде своих занятий. И он отве-

тил: «Я сказал бы, драматический актер, если б тут не было Брендо из Комеди Франсез».

На этом процессе Дюма, который хотел выказать себя знатоком в вопросах чести, человеком рафинированным и завзятым бретером, навсегда скомпрометировал само понятие «джентльмен», настолько он им злоупотреблял. На премьере его пьесы «Дочь регента» первого же актера, который произнес слово «джентльмен», ошквали и осvistали... Во время руанского процесса отец и сын Дюма и их дамы вели общее хозяйство...»

Дюма-сын, должно быть, страдал от столь широкой гласности.

В 1846 году отец и сын с радостью ухватились за возможность уехать из Парижа. Они вместе совершили большое путешествие по Испании и Алжиру. Почему по Алжиру? Потому что граф Сальванди, министр просвещения, посетив эту прекрасную страну, заметил: «Как жаль, что об Алжире так мало знают! Но как его популяризировать?» Его спутник, писатель Ксавье Мармье, ответил: «А знаете, господин министр, что я сделал бы, будь я на вашем месте? Я постарался бы каким-нибудь образом устроить так, чтобы Дюма проделал то же путешествие, что и мы, и написал об этом два-три тома путевых записок... Их прочтут три миллиона человек, а пятьдесят—шестьдесят тысяч из них, возможно, всерьез заинтересуются Алжиром».

— Дельная мысль,— согласился министр.— Я об этом подумаю.

По возвращении в Париж Нарцисс де Сальванди, который и сам был литератором (он принял, правда, без особого энтузиазма, Виктора Гюго во Французскую академию), пригласил Дюма на обед.

— Мой дорогой поэт,— сказал он,— вы должны оказать нам услугу.

— Поэт может оказать услугу министру! С удовольствием, хотя бы в честь столь редкой просьбы. О чем идет речь?

Сальванди рассказал о своем проекте и предложил десять тысяч франков на путевые расходы. Дюма величественно ответил:

— Я добавлю сорок тысяч из своего кармана и совершу это путешествие.

И так как министр был удивлен непомерностью суммы, то Дюма объявил, что берет с собой (за свой счет) своего сына Александра, соавтора Огюста Маке и художника Луи Буланже. Он просит только, чтобы в его

распоряжение предоставили военный корабль, на котором он мог бы совершать прогулки вдоль берегов Алжира.

— Вот как! — сказал министр.— Но вы хотите, чтоб мы оказали вам такие почести, какие обычно оказывают только принцам крови.

— А как же иначе? Если для меня сделают лишь то, что и так доступно каждому, не стоило меня беспокоить. Я и сам могу написать в дирекцию пассажирского пароходства и попросить оставить для меня каюту.

— Пусть будет по-вашему, вы получите ваш военный корабль. Когда вы намереваетесь отправиться в путь?

— Мне еще надо закончить два-три романа. На это потребуется две недели.

Но почему Испания? Потому что на следующий день после аудиенции у министра Дюма обедал у его королевского высочества герцога де Монпансье.

В 1842 году герцог Орлеанский, наследник престола, покровитель писателей, друг Виктора Гюго и Александра Дюма, скоропостижно скончался в результате дорожной катастрофы. Непоправимая утрата для Франции! Большое горе для Дюма, который хранил, как реликвию, полотенце, пропитанное кровью несчастного принца. Несколько лет спустя на премьере «Мушкетеров», состоявшейся 27 октября 1845 года¹, Дюма представили пятому сыну Луи-Филиппа, юному герцогу де Монпансье. Герцог был с ним очень любезен, говорил о той дружбе, которую питал к Дюма его покойный брат, герцог Орлеанский, и дал драматургу разрешение основать новый театр под названием Исторический театр, Европейский театр или даже Театр Монпансье. Дюма будет ведущим автором и директором этого нового театра, где, помимо своих пьес, он должен будет ставить Шекспира, Кальдерона, Гёте и Шиллера.

Эта привилегия возбудила всеобщую зависть.

Нестор Рокплан—своему брату, художнику Камиллу Роклану:

«Все только и делают, что гоняются за голосами, покровителями, депутатами и принцами. Принцу вообще свойственна крайняя решительность в театральных делах. Герцог Монпансье на днях преподнес Дюма огромный театр. Затея эта настолько нелепа и

¹ «Мушкетеры» (пятиактная пьеса, подписанная Дюма и Маке) была поставлена четырьмя годами раньше драмы «Юность мушкетеров», продолжением которой она являлась и первое представление которой состоялось 17 февраля 1849 года.

комична, что, бьюсь об заклад, не пройдет и года, как он обанкротится и попадет в лапы коммерческого суда. Поведение Дюма совершенно неслыханно. Вот как он рассуждает: «За семнадцать лет театры заработали на моих пьесах десять миллионов; за пять лет каждая из четырех газет ежегодно заработала на моих романах триста тысяч франков. Я хочу иметь театр, который приносил бы мне эти миллионы, и газету, которая одна могла бы дать миллион двести тысяч франков...» Тем временем за ним охотятся судебные исполнители, и в самый разгар пиршества, которое он закатил комедиантам из Амбигю, игравшим в «Мушкетерах», его арестовывают судебные приставы. Содержанка его сына, актриса Водевила мадемуазель Льевенн, стоит 2 тысячи франков в месяц... Дюма утверждает, что он уже заказал декорации для семи пятиактных пьес, которые написал недели две тому назад, ужиная с любовницей. Веселость, беспечность, прожектерство, остроумие, безалаберность, безрассудство этого малого, его цветущее здоровье и плодovitость совершенно феноменальны».

Разрешение было выдано на имя Ипполита Остена, молодого человека — немного врача, немного критика, немного драматурга, который был в свое время секретарем Комеди Франсез и директорам нескольких театров. Необходимый капитал дали герцог Монпансье и владелец Пассажа — Жофруа. Дюма брал на себя финансовую ответственность за антрепризу. Они купили земельный участок на углу Бульвара и Фобур дю Тампль — там за время путешествия Дюма по Алжиру должны были построить огромный театр.

Обедая у Монпансье, Дюма рассказал ему о своем разговоре с Сальванди.

— Великолепная мысль! — сказал молодой принц. — Только непременно поезжайте через Испанию, чтобы присутствовать на моей свадьбе.

10 октября 1846 года герцог Монпансье должен был сочетаться браком с четырнадцатилетней испанской инфантой Луизой-Фернандой, младшей сестрой и признанной наследницей королевы Изабеллы II. Этот союз, благодаря которому испанский трон мог в один прекрасный день достаться французу, не давал покоя английским министрам. Дюма в тот же день послал приглашения Огюсту Маке, Луи Буланже и своему сыну.

Виктор Гюго по этому поводу писал:

«Александра Дюма послали в Испанию присутствовать в качестве историографа на свадьбе герцога Монпансье. Вот как добывали деньги на это путешествие: полторы тысячи франков отпустило министерство просвещения из фонда «Поощрения и пособия литераторам», еще полторы тысячи — из фонда «Литературных поручений», министерство внутренних дел выдало три тысячи франков из кассы особого фонда, господин де Монпансье —

двенадцать тысяч франков. Общая сумма составила восемнадцать тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал: «Ну что ж, этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам».

Оставалось найти образцового слугу. Ресторатор Шье-ве предложил Дюма абиссинского негра с ароматным именем О-де-Бенжуэн — Бензойский бальзам. Они поехали по железной дороге, новому для того времени способу передвижения, и Дюма тут же начал путевой дневник:

«До нас донеслось зловонное дыхание локомотива; огромная машина сотрясалась; скрежет металла раздирал нам уши; фонари стремительно проносились мимо, будто блуждающие огоньки на шабаше; оставляя за собой длинный хвост искр, мы мчались к Орлеану...»

Много шума из ничего! Но под пером Дюма даже локомотив превращался в персонаж драмы. В «Записках» Дюма изображает Маке человеком серьезным, храбрым и порядочным, хотя несколько консервативным и тяжелым на подъем. Луи Буланже — художником-мечтателем, которому все кажется величественным (недаром он был лучшим другом Виктора Гюго). Что касается Александра Дюма-сына, то он «соткан из света и тени... Он гурман и воздержан в еде, он расточителен и экономен, пресыщен и чистосердечен, он изо всех сил издевается надо мной и любит меня всем сердцем. И, наконец, может в любой момент ограбить меня, как Валер и биться за меня, как Сид... К тому же он бесшечно храбр и всегда готов вскочить на коня, выхватить шпагу, пистолет или ружье. Время от времени мы соримся, и тогда он покидает отчий дом; но в тот же день я покупаю тельца и начинаю его откармливать...»

Рассказ о путешествии по Испании четырех мушкетеров в сопровождении черного Гримо читается увлекательно, как роман. Одному бою быков отведена добрая сотня страниц. При виде крови Маке теряет сознание, Александру Второму тоже не по себе, он просит принести стакан воды. Воду приносят. «Вылейте ее в Мансарес, — острит Дюма, — ей это нужнее». Проезжая мимо, он заметил, что река обмелела. Описания ночных схваток с хозяевами *posados*, или *paradores*¹, как их называют в Испании, достойны пера Сервантеса. Испанские танцы нарисованы с изяществом, присущим луч-

¹ Трактиров (исп.).

шим страницам Готье. Отец и сын бредят балконами, гитарами, дуэньями и пылкими красотками. Дюма-сын имел немало приключений и описал их в стихах, обращенных к Кончите или Анне-Марии. В них он, идя по стопам Мюссе, рифмовал Севилью с мантильей и Прадо с досадой.

Прелестны вы, и кто хоть раз
Увидел ваши руки, плечи,
Увидел блеск влюбленных глаз,
Тот не забудет этой встречи,
Тот вечно будет помнить вас.

Монпансье дал в Мадриде большой прием в честь приехавших французских писателей и художников. Испанцы и сами спешили выказать Дюма свое восхищение: «Меня лучше знают и, пожалуй, больше чтут в Мадриде, чем во Франции. Испанцы находят в моих произведениях нечто *кастильское*, и это им весьма по вкусу. Что это правда, видно хотя бы из того, что я стал командором ордена Изабеллы Католической прежде, чем сделался кавалером Почетного легиона...»

Однако на Кювийе-Флери, бывшего наставника герцога Омальского, который сопровождал французских принцев в Испанию, прославленный путешественник произвел не такое хорошее впечатление, как на самого себя: «Прибыл Дюма, посланный Сальванди с этой дурацкой миссией. Он потолстел, подурнел и вульгарен до ужаса...» Но Кювийе-Флери был нетерпим и совершенно лишен чувства юмора.

Обе «испанские свадьбы» должны были состояться одновременно: свадьба королевы Изабеллы II с инфантом доном Франсиско Ассизским (по прозвищу Пакита) и свадьба Монпансье с «сестрой Изабеллы, более красивой, чем королева, у которой были прекрасные глаза, великолепные волосы, гордо посаженная головка и очаровательное личико». Двойной брак благословили в присутствии всего испанского двора в зале Послов Восточного дворца, а на следующий день церемонию повторили в соборе *Nuestra Señora de los Atocha*¹; на ней присутствовал и восхищенный Александр Дюма. Через несколько дней (17 октября 1846 года) Дюма обедал у католической королевы в колонном зале. Стол был накрыт на сто персон.

¹ Божьей Матери Аточской (исп.).

«Мы затерялись среди людей, которые не знали ни слова на нашем языке,— писал Кювийе-Флери.— У Александра Дюма, как и у меня, по правую руку сидел епископ, по левую — камергер с ключом, перекинутым за спину. Но так как ключ этот не отмыкает уста, то Дюма вынужден был пожирать обед молча, а путевые наблюдения ограничить тонзурой своего соседа. «В жизни не встречал епископа уродливее»,— заметил он после обеда...»

Четверо новобрачных обошли все залы. Изабелла II, которой едва исполнилось шестнадцать лет, была с ног до головы усыпана бриллиантами, но «кожа у нее слишком темная и щеки лоснятся». Предсказывали, что с годами «она станет такой же безобразно толстой, как и ее бабушка». Король-супруг (таков был отныне официальный титул Паkitы) казался девчонкой, одетой в форму дивизионного генерала; он говорил писклявым голосом. Молодые правители, двоюродные брат и сестра, объединенные браком по политическим соображениям, ненавидели друг друга с детства. И, наоборот, инфанта Луиза-Фернанда, герцогиня де Монпансье, гордая своим Прекрасным Принцем, вся светилась от счастья. «Восхитительное существо! — писал Кювийе-Флери.— Лицо ее дышит прелестью и лукавством...»

18 октября 1846 года Дюма-сын, которого, несмотря на Кончиту и Антонию, преследовали воспоминания о Мари Дюплесси, написал ей из Мадрида, умоляя простить его. Он раскаивался в несправедливой суровости.

«Мутье приехал в Мадрид и сказал мне, что, когда он покидал Париж, вы были больны. Разрешите мне присоединиться к числу тех, кого глубоко огорчают ваши страдания.

Через неделю после того, как вы получите это письмо, я буду в Алжире. Если я найду на почте хотя бы записочку от вас, из которой узнаю, что вы простили мне то, что я совершил почти год назад, я возвращусь во Францию менее грустным, если вы отпустите мне грехи,— и совершенно счастливым, если найду вас в добром здравии.

Ваш друг А. Д.»

Когда догорели огни последних фейерверков, Александр Первый и его «двор» отправились в Алжир. Там не было недостатка в развлечениях: плавание на военном корабле «Велос» («Стремительный»), визит к маршалу Бюжо, освобождение французских пленных из рук арабов (Дюма столько о нем рассказывал, что в конце концов сам в это поверил), банкет в его честь на Алжирском рейде, охота на орла, покупка грифа, которого

он окрестил Югуртой, прогулка с остановкой в Тунисе (куда он в нарушение всех правил привел французский военный корабль).

Зато какой скандал подняла палата по его возвращении! — Как могло случиться, что военный корабль вместе с командой предоставили в распоряжение увеселителя публики? — Почему, — вопрошал граф Каstellан, — министр доверил «научную миссию» автору романов-фельетонов? — Правда ли, — осведомлялся Мальвиль, депутат от Перигора, — что министр сказал: Дюма открывает Алжир господам депутатам, которые о нем ничего не знают? — Но Сальванди не спасовал перед крикунами. Что касается Дюма, то он послал им секундантов: депутаты не приняли вызова, ссылаясь на парламентскую неприкосновенность. Мушкетер играл в этом деле самую выигрышную роль.

Это кульминационный пункт карьеры Дюма. Власти обращаются с ним как с особой королевского ранга. С появлением каждого нового романа увеличивается список его триумфов. Романы эти Маке и Дюма, или Дюма-Маке, переделывают в драмы, на которые стекаются толпы народу. Спектакль «Мушкетеры» в Амбигю начинается в половине седьмого и кончается в час ночи. Теофиль Готье писал в своем фельетоне:

«У нас хватает времени познакомиться с героями, привыкнуть к их повадкам и поверить в их реальность... Пьеса, — добавлял он, — выдержит столько же представлений, сколько номеров газеты занял роман. А это не так уж мало... Успех этой пьесы, — продолжает Готье, — тем более замечателен, что в ней нет и намека на любовь — там нет даже Арисии, чтобы кинуть кость петиเมตรам. Правда, петиметры никогда не ходят на Бульвары. Притягательная сила пьесы в идеях дружбы и верности — благородных идеях, которые и сами по себе достойны стать содержанием любой драмы. В союзе четырех храбрецов, объединивших свои помыслы, сердца, силу и доблесть, есть нечто трогательное. Эти четыре брата — братья не по крови, а по духу — образовали такую семью, о которой можно только мечтать. Кто в пору доверчивой юности не пытался установить такие же отношения; но — увы! — они распались при первой же трудности или первом же соперничестве — по вине Ореста ли, Пилада ли, не все ль равно? В этом успех романа и успех пьесы...»

Суждение умное и даже глубокое. Да, только неиссякаемой щедростью природы Дюма-отца можно объяснить его удивительный успех и его безраздельное господство на сцене и в подвалах газет.

Глава пятая
СМЕРТЬ МАРИ ДЮПЛЕССИ

Мы воздадим ей лучшую хвалу, сказав: душе ее так быстро наскучила жизнь, которую вело ее тело, что она убила его, чтобы положить конец этому существованию.

Поль де Сен-Виктор

На письмо из Мадрида молодой Дюма не получил никакого ответа, и вот почему.

Мари никогда не хотела разрыва с ним. Но она «привыкла к тому, что все ее привязанности попираются, привыкла заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, и постепенно стала,— пишет Жюль Жанен,— ко всему безразличной. О сегодняшней любви она помышляла не больше, чем о завтрашнем увлечении». Безразличной? Нет, скорее смирившейся. Она «тосковала по тишине, покою и любви. У нее была душа гризетки, которая приспособлялась, как могла, к телу куртизанки». Куртизанка старалась привлечь богатых любовников: Штакельберга, Перрего; гризетка искала друга сердца, который мог бы заменить ей Аде.

И она нашла Франца Листа, которого ей представил в ноябре 1845 года лечивший ее доктор Корев, странная личность, похожая на персонажей Гофмана, полушарлатан, полугений. Лист — великий музыкант, «прекрасный, как полубог», только что порвал свою продолжительную связь с Мари Агу.

Он был одним из наиболее заметных людей своего времени. «Мадемуазель Дюплесси вас хочет, и она вас завоеует», — сказал Жанен виртуозу.

Она и впрямь завоевала его, и он никогда не смог ее забыть. «Вообще мне не нравятся такие женщины, как Марион Делорм или Манон Леско. Но эта была исключением. Она отличалась удивительной добротой...» И все же Лист отказался связать свою жизнь с прекрасной куртизанкой и даже не пожелал поехать путешествовать с ней по Востоку, чего ей очень хотелось.

Эдуар Перрего пригласил Мари в другое путешествие, весьма неожиданного свойства. Он увез ее в Лондон, и там 21 февраля 1846 года сочетался с ней гражданским браком перед регистратором графства Мидл-

секс. Она стала графиней Перрего. Но при заключении брака, по всей вероятности, не были соблюдены необходимые формальности, так как церковное оглашение не было опубликовано. Он не мог считаться действительным во Франции, потому что не был утвержден французским генеральным консулом в Лондоне, как того требовал закон. К тому же по возвращении в Париж супруги по взаимному согласию вернули друг другу свободу. Так к чему же тогда этот необъяснимый брак? Возможно, Перрего надеялся крепче привязать к себе Мари Дюплесси; возможно, он хотел удовлетворить прихоть умирающей: у Мари к тому времени развилась скоротечная чахотка, и она знала, что часы ее сочтены. Лондонская свадьба *in extremis*¹ позволила ей украсить дверцы своей кареты гербовыми щитами. «Лишь самые интимные друзья, самые надежные советчики» знали, что она имеет на это право. У поставщиков, которым она задолжала, вошло в привычку адресовать счета на имя «графини дю Плесси».

Но на самом деле она к этому времени чувствовала себя слишком плохо, чтобы быть по-настоящему женой или любовницей. «Волнующая бледность» ее щек сменилась лихорадочным румянцем. Она пыталась искусственно возродить свою былую красоту при помощи блеска драгоценностей. Она разъезжала по модным курортам, переселялась из Спа в Эмс — восхитительная танцовщица, Мари продолжала вызывать восхищение; но с каждым новым местом ее состояние только ухудшалось. В счетах отелей стоит: «Молоко... Вливания...»

Мари Дюплесси — Эдуару Перрего:

«Я молю вас на коленях, дорогой Эдуар, простить меня; если вы меня еще любите, напишите мне всего два слова, слова прощения и дружбы. Напишите мне до востребования, Эмс, герцогство Нассау. Я здесь одинока и очень больна. Итак, дорогой Эдуар, скорее — прощение. До свидания.»

По возвращении в Париж Мари в течение нескольких недель еще появлялась на балах — лишь призрак, тень своей былой красоты. Потом настал день, когда она уже не смогла более покидать квартиру на бульваре Мадлен. Ей минуло двадцать три года, и она была обречена. И вот в ее комнате появились «налой, крытый трипом» и «две позолоченные Девы Марии». Иногда по вечерам, надев белый пеньюар и обмотав голову красной

¹ Перед самой кончиной (лат.).

кашемировой шалью, она садилась у окна и наблюдала, как проходят мимо светские дамы и кавалеры, направляясь ужинать после театра.

Так как она не могла больше зарабатывать деньги своим истощенным телом, ей пришлось продать одну за другой почти все драгоценности, которые она так любила. Когда она умирала, у нее из всех украшений оставались лишь два браслета, одна коралловая брошь, хлысты и два маленьких пистолета. Эдуара Перрего, пришедшего навестить ее, она не приняла. Она умерла 3 февраля 1847 года, в самый разгар карнавала, за несколько дней до масленицы, которую Париж в те времена бурно праздновал. Шум веселья врывается в окна маленькой квартирки, где лежала в агонии Мари Дюплесси. Викарий церкви святой Магдалины пришел причастить ее, затем, перекусив, отправился восвояси. «На ветоину для священника,— записала в книге расходов горничная,— два франка».

5 февраля 1847 года толпа любопытных следовала за погребальным катафалком, «украшенным белыми венками». За дрогами, обнажив головы, шли лишь двое из прежних друзей Мари Дюплесси: Эдуар Перрего и Эдуар Делессер. Мари похоронили временно на Монмартрском кладбище, потом, 16 февраля, в жирный четверг, тело ее эксгумировали и предали земле на участке, приобретенном Эдуаром Перрего за 526 франков в вечную собственность.

В этот день «низко нависшее небо было темным и мрачным, к полудню небеса разверзлись и потоки ливня хлынули на маскарадное шествие, а ночью во всех уголках Парижа сотни разбушевавшихся оркестров с помпой провожали карнавал».

Дюма-сын, путешествовавший по Алжиру и Тунису, ничего не знал о долгой агонии своей бывшей возлюбленной. Возвращаясь во Францию, он много думал о Мари. Он никогда не переставал любить эту редкую и трогательную женщину. «Куда бы я ни шел, воспоминания о наших ночах преследовали меня»,— писал он. Что, впрочем, отнюдь не мешало ему не отказываться от тех приключений, которые выпадали на его долю во время путешествия. Из Туниса он вернулся в Алжир, чтобы встретить там Новый год. 3 января 1847 года пассажиры «Велоса» («Стремительного») пересели на пакетбот «Ориноко», 4-го они прибыли в Тулон, на следу-

ющий день — в Марсель. Оттуда Дюма-отец поспешил в Париж, куда его призывали дела Исторического театра. Дюма-сын соблазнился гостеприимством д'Отрана, Мери и возможностью закончить вдали от Парижа плутовской роман «Приключения четырех женщин и одного попугая», о выходе которого уже объявил издатель Кадо.

О смерти Мари он узнал в Марселе. Это известие повергло его в грусть и раскаяние. Нельзя сказать, что он плохо поступил с Мари, но он обошелся слишком сурово, а значит, и несправедливо с бедной девушкой, чья жизнь была столь тяжелой, что ее ни в чем нельзя винить. Недовольный собой, он решил с жаром взяться за работу и расплатиться со всеми долгами. Но такую клятву гораздо легче дать, чем сдержать. Когда он возвратился в Париж, ему в глаза бросилось объявление, возвещавшее о посмертной продаже мебели и «предметов роскоши» в доме № 11 по бульвару Мадлен. Лиц, желающих что-нибудь приобрести, приглашали посетить квартиру, где была выставлена вся движимость. Дюма-сын помчался туда. Он вновь увидел мебель розового дерева, бывшую некогда свидетельницей его короткого счастья, тончайшее белье, облекавшее нежное и прелестное тело, платья покойницы, право обладать которыми будут оспаривать так называемые порядочные женщины. Он был потрясен и, возвратившись домой, написал свое лучшее стихотворение:

Расстался с вами я, а почему — не знаю,
Ничтожным повод был: казалось мне, любовь
К другому скрыли вы... О суета земная!
Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь?

Потом я вам писал о скором возвращенье,
О том, что к вам приду и буду умолять,
Чтоб даровали вы мне милость и прощенье.
Я так надеялся увидеть вас опять!

И вот примчался к вам. Что вижу я, о Боже!
Закрытое окно и запертую дверь.
Сказали люди мне: в могиле черви гложут
Ту, что я так любил, ту, что мертва теперь.

Один лишь человек с поникшей головою
У ложа вашего стоял в последний час.
Друзья к вам не пришли. Я знаю: только двое
В последнем шествии сопровождали вас.

Благословляю их. Они одни посмели
С презрением отнестись к тому, что скажет свет,
Умершей женщине не на словах — на деле
Отдав последний долг во имя прошлых лет.

Те двое до конца ей верность сохраняли,
Но лорд ее забыл, и князь прийти не мог.
Они ее любовь за деньги покупали
И не могли купить надгробный ей венок.

Чарльз Диккенс присутствовал на аукционе. «Там собрались все парижские знаменитости,— писал он графу д'Орсэ.— Было много великосветских дам, и все это избранное общество ожидало торгов с любопытством и волнением, исполненное симпатии и трогательного сочувствия к судьбе девки... Говорят, она умерла от разбитого сердца.

Что до меня, то я, как грубый англосакс, наделенный малой толикой здравого смысла, склонен думать, что она умерла от скуки и пресыщенности. Глядя на всеобщую печаль и восхищение, можно подумать, что умер национальный герой или Жанна д'Арк. А когда Эжен Сю купил молитвенник куртизанки, восторгу публики не было конца».

Диккенс, несмотря на свою сентиментальность, был, как он сам признавал, слишком англосаксом, чтобы его могла тронуть участь женщины легкого поведения. Дюма же купил «на память» золотую цепочку Мари. Распродажа дала 80 917 франков, что с лихвой покрыло пассив наследства. Мари Дюплесси завещала деньги, которые останутся после уплаты долгов, своей нормандской племяннице (дочери ее сестры Дельфины и ткача Паке), поставив условием, чтобы наследница никогда не приезжала в Париж.

Жизнь и смерть Мари Дюплесси сыграли решающую роль в моральной эволюции Дюма-сына. Его отец, как и все романтики, воспевал права страсти, но сам очень скоро перестал следовать этим идеалам. Любовницам типа Мелани Вальдор он предпочитал снисходительных и непостоянных девиц. Его сын с двадцати лет тоже пристрастился к необременительным увлечениям, но пример матери показал ему, к каким печальным последствиям приводят подобные связи; судьба Мари окончательно убедила его, что комедия удовольствия в жизни, увы, часто оборачивается трагедией.

В мае 1847 года он отправился на прогулку в Сен-Жермен и вспомнил тот день, когда он скакал по лесу с Эженом Дежазе. Оттуда друзья отправились в Варье-

те, что положило начало его роману с Мари. Александр снял комнату в отеле «Белая лошадь», перечитал письма Мари и написал о ней роман под названием «Дама с камелиями». С начала века у поэтов вошло в привычку описывать в стихах свои увлечения. Гюго, Санд, Мюссе и даже Бальзак романтизировали таким образом свои связи. Книга Дюма-сына не автобиография, хотя, конечно, в основе этой истории лежит роман автора с Мари Дюплесси, которая в книге получила имя Маргариты Готье. В действительности Дюма сразу отказался от мысли возродить грешницу к новой жизни. В романе Арман Дюваль пытается вернуть ее на стезю добродетели.

«Я убежден в одном: женщине, которую с детства не научили добру, Бог открывает два пути, ведущие к нему,— путь страдания и путь любви. Они трудны: те, кто на них вступает, стирают до крови ноги, раздирают руки, зато они оставляют украшения порока на придорожных колючках и приходят к цели в той наготе, в которой не стыдно предстать перед Господом».

Роль отца Дюваля, его визит к Маргарите Готье, решение Маргариты продать лошадей и драгоценности, чтобы любовью искупить свои грехи, героическое самоотречение куртизанки, жертвующей собой, чтобы не повредить любимому человеку,— все это придумал Дюма, точно так же как и душераздирающие письма покинутой, разоренной, умирающей Маргариты. Нельзя представить, чтобы Дюма-отец мог устроить в жизни подобную сцену Маргарите Готье. В его привычках было скорее завоевывать куртизанок, чем защищать их добродетель.

Роман имел огромный успех. Все женщины — содержанки или просто согрешившие — были глубоко растроганы. «Туберкулез и бледность приобрели теперь мрачное очарование». Через несколько дней после выхода книги в свет автор встретил драматурга Сиродена, и тот сказал ему: «Почему бы вам не сделать драму из вашего романа? Ведь это, мой дорогой,— плодородная почва, ее не следует оставлять невозделанной».

Дюма-сын поговорил с отцом. Отец в ту пору единовластно правил Историческим театром, открывшимся 21 февраля 1847 года постановкой «Королевы Марго». Создавая этот театр, Дюма, как всегда, носился с грандиозными прожектами. Он хотел повторить на сцене то, что уже совершил в своих романах,— воспроизвести на-

циональную историю, создав пьесы на манер греческих трагедий и хроник Шекспира.

Спектакль получился блестящий и — бесконечно долгий. Он начинался в шесть часов вечера и кончался только к трем часам утра.

«Да,— писал на следующий день в своей рецензии Теофиль Готье,— Дюма совершил чудо, сумев удержать публику натошак девять часов кряду на своих местах. Правда, ближе к концу, в коротких антрактах, зрители начали поглядывать друг на друга так, будто они на плоту «Медузы», и те, кто пожирней, уже начинали тревожиться за свою судьбу. Слава Богу, нам все же не пришлось оплакивать ни одной жертвы каннибализма; но на будущее, если дирекция еще собирается ставить драмы в пятнадцать картинок с прологом и эпилогом, ей следует добавлять на афишах: «Большой выбор блюд...»

Десять тысяч зевак собрались на улице перед театром, чтобы поглазеть на зрителей и на фасад. Узкое здание торжественно вздымалось между двумя огромными домами на бульваре Тампль. Оно казалось оригинальным, потому что в отличие от большинства тогдашних театров не походило ни на «биржу, ни на храм, ни на гауптвахту, ни на музей. Архитектору, а возможно и Дюма, пришла в голову мысль стилизовать подмостки, на которых играли в бродячих театрах, заменив две бочки двумя кариатидами, поддерживающими балкон. Теофиль Готье хвалил архитектора Сешана за то, что тот не поддался искушению построить вместо театрального здания Парфенон.

«Только подчеркивая целевое назначение здания,— указывал Теофиль Готье,— и максимально используя полезные элементы, современная архитектура найдет те новые формы, которые она тщетно ищет». На фресках внутри помещения были изображены все старые друзья Дюма: Софокл, Аристофан, Эсхил, Еврипид, Корнель, Расин, Мольер, Мариво, а кроме того, Тальма и мадемуазель Марс. Дюма, подобно древним, любил окружать себя своими богами.

Герцог Монпансье и молоденькая пятнадцатилетняя герцогиня присутствовали на премьере, которая затянулась далеко за полночь. Беатриса Персон, которую Дюма-отец в ту пору жаловал своим вниманием, играла роль королевы-матери Екатерины Медичи. Деятнадцатилетняя актриса была явно молода для этой роли, но любовь великих людей возлагает короны на самые неподходящие головы. «Королеву Марго» на афишах сме-

нил «Гамлет», странный «Гамлет», адаптированный Дюма, который, сочтя развязку слишком мрачной, не стал, в отличие от Шекспира, убивать принца Датского.

Дюма-сын надеялся, что вслед за драмами его отца на сцене Исторического театра появится «Дама с камелиями».

— Нет,— сказал Александр Первый,— сюжет «Дамы с камелиями» не годится для театра, я бы никогда не смог ее поставить.

Сына задели слова отца, тем более что многие профессиональные драматурги предлагали ему переделать его роман в пьесу. «А почему бы мне не взяться за это самому?» — подумал он. И скрылся на восемь дней в своем маленьком домике в Нейи. Так как у него не было времени выйти купить бумаги, он писал на любых клочках, какие только попадались ему под руку. Закончив пьесу, он тут же помчался к отцу. Тот, по-прежнему убежденный в нелепости этой затеи, из родительских чувств все же согласился прослушать пьесу. После первого акта он сказал: «Очень хорошо!» После второго Александру Второму пришлось отлучиться по неотложному делу. Вернувшись, он застал Александра Первого, только что закончившего чтение пьесы, в слезах.

«Мой дорогой мальчик,— сказал он, обнимая сына,— я ошибался. Твоя пьеса принята Историческим театром».

Но дни Исторического театра были уже сочтены. Франция стояла на пороге драм куда более реальных, чем те, которые создавали Дюма-Маке. Господствующая монархия катилась к гибели. Господствующая литературная школа дряхлая. В феврале 1847 года скончался Фредерик Сулье, автор первой «Христины». Парижане толпами стекались на его похороны: он был очень популярен, его «Хуторок Женэ» имел шумный успех. Массы, бурлившие в предвкушении грядущей революции, хранили верность тем, кто говорил им о надежде и милосердии: Ламартину, Гюго, Мишле, Дюма, Санд, Сулье. На кладбище Виктор Гюго произнес речь. В ту самую минуту, когда отзвучал последний залп над открытой могилой, в толпе раздались крики: «Александр Дюма! Александр Дюма!»

Дюма вышел вперед, хотел заговорить, но слезы душили его. Впрочем, и сами по себе они были достаточно красноречивы. «Седой гривой он походил на старого

барана, огромным брюхом — на быка», — записал Рокплан. Фредерик Сулье был одним из его первых друзей-литераторов. Это он, призвав на помощь пятьдесят столбцов со своей фабрики, спас «Христину» от свистков партера. Ветеран романтической школы, он умер молодым и разочарованным. «Париж, — писал он, — это бочка Данаид: вы кидаете туда иллюзии юности, замыслы зрелых лет, раскаяние старости — он поглощает все и ничего не дает взамен». Дюма-сын, сопровождавший отца, услышал в толпе такой разговор:

— Ну и народу собралось!

— На похоронах Беранже будет еще больше. Придется пускать специальные поезда.

А через месяц, 20 марта, пришел черед мадемуазель Марс. Ей одной из живых выпала честь быть изображенной на фресках Исторического театра. В день открытия кто-то сказал: «Мадемуазель Марс попала в компанию мертвых: теперь она долго не протянет». Пророчество сбылось. Гюго пришел на отпевание, которое состоялось на кладбище Мадлен.

Огромную толпу, собравшуюся у входа в церковь, освещало яркое солнце. Гюго, прислонившись к колонне, остался стоять под перистилем вместе с Жозефом Отраном и Огюстом Маке.

«Там были люди в блузах, — писал Гюго, — которые высказывали живые и верные мысли о театре, об искусстве, о поэтах... Наш народ нуждается в славе. И когда нет ни Маренго, ни Аустерлица, он любит Дюма и Ламартинов и окружает их славой... Александр Дюма пришел со своим сыном. Толпа узнала его по взлохмаченной шевелюре и стала выкрикивать его имя... Катафалк тронулся, мы пешком следовали за ним. Собралось добрых десять тысяч человек. Казалось, что этот мрачный поток толкает перед собой катафалк, на котором развевались гигантские черные плюмажи... Дюма дошел до кладбища вместе с сыном... Актрисы Французского театра, в глубоком трауре, несли огромные букеты фиалок; они бросили их на гроб мадемуазель Марс».

Самым большим был букет Рашель, соперницы покойной.

Но хотя парижане почитали и чествовали Дюма, кредиторы не оставляли его ни на минуту в покое; директор журнала затеял против него процесс за нарушение контракта. Сын защитил его в великолепном стихотворении:

Мыслитель и поэт! Отец мой! Значит, снова
Литературные гнетут тебя оковы,
И вынужден ты вновь, свой продолжая путь,

Других обогащать,— они всегда на страже;
А твой удел таков, что ты не смеешь даже
В конце недели отдохнуть.

В окне твоём всегда — и вечером, и ночью,
И в час, когда петух зарю уже пророчит,—
Я вижу лампы свет, извечный свет труда.
Да! К каторге тебя приговорил твой гений:
За двадцать долгих лет ночных трудов и бдений
Свободы обрести не мог ты никогда.

Работай! Если вдруг ты завтра, обессилив,
Французский спустишь флаг, которым осенили
Тебя в стране, где ты добро был сеять рад,
Лжецы, гордящиеся предками своими,
Пигмеи-Мирабо, чтоб их узнали имя,
Обрушат на тебя злых оскорблений град.

Работай, мой отец! Я у дверей на страже.
Мне, право, все равно, что эти люди скажут
О будущем моем: путь изберу я свой
И обойдусь без них, питомцев лжи и лени.
Теперь же долг велит спасти от оскорблений
Отцовской славы блеск: я — верный часовой.

Отныне сын будет заботиться об отце, у которого
появится печальная потребность в помощи сына.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
МОНТЕ-КРИСТО

Глупцы и чудаки более человечны,
чем нормальные люди.

Поль Валери

Глава первая
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

Имя Монте-Кристо — ключ к пониманию как творчества, так и жизни Дюма. Так назвал он свой самый популярный после «Трех мушкетеров» роман, и так же назвал он тот чудовищный дом, который был предметом его гордости и причиной его разорения; это имя лучше всего вызывает в нашей памяти его извечные мечты о роскоши и справедливости.

Как родилась у Дюма идея книги? Это произошло не сразу. В «Беседах» Дюма рассказывает, что в 1842 году, в бытность свою во Флоренции, Жером Бонапарт, экс-король Вестфалии, поручил ему сопровождать своего сына (принца Наполеона) на остров Эльбу — одно из самых священных для императорского дома мест. Дюма было тогда сорок лет, принцу — восемнадцать; однако писатель оказался молсже своего подопечного. Они пристали к Эльбе, исходили остров вдоль и поперек, а затем отправились поохотиться на соседний островок Пианозу, где в изобилии водились зайцы и куропатки. Их проводник, окинув взглядом вздымавшуюся над морем живописную скалу, напоминающую по форме сахарную голову, сказал:

— Если ваши превосходительства соблаговолят посетить этот остров, они смогут там великолепно поохотиться.

— А как называют этот благословенный остров?

— Его называют островом Монте-Кристо.

Это имя очаровало Дюма.

— Монсеньор, — обратился он к принцу, — в память

о нашем путешествии я назову «Монте-Кристо» один из романов, который когда-нибудь напишу.

Вернувшись на следующий год во Францию, Дюма заключил с издателями Бетюном и Плоном договор, по которому обязался написать для них восьмитомный труд под общим заглавием «Парижские путевые записки». Дюма намеревался совершить продолжительную прогулку в глубины истории и археологии, но издатели сказали ему, что они мыслят этот труд совершенно иначе. Им вскружила головы удача Эжена Сю, чьи недавно вышедшие «Парижские тайны» имели потрясающий успех; им хотелось бы, чтобы Дюма написал для них приключенческий роман, действие которого разворачивалось бы в Париже.

Убедить Дюма было нетрудно, его не пугали самые дерзкие проекты. Он сразу же принялся за поиски интриги. А между тем когда-то, давным-давно, он заложил страницу в пятом томе труда Жака Пеше «Записки. Из архивов парижской полиции». Его поразила одна из глав под названием «Алмаз отщепенца». «История эта сама по себе,— писал потом Дюма в письме, свидетельствовавшем о его неблагодарности,— была попросту глупой. Однако она походила на раковину, внутри которой скрывается жемчужина. Жемчужина бесформенная, необработанная, не имеющая еще никакой ценности,— короче говоря, жемчужина, нуждавшаяся в ювелире...»

Сам Пеше когда-то действительно служил в парижской префектуре полиции. Из архивных папок он сумел извлечь шесть томов «Записок», которые и ныне могли бы послужить неисчерпаемым источником для авторов бульварных романов. Вот та любопытная история, которая привлекла внимание Александра Дюма.

В 1807 году жил в Париже молодой сапожник Франсуа Пико. Он был беден, но очень хорош собой и имел невесту. В один прекрасный день Пико, надев свой лучший костюм, отправился на площадь Сент-Оппортюн, к своему другу, кабатчику, который, как и он сам, был уроженцем города Нима. Кабатчик этот, Матье Лупиан, хотя его заведение и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В кабачке Пико встретил трех своих земляков из Гара, которые тоже были друзьями хозяина. Когда они принялись подшучивать над его франтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице сироте Маргарите

Вигору; у влюбленной в него девушки было к тому же приданое в сто тысяч франков золотом. Четверо друзей онемели от изумления, так поразила их удача сапожника.

— А когда состоится свадьба?

— В следующий вторник.

Не успел Пико уйти, как Лупиан, человек завистливый и коварный, сказал:

— Я сумею отсрочить это торжество.

— Как? — спросили его приятели.

— Сюда с минуты на минуту должен прийти комиссар. Я скажу ему, что, по моим сведениям, Пико является английским агентом. Его подвергнут допросу, он натерпится страху, и свадьба будет отложена.

Однако наполеоновская полиция в те времена не любила шутить с политическими преступниками, и один из трех земляков, по имени Антуан Аллю, заметил:

— Это скверная шутка.

Зато остальным идея показалась забавной.

— Когда и повеселиться, как не на карнавале, — говорили они.

Лупиан сразу же приступил к делу. Ему повезло: он напал на недостаточно осмотрительного, но весьма ретивого комиссара, который счел, что ему представляется возможность отличиться и, даже не произведя предварительного следствия, настроил донос на имя министра полиции, самого Савари, герцога Ровиго. Герцог был в то время очень обеспокоен повстанческим движением в Вандее. «Этот Пико, — подумал он, — несомненно тайный агент Людовика XVIII». И вот бедного малого поднимают среди ночи с постели, и он бесследно исчезает. Родители и невеста пытаются навести справки, но розыски не дают никаких результатов, и они в конце концов смиряются: отсутствующий всегда виноват.

Проходит семь лет. Наступил 1814 год. Империя Наполеона пала. Человек, до времени состарившийся от перенесенных страданий, выходит из замка Фенестрель, где он пробыл в заключении целых семь лет... Это Франсуа Пико, изможденный, ослабевший, изменившийся до неузнаваемости. Там, в тюрьме, Пико преданно ухаживал за арестованным по политическим мотивам итальянским прелатом, дни которого были сочтены. Перед смертью тот на словах завещал ему все свое состоя-

ние и, в частности, спрятанный в Милане клад: алмазы, ломбардские дукаты, венецианские флорины, английские гинеи, французские луидоры и испанские монеты.

По выходе из замка Пико пускается на поиски клада, а найдя его, прячет в надежное место и под именем Жозефа Люше возвращается в Париж. Там он появляется в квартале, в котором жил до ареста, и наводит справки о сапожнике Пьере-Франсуа Пико, том самом, который в 1807 году собирался жениться на богатой мадемуазель Вигору. Ему рассказывают, что причиной гибели этого юноши была злая шутка, которую сыграли с ним во время карнавала четыре весельчака. Невеста Пико два года его оплакивала, а потом, сочтя, что он погиб, согласилась выйти замуж за кабатчика Лупиана — вдовца с двумя детьми. Пико осведомляется об остальных участниках карнавальской шутки. Кто-то говорит ему: «Вы можете узнать их имена у некоего Антуана Аллю, который проживает в Ниме».

Пико переодевается итальянским священником и, зашив в одежду золото и драгоценности, отправляется в Ним, где он выдает себя за аббата Балдини. Антуан Аллю, прельстившись прекрасным алмазом, называет имена трех остальных участников роковой карнавальской шутки. А через несколько дней в кабачок Лупиана нанимается официант по имени Проспер. Этому человеку с лицом, изможденным страданиями, одетому в поношенный костюм, можно дать на вид не менее пятидесяти лет. Но это тот же Пико в новой личине. Оба уроженца Нима, имена которых выдал Аллю, по-прежнему остаются завсегдатаями кабачка. Как-то один из них, Шамбар, не приходит в обычное время. Вскоре становится известно, что накануне в пять часов утра он был убит на мосту Искусств. В ране торчал кинжал с надписью на рукоятке: «Номер первый».

От первого брака у кабатчика Лупиана остались сын и дочь. Дочь его, девушка лет шестнадцати, хороша как ангел. В городе появляется хлыщ, выдающий себя за маркиза, обладателя миллионного состояния. Он соблазняет девушку. Забеременев, она вынуждена во всем признаться Лупиану. Лупиан легко и даже с радостью прощает дочь, поскольку элегантный господин выражает полную готовность сделать своей женой ту, которая в недалеком будущем станет матерью его ребенка. Он и впрямь сочетается с ней гражданским и церковным

браком, но сразу после благословения, когда гости готовятся приступить к свадебному ужину, разносится весть о том, что супруг бежал. Супруг этот оказался выпущенным из заключения каторжником и, разумеется, не был ни маркизом, ни миллионером. Родители невесты вне себя от ужаса. А в следующее воскресенье дом, где живет семья и помещается кабачок, сгорает дотла в результате загадочного поджога. Лупиан разорен. Лишь два человека ему верны: это его друг Солари (последний оставшийся в живых из бывших завсегдатаев кабачка) и официант — виновник всех несчастий, постигших ничего не подозревающего кабачка. Как и следовало ожидать, Солари, в свою очередь, погибает от яда. К черному сукну, покрывающему его гроб, прикреплена записка с надписью печатными буквами: «Номер второй».

Сын кабачка молодой Эжен Лупиан — безвольный шалопад. Хулиганам, неизвестно откуда появившимся в городе, без труда удастся втянуть его в свою компанию. Вскоре Эжен попадает на краже со взломом, и его приговаривают к двадцати годам тюремного заключения. Семейство Лупиан скатывается в бездну позора и нищеты. Деньги, добрая репутация, счастье — все исчезает в стремительной лавине следующих одна за другой катастроф. «Прекрасная мадам Лупиан», урожденная Маргарита Вигору, умирает от горя. Так как у нее с Лупианом не было детей, остатки ее состояния Лупиан вынужден вернуть родственникам, которые являются ее прямыми наследниками. И тут на сцену выступает официант Проспер: он предлагает разоренному хозяину все свои сбережения при условии, что прелестная Тереза, дочь Лупиана и жена беглого каторжника, станет его любовницей. Чтобы спасти отца, гордая красавица соглашается.

От бесконечных несчастий Лупиан на грани безумия. И вот однажды вечером в темной аллее Тюильри перед ним внезапно возникает человек в маске.

— Лупиан, помнишь ли ты 1807 год?

— Почему именно 1807-й?

— Потому что в этом году ты совершил преступление.

— Какое преступление?

— А не припоминаешь ли ты, как, позавидовав другу своему Пико, упрятал его в тюрьму?

— Бог покарал меня за это... жестоко покарал.

— Не Бог тебя покарал, а Пико, который, чтобы утолить жажду мщения, заколол Шамбара, отравил Солари, сжег твой дом, опозорил твоего сына и выдал гвою дочь за каторжника. Так знай, что под личиной официанта Проспера скрывался Пико. А теперь настал твой последний час, потому что ты будешь Номером третьим.

Лупиан падает. Он убит. Пико уже у выхода из Тюильри, но тут его хватает чья-то железная рука, ему затыкают рот и куда-то увлекают под покровом темноты. Он приходит в себя в подвале, где находится с глаз на глаз с незнакомым человеком.

— Ну как, Пико? Я вижу, мщение кажется тебе детской забавой? Ты потратил десять лет жизни на то, чтобы преследовать трех несчастных, которых тебе следовало бы пощадить... Ты совершил чудовищные преступления и меня сделал их соучастником, потому что я выдал тебе имена виновников твоего несчастья. Я — Антуан Аллю. Издалека следил я за твоими злодеяниями. И, наконец, понял, кто ты такой. Я поспешил в Париж, чтобы разоблачить тебя перед Лупианом. Но, видно, дьявол был на твоей стороне и тебе удалось опередить меня.

— Где я нахожусь?

— Не все ли тебе равно? Ты там, где тебе не от кого ждать ни помощи, ни милосердия.

Мсть за мсть. Пико зверски убит. Его убийца уезжает в Англию. В 1828 году Аллю, тяжело заболев, призывает католического священника, который под его диктовку записывает во всех подробностях этот леденящий кровь рассказ, и разрешает священнику после его смерти передать эту исповедь французскому суду.

Исповедник в точности исполняет последнюю волю Антуана Аллю и передает этот бесценный документ в архивы парижской полиции, где с ним и ознакомился Жак Пеше.

Для Дюма, Бальзака или Эжена Сю в этой истории заключался готовый роман. И не только для них, но и для читающей публики. Уже в течение многих тысячелетий страждущее человечество утешает себя мифами о торжестве справедливости. Из мифических персонажей наибольшей популярностью пользуются Волшебник и

Вершитель Правосудия. Униженные и оскорбленные с надеждой, не ослабевающей от разочарований, уповают на Бога или героя, который исправит все ошибки, покарает злодеев и вознаградит наконец праведников, посадив их одесную. Древние наделяли Вершителя Правосудия большой физической силой; примером тому может служить Геракл. Дюма в память о своем отце-генерале с успехом воскресил в образе Портоса миф о Геракле.

В «Тысяче и одной ночи» Вершитель Правосудия становится магом. Сила его носит уже не столько физический, сколько оккультный характер. Он может спасти невинного, уведя его далеко от преследователей, может открыть беднякам пещеры, полные драгоценностей.

В эпоху Дюма Волшебник превращается в набоба, обладателя гигантского состояния, которое позволяет ему осуществлять самые дерзновенные фантазии. Дюма всегда мечтал быть таким распределителем земных благ. И в пределах, к сожалению, весьма ограниченных его собственными денежными затруднениями, он тешил себя, играя эту роль по отношению к своим друзьям и любовницам. Все его золото можно было уложить в один кубок, но он расшвыривал его жестом столь широким, что ему мог позавидовать любой набоб. Дюма доставляло большое удовольствие сделать своего героя баснословным богачом, пригоршнями раскидывающим направо и налево сапфиры, алмазы, изумруды и рубины. К тому же Дюма очень хотелось, чтобы этот герой был бы еще и мстителем во имя великой цели. Ведь и у самого Дюма, несмотря на всю широту его натуры, накопилось много обид как против общества, так и против отдельных личностей. Его отца-генерала травили, самого Дюма преследовали кредиторы, обливали грязью всевозможные клеветники. Он разделял со многими обиженными ту жажду мщения, которая еще со времен «Орестей» вдохновляла людей на создание стольких шедевров. И ему очень хотелось хотя бы в романе вознаградить себя за все те несправедливости, которые он терпел от общества.

Пеше дал ему готовую интригу. А подлинные истории могут служить великолепной основой, если к ним приложит руку настоящий художник. Дюма уже довольно далеко зашел в своей работе, когда его друг Маке пробудил в нем некоторые сомнения.

«Я рассказал ему о том, что я сделал, и о том, что мне еще оставалось сделать.

— Мне кажется,— заметил он,— что вы опускаете самые интересные моменты жизни героя... а именно — его любовь к Каталонке, измену Данглара и Фернана, десятилетнее заключение с аббатом Фариа.

— Я расскажу обо всем этом,— говорю я.

— Не можете же вы *рассказывать* четыре или пять томов, а здесь получится не меньше.

— Возможно, вы правы. Приходите ко мне завтра. Мы потолкуем об этом.

Весь вечер, всю ночь и утро я думал о его замечаниях, и они показались мне настолько справедливыми, что под конец совсем вытеснили мой первоначальный замысел. И вот когда Маке на следующий день зашел ко мне, он увидел, что роман разбит на три четко разграниченные части, озаглавленные: Марсель — Париж — Рим. В тот же вечер мы совместно с Маке набросали план первых пяти частей. Первую часть мы отвели под экспозицию, в трех последующих речь должна была идти о заточении в замке Иф, в пятой — о бегстве из замка и вознаграждении семейства Морель. Все остальные части, хоть и не были разработаны в деталях, были в общем ясны.

Маке считал, что он оказал мне всего-навсего дружескую услугу. Я полагаю, что он проделал работу соавтора...»

А теперь настало время рассказать о том, как Дюма использовал «Записки» Пеше.

Герой Дюма, Эдмон Дантес, как и Франсуа Пико, готовится к свадьбе с любимой девушкой в тот самый момент, когда над ним разражаются невероятные несчастья. Как в истории, рассказанной Пеше, невеста Пико выходит замуж за Лупиана, так и у Дюма рыбак Фернан отнимает у Эдмона Мерседес. Но Дюма раздвоил личность Лупиана: он сделал на его материале двух героев — Фернана и предателя Данглара. Следователь Вильфор, видевший в гибели Дантеса лишь средство сделать карьеру, имел живым прототипом того самого ретивого комиссара, который с такой готовностью принял на веру клеветнический донос Лупиана.

Аббат Фариа, товарищ Эдмона Дантеса по заточению в замке Иф, становится на место миланского прелата, завещавшего свои сокровища Франсуа Пико. После того как он бежал из замка и стал богат, Дантес последовательно перевоплощается в аббата Бузони, в Синдбада-морехода, в лорда Уилмора и в графа Монте-Кристо, точно так же Пико выдавал себя за Жозефа Люше, аббата Балдини и официанта Проспера.

Не оставил без внимания Дюма и тот факт, что дочь Лупиана, обольщенная самозванцем, надеялась,

выйдя замуж за уголовного преступника, выдававшего себя за маркиза, породниться с самыми знатными домами. Этот эпизод легко поддавался романизации. И он, в свою очередь, вводит в дом Дангларов Бенедетто, незаконного сына Вильфора, осужденного за мошенничество, воровство и подлоги и сосланного на тулонскую каторгу. Убежав с каторги, этот арестант так удачно выдает себя за итальянского князя, что очаровательная Эжени, дочь Данглара, отдает ему руку. В день, когда должно состояться торжественное подписание брачного контракта, жениха арестуют по обвинению в убийстве.

Но не из «Записок» было взято гениальное, мгновенно запечатлевающееся в памяти название романа «Граф Монте-Кристо». В реторту с таинственным составом, из которого выходят шедевры, было подбавлено новое бесценное вещество, и произошло это в тот самый день, когда Дюма отправился охотиться на островок близ Эльбы.

Живой Пико был слишком кровожаден в своей мести, чтобы стать популярным героем. И Дюма сделал Дантеса не свирепым убийцей, а неумолимым мстителем. Пико собственноручно убивает своих врагов. Он мстит за себя сам, тогда как Дантес направляет руку судьбы. Фернан, успевший стать генералом, графом де Морсером и супругом Мерседес, кончает жизнь самоубийством, Данглар разорен, Вильфор сходит с ума. Чтобы бросить луч света в это царство мрака и заодно придать роману колорит «Тысячи и одной ночи», Дюма снабжает Монте-Кристо любовницей гречанкой Гайдэ, дочерью паши Янины. Именно о такой великолепной рабыне всю жизнь мечтал сам Дюма.

К концу книги Эдмон Дантес, пресытившись мщением, наделяет приданым дочь своего врага мадемуазель Вильфор и выдает ее замуж за сына своего друга Мореля. Но когда молодые люди хотят отблагодарить своего благодетеля и спрашивают у моряка Джакопо: «Где граф? Где Гайдэ?» — Джакопо указывает рукой на горизонт.

«Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидели белый парус не больше крыла морской чайки».

Итак, «Граф Монте-Кристо» заканчивается так же, как заканчиваются фильмы Чаплина — кадром, на котором мы видим силуэт человека, уходящего вдаль.

В КОТОРОЙ РОМАН ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ

В блокноте этом наш Дюма
Ведет расходам счет. Но только
Важнейшей нет графы там: сколько
Он в день расходует ума.

Роже де Бовуар

Успех «Графа Монте-Кристо» превзошел все предыдущие успехи Дюма. Париж был без ума от романа, и сам Дюма больше, чем любой другой парижанин. Он никогда не проводил четкой грани между своими романами и личной жизнью. Ему доставило огромное удовольствие вести через посредство Эдмона Дантеса столь бесподобное существование, и он захотел пережить нечто подобное в реальной жизни. Разве он не был набобом от литературы? Разве он не зарабатывал двести тысяч франков золотом в год? Так почему же ему не построить замок Монте-Кристо?

С 1843 года Дюма, сохраняя за собой квартиру в Париже, снял (за две тысячи франков в год) виллу «Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ и взял в аренду театр этого маленького городка. Он пригласил туда Комеди Франсез, кормил артистов и обеспечивал их жильем, брал на себя гарантии за выручку и терял на этом деле кучу денег. Зато его двор, гарем и зверинец весело копошились вокруг него, а доходы железной дороги из Парижа в Сен-Жермен сразу поднялись. Толпы любопытных стекались в Сен-Жермен, чтобы поглазеть на великого человека. И он, знатный вельможа, пожимал руки, отпускал остроты и первый смеялся над ними.

Удивленный король спросил однажды у министра Монталиве:

— Отчего в Сен-Жермене царит такое оживление?

— Сир,— последовал ответ,— желает ли ваше величество, чтобы Версаль веселился до упаду? Дюма за пятнадцать дней возродил Сен-Жермен — прикажите ему провести две недели в Версале.

Но не в Версале, а по дороге из Буживаля в Сен-Жермен купил Дюма поросший лесом участок, чтобы возвести замок своей мечты. Он привел на этот склон архитектора Дюрана и сказал ему:

— Вот здесь вы разобьете мне английский парк, в центре его я хочу построить замок в стиле Возрож-

дения, напротив — готический павильон, окруженный водой... На участке есть ручьи. Вы создадите каскады...

— Но, господин Дюма, здесь глинистая почва. Все ваши строения поползут.

— Господин Дюран, вы будете копать, пока не дойдете до туфа... Вы отведете два подземных этажа под погреба и своды.

— Это вам обойдется в несколько сотен тысяч франков.

— Надеюсь, никак не меньше, — ответил Дюма, расплываясь в счастливой улыбке.

Самое удивительное, что он и впрямь осуществил свой замысел. Парк, разбитый на английский манер, большой и живописный, по сей день поражает своими романтическими ивами и зелеными лужайками. Два флигеля соединены решеткой, достойной украшать замок феодального сеньора. По другую сторону дороги, ведущей в Марли-ле-Руа, стоят очаровательные службы (в стиле Вальтера Скотта), которые по современным представлениям могли бы считаться самостоятельными загородными домиками. Сам «замок», по сути дела, представляет собой обыкновенную виллу, причем настолько эклектичную по стилю, что она производит впечатление дикое и вместе с тем трогательное. Бальзак восхищался ею и завидовал Дюма. Напрасно!

Окна, скопированные с окон замка д'Анэ, вызывают в памяти Жана Гужона и Жермена Пилона. Саламандры на лепных украшениях заимствованы из герба, пожалованного Франциском Первым городу Вилле-Котре — родине Александра Дюма. Скульптурные изображения великих людей от Гомера до Софокла, от Шекспира до Гёте, от Байрона до Виктора Гюго, от Казимира Делавиня до Дюма-отца образуют фриз вокруг дома. Над парадным входом девиз владельца замка: «Люблю тех, кто любит меня». Над фасадом в стиле Генриха II вздымается восточный минарет. Архитектура эпохи трубадуров соседствует с Востоком «Тысячи и одной ночи». Крыша утыкана флюгерами. Апартаменты небольшие, зато на редкость разностильные, состоят из пятнадцати комнат, по пяти на каждом этаже, — и все это венчают обшитые панелями мансарды. Главный зал — белый с золотом — выдержан в стиле Людовика XV, Араб-

ская комната украшена гипсовыми арабесками тонкой работы, на которых еще можно прочесть изречения из Корана, хотя позолота и яркие краски вязи везде уже облупились.

В двухстах метрах от «замка» возвышается удивительное строение в готическом стиле — нечто среднее между миниатюрной сторожевой башней и кукольной крепостью. Маленький мостик перекинут через ров, заполненный водой. На каждом камне высечено название одного из произведений Дюма. Весь первый этаж занимает одна комната, лазурный потолок ее усыпан звездами. Стены обтянуты голубым сукном, над резным камином — рыцарские доспехи. Сундуки в стиле средних веков, стол, вывезенный из трапезной какого-то разоренного аббатства. Здесь Дюма почти не мешали работать. Спиральная лестница вела в келью, где он иногда проводил ночь. Дозорная площадка позволяла ему наблюдать за гуляющими по парку гостями. Все вместе производило впечатление лилипутского величия.

Леон Гозлан был в восторге.

«Я могу сравнить эту жемчужину архитектуры,— писал он,— только с замком королевы Бланш в лесу Шантийи и домом Жана Гужона... У здания усеченные углы, каменные балконы, витражи, свинцовые оконные рамы, башенки и флюгера... Оно не принадлежит к определенной эпохе — его нельзя отнести ни к античности, ни к средневековью. В нем, однако, есть нечто возрожденческое, и это придает ему особое очарование... Дюма, который лучше, чем кто бы то ни было, знает талантливых людей своего времени, заказал все статуи, украшающие замок, Огюсту Прео, Джеймсу Прадье и Антонену Миму... По фризу первого этажа он распорядился расположить бюсты великих драматургов всех веков, в том числе и своего...»

Гозлан рассыпался в похвалах тунисским скульпторам за «тонкость и изящество работы, какую увидишь разве что на мавританских плафонах Альгамбры; сложный резной узор кажется роскошным кружевом... Я вне себя от восхищения... В Трианоне нет ни одного плафона, равного тому, который тунисец создал для «Монте-Кристо». С центрального балкона открывается вид еще более прекрасный, чем тот, которым мы наслаждаемся с высоты террас Сен-Жермена...»

Гозлан здесь выказывает себя больше Монте-Кристо, чем сам Монте-Кристо. На самом деле «замок» был всего-навсего причудливой, нелепой и маленькой виллой, где Дюма, однако, жил как знатный вельможа.

На новоселье (25 июля 1848 года) Дюма пригласил к обеду шестьсот гостей. Обед заказали в знаменитом ресторане («Павильон Генриха Четвертого» в Сен-Жермене), столы накрыли на лужайке. В курильницах дымилась благовония. Повсюду красовался девиз маркизов де ля Пайетри: «Ветер раздувает пламя! Господь воспламеняет душу!» Сияющий Дюма рассказывает среди приглашенных. На скюртуке его сверкают кресты и ордена. Поперек блестящего жилета перекинута массивная золотая цепь. Он обнимает хорошеньких женщин и всю ночь напролет рассказывает чудесные истории. Никогда в жизни он не был так счастлив.

Бальзак — Еве Ганской, 2 августа 1848 года:

«Ах, Монте-Кристо» — это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он — самая царственная из всех бонбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков, и ему понадобится еще 100 тысяч франков, чтобы закончить замок. Но он во что бы то ни стало осуществит свой замысел. Вчера мне удалось узнать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма по устной договоренности так, что в любую минуту, если ему вдруг вздумается распахать свое поле и сажать на нем капусту, он может потребовать снести замок. Это дает вам некоторое представление о характере Дюма! Строить этакое чудо, ибо замок — поистине чудо, хотя и незавершенное, на чужой земле, не имея никаких документов, подтверждающих твои права! Крестьянин может умереть, а его дети, пока еще несовершеннолетние, не захотят сдержать слово, данное их отцом!..

Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вилла, она куда красивее виллы Пампили, потому что с нее открывается вид на террасы Сен-Жермена, и, помимо всего прочего, она стоит у воды!.. Дюма обязательно ее достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анэ, который вы видели в Музее изящных искусств. Планировка прекрасная — одним словом, безумная роскошь времен Людовика XV, но в стиле Людовика XIII с элементами украшений эпохи Возрождения. Говорят, постройка уже обошлась Дюма в 500 тысяч франков и что ему необходимо еще 100 тысяч франков, чтобы завершить свой замысел. Его ограбили, как на большой дороге. Он вполне мог бы уложиться в 200 тысяч франков...»

Очень забавно читать, как Бальзак распекает Дюма за безрассудные траты и поучает его искусству бережливости.

Так началась неповторимая жизнь в «замке» «Монте-Кристо». Хозяин дома поселился в микроскопической крепости; над своим рабочим кабинетом он оборудовал келью, где стояли только железная кровать, стол некрашеного дерева и два стула. Там он работает с утра до вечера, а часто с вечера и до утра. На нем лишь ру-

башка и тиковые панталоны. Он очень растолстел, и его огромный живот упирается в стол, а между тем он ест самую простую пищу: пантагрюэлевские пиры он задает гостям. В «Монте-Кристо» он держит открытый дом. В «Монте-Кристо» радушно принимают всех, кто бы ни пришел. Дюма протягивал гостю левую руку, правой продолжая писать, и приглашал его к обеду. Повар то и дело получал указание поджарить еще несколько котлет по-беарнски. Иногда Дюма, который сам был отличным кулинаром, приготавливал какое-нибудь блюдо по своему рецепту и с увлечением стряпал соусы.

Любой писатель, любой художник, стесненный в деньгах, мог поселиться в «Монте-Кристо». Там постоянно жило множество дармоедов, с которыми амфитрион даже не был знаком. Содержание этих людей стоило ему нескольких сот тысяч франков в год. Уже не говоря о женщинах...

В «замке» «Монте-Кристо» одна любимая султанша быстро сменяла другую: в их числе была и Луиза Бодуэн, которую величали Аталой Бошен, дебютантки Исторического театра, женщины-писательницы. Фавориткой 1848 года была Селеста Скриванек, очаровательная актриса, совсем еще молодой дублировавшая Дежазе и с большим изяществом исполнявшая куплеты в водевилях. Любовница, друг и секретарь Дюма, она хотела играть в этом непостоянном семействе еще и роль матери.

Селеста Скриванек — Дюма-сыну:

«Мой дорогой Александр, я на вершине блаженства: я не расстанусь с вашим отцом. Он согласился взять меня с собой. Я буду путешествовать с вами под видом мальчика: портной только что снял с меня мерку. Ах, я схожу с ума от счастья! Простите меня, мой милый, добрый друг, за то, что я не сообщила вам обо всем этом раньше [sic!]; изо дня в день я собиралась поболтать хоть несколько минут с вами, но в последний момент мне всегда что-нибудь мешало. Ваш отец заставляет меня много работать, я пишу под его диктовку, и я очень горда и счастлива тем, что могу быть секретарем этого универсального человека. Я надеюсь через месяц увидеть вас здесь, но тем временем все же черкните мне несколько дружеских слов.

Мы выполнили все ваши поручения. Сейчас я подрубаю ваши галстуки; как только портной закончит ваши брюки, мы выйдем все вместе. Сегодня вечером мы отправляемся в Версаль и пробудем там целых три дня. Прощайте, напишите мне поскорее.

Ваша преданная маленькая мама

С. Скриванек».

Что касается Лолы Монтес, то хотя она и провела несколько дней в «Монте-Кристо», нам представляется маловероятным, чтобы она была любовницей Дюма, так как, став милостью своего любовника короля Людвига I Баварского всемогущей графиней Ландсфильд, она писала в «Монте-Кристо»:

Мюнхен, 14 апреля 1847 года:

«Мой дорогой господин Дюма! Для меня было большим удовольствием *получить* [sic!] несколько дней назад ваше письмо. Если вы к нам приедете, я могу вас заверить, что вам будет оказан прием, достойный такого талантливого и прославленного писателя, как вы. Его величество король просит меня передать вам его благодарность за те лестные слова по его адресу, которые содержались в письме ко мне, а также сказать вам, что ему доставит огромное удовольствие увидеть вас в Баварии. Я считаю, что вы должны приехать к нам, не теряя времени. Все здесь в восторге от ваших прекрасных произведений, и я уверена, что вас примут по-царски. Я пишу вам обо всем этом для того, чтобы вы обязательно приехали повидаться с королем. Я думаю, что вы останетесь довольны друг другом. Не смею дольше отнимать ваше драгоценное время, так как хорошо знаю, что письмо от столь скромной особы, как я, не может заинтересовать вас. Но разрешите мне, дорогой господин Дюма, навсегда остаться одной из самых восторженных ваших поклонниц.

Лола Монтес».

Лола Монтес, баварская графиня, была ирландкой, выдававшей себя за испанку. Из письма видно, что она писала с грубыми синтаксическими и орфографическими ошибками. Но содержание письма говорит о том, что Лола не была любовницей Дюма, хотя официальный тон мог быть продиктован и осторожностью.

В «Монте-Кристо» безраздельно правил итальянский мажордом синьор Раскони. Садовник Мишель, мастер на все руки, большой знаток «Словаря естественных наук», приводил Дюма в восторг, называя по-латыни растения и животных. Был там еще и маленький негритенок Алексис, которого Мари Дорваль однажды принесла Дюма в корзинке с цветами.

— Я не могу его прокормить,— сказала очаровательная актриса, обремененная долгами,— и поэтому дарю его тебе, мой славный пес.

— Откуда он родом?

— С Антильских островов.

— На каком языке говорят на Антильских островах, мой мальчик?

— На креольском.

— А как будет по-креольски: «Здравствуйте, сударь»?

— Здравствуйте, сударь.

— Ну что ж, тогда все ясно, мой мальчик. Отныне мы будем говорить по-креольски... Мишель! Мишель!..
Вошел садовник.

— Вот вам, Мишель, новый гражданин, который теперь будет жить с нами.

Был в «Монте-Кристо» еще один слуга, приставленный к псарне, и другой — к вольерам, потому что эти джунгли были населены зверями, которым Дюма посвящал очаровательную книгу «История моих животных». В доме жили пять собак, три обезьяны, из них одна — мартышка (которых он назвал в честь знаменитого писателя, знаменитого переводчика и популярной актрисы), два попугая, золотой фазан, окрещенный Лукуллом, петух, прозванный Цезарем, кот по кличке Мисуф и гриф Югурта, вывезенный из Туниса, которого переименовали в Диогена с тех пор, как он поселился в бочке.

Монте-Кристо хорошо работалось под писк и гомон зверинца. На столе у него всегда лежала стопка бумаги — голубые листки для романов, розовые — для статей и желтые, предназначенные для поэм одалискам. Его поглощали мысли об Историческом театре, для которого он переделывал в пьесы один роман за другим; он был бы счастлив, если бы его сын согласился войти на паях в фирму «Александр Дюма и К^о». Пожелай он только играть роль Маке, говорил отец, он мог бы легко заработать от сорока до пятидесяти тысяч франков в год.

«Это вовсе не трудно, поверь мне... Я бы тебе все объяснил. Если бы тебе что-нибудь не понравилось, ты мог бы мне возражать».

Дюма-сын, несмотря на успех своего романа, очень нуждавшийся в деньгах, в конце концов согласился, хотя и не слишком охотно, собрать и обработать для отца кое-какие исторические материалы.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Посылаю тебе пятьсот франков. Постарайся закончить третий том к концу месяца. Это даст тебе две тысячи франков...»

Иногда Дюма-сын под натиском какой-нибудь красотки обращался за помощью к Ипполиту Остену, оборотистому молодому человеку, которого Дюма-отец сделал директором Исторического театра:

Мой дорогой Остен! Бедней церковной мыши
Покорный ваш слуга. Увы, с трудом он дышит:
Ему фиакр не по карману, а Дюлон
Сам без гроша сидит. (Так утверждает он.)
Порше, как я узнал, в таком же положенье
И денег мне не даст... Так вот об одолженье
Хочу вас попросить: могли бы вы сейчас
Мне триста франков дать? Не разорю я вас,
А мне окажете услугу вы... Засим
Жду с нетерпением ответа.

Дюма-сын

Но и этот жалкий источник вскоре иссякнет.

Глава третья

РАЗОРЕНИЕ МОНТЕ-КРИСТО

Дырявая корзина, говорите вы?
Это правда, но не я проделал в ней
дыры.

Александр Дюма

Первый сезон в Историческом театре был очень удачным: сборы дали 707 905 франков. Второй открылся триумфом Дюма — Маке — «Шевалье де Мезон-Руж», драмой, в которой трогательная любовная история разворачивается на фоне великих событий революции. Пьеса кончается последним пиршеством жирондистов и песней «Умереть за родину»... 7 февраля 1848 года Исторический театр ввел смелое новшество: драма «Монте-Кристо» должна была идти два вечера кряду. Первая часть, кончавшаяся побегом Эдмона Дантеса, длилась с шести часов вечера до полуночи.

«Все расходились,— писал Готье,— с твердым намерением вернуться завтра. Ночь и следующий день казались всего-навсего досадно затянувшимся антрактом. На втором вечере зрители уже здоровались, знакомились, вступали в разговоры... Каждый старался устроиться поудобнее, расположиться с комфортом — словом, чувствовал себя жильцом, а не зрителем... Когда занавес упал в последний раз, из груди всех присутствующих единодушно вырвался вздох сожаления: «Как, уже? Расстаться так скоро, пробыв вместе всего два дня? Неужели великий Александр Дюма и неутомимый Маке так мало верят в нас?.. Да мы бы отдали им всю неделю...»

Но 24 февраля разразилась революция 48-го года. Восстания губельны для театров, и залы опустели. Только Рашель удавалось еще делать аншлаги в Комеди

Франсез, декламируя Марсельезу в антракте между четвертым и пятым актом трагедии Корнеля или Расина. Читала она превосходно, голос ее звучал гордо и непреклонно. Однако, несмотря на всю свою преданность республике, Дюма предпочел бы немного меньше гимнов и побольше зрителей. И хотя он нисколько не жалел о Луи-Филиппе, который всегда относился к нему плохо, в молодых принцах он терял ценных покровителей. Вполне вероятно, что он, как и Виктор Гюго, приветствовал бы регентство герцогини Орлеанской. Но поскольку на это не было никакой надежды, он решил стать на сторону нового режима и выдвинуть свою кандидатуру в депутаты.

«Революционная буря вместе с коронованным старцем унесла и скорбную мать и хилого ребенка. Франция в эти дни бедствий,— писал Дюма,— обращается к своим лучшим сыновьям... Мне кажется, я имею право быть в числе тех достойных мужей, которых она призвала на помощь...» Это означало, что он, как Ламартин и Гюго, был намерен заняться политикой.

Осталось только выбрать департамент, чтобы выставить свою кандидатуру. У Гюго не было никаких сомнений на этот счет: башни Собора Парижской Богоматери образуют «Н» — инициал его фамилии — Нуго; Париж принадлежит ему, парижане относятся к нему серьезно. Но парижане никогда бы не выбрали Дюма: они считали его большим шутником и не принимали всерьез. Может быть, попытать счастья в департаменте Эн, где он родился? Он боялся, что там его считают большим республиканцем, чем сама республика. В департаменте Сены и Уазы, где у него собственность — замок «Монте-Кристо» — и где он командует батальоном национальной гвардии в Сен-Жермен-ан-Лэ? Увы, в те три дня, когда решалась судьба революции 48-го года, он предложил повести своих людей на Париж, и они не простили ему «легкомыслия, с которым он готов был рисковать их жизнью». Эти защитники нации, конечно, хотели защищать нацию, но только на своей территории, и они потребовали отставки своего не в меру воинственного командира.

Молодой человек, которому Дюма оказал кое-какие услуги, убедил его, что его очень любят в департаменте Йонн и что он непременно пройдет на выборах. Дюма и сам был уверен, что в департаменте Йонн он так же популярен, как и в любом другом департаменте Фран-

ции, и что ни один кандидат не устоит против него. Но он забыл, что французская провинция всегда отдает предпочтение землякам. «Кто он такой, этот Дюма? — спрашивали ионнцы. — Он из здешних? У него есть виноградники? Или, может, он виноторговец? Нет?.. — Так, значит, это тот политикан, да к тому же друг герцогов Орлеанских, сторонник регентства? — говорили одни. — Аристократишка, маркиз!» — подхватывали другие. Дюма только что основал газету «Ле Муа» (под скромным девизом «Господь диктует, и я пишу»), там он выступил с требованием водворить статую герцога Орлеанского на ее прежнее место в Луврском дворце. Избиратели упрекали его за верность герцогу. Дюма ответил им великолепной речью. Он говорил о дружбе и признательности, напоминал о том горе, которое причинила трагическая гибель юного принца, заставил плакать одну половину зала, аплодировать другую и — провалился на выборах.

Однако в Париже он все же посадил перед Историческим театром дерево свободы, сказав директору: «Остен, сохраним любовь народа. Принцы исчезнут, а великий французский народ останется». Когда на одном из избирательных митингов в департаменте Ионн какой-то рабочий грубо прервал Дюма криками: «Эй ты, маркиз, эй ты, негр!» — он ответил ему так, как ответил бы генерал Дюма — или Портос. Он схватил крикуна за штаны и поднял над парашютом: «Проси прощения, не то я кину тебя в воду!» Крикун принес извинения. Дюма сказал: «Ладно. Я только хотел тебе доказать, что руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, — это руки рабочего...» Одно время он носился с мыслью выставить свою кандидатуру на Антильских островах: «Я пошлю им прядь волос, и они увидят, что я свой». Но и от этого намерения ему тоже пришлось отказаться, и так как он не имел возможности творить историю, он снова стал сочинять истории.

Но сколько б драм и романов он ни писал, никаких гонораров не хватало, чтобы остановить надвигающуюся лавину его долгов. Исторический театр делал ничтожные сборы. Пьеса Бальзака «Мачеха» (25 мая 1848 года) с треском провалилась. Несмотря на возобновление «Нельской башни», театр стоял на пороге банкротства. С первых же недель совместной работы Дюма напугал своей расточительностью Остена, с которым, по

отзыву Марселины Деборд-Вальмор, «ладить было далеко не так легко, как с нашим поэтом, этим большим ребенком, которого мы все так любим». А бедный большой ребенок обещал все и всем. Он раздавал ангажементы направо и налево: «Актеры стекались к нему, но всех приводила в ужас неустойчивость его положения и та чудовищная роскошь, в которой он жил. Говорили, что он сможет свести концы с концами, только если будет беречь каждый грош, как Бокаж, и поручит за этим следить господину Остену...» Но даже Остен вскоре отказался быть «здравым смыслом Дюма». В декабре 1849 года он подал в отставку. Его преемники преуспели в этом не больше, чем он. Ненасытный Исторический театр пожирал одну пьесу за другой и почти не давал денег. Дюма со всех сторон осаждали кредиторы. На «Монте-Кристо» был наложен арест, и сумма залога, отягощавшая недвижимостью, поднялась до 232 469 франков и 6 сантимов.

Ида Ферье, или, вернее, маркиза Дави де ля Пайетри, как она величала себя в Италии, привилегированная кредиторша, которой Дюма задолжал сто двадцать тысяч франков ее приданого плюс проценты на них, плюс назначенное ей содержание, боролась за то, чтобы взыскать свой долг, но при этом оставалась в тени. С августа 1847 года она поручила вести свои дела адвокату, мэтру Лакану, но написала ему, что не решается начать тяжбу с Дюма.

Неаполь, 1 августа 1847 года.

«Что может сделать женщина, одинокая бедная, чья единственная сила в истине, к которой она вынуждена взывать издали, что может она сделать против коварных измышлений и искусной лжи человека, словам которого придает такой вес известность его таланта? Мы можем сколько угодно осуждать его частную жизнь, но как писатель он обладает обаянием, которому трудно противиться. Этот ум, столь неистощимый в поэтических и забавных выдумках, так же неутомим в борьбе с теми, кого он ненавидит. Господин Дюма не остановится перед самой черной ложью, если с ее помощью можно раздавить меня и обелить себя. И как бы я ни была права, я вынуждена буду отступить, или, в лучшем случае, его вероломство и ложь нанесут мне такой урон, что я не захочу продолжать этой борьбы. Именно на это он всегда рассчитывал, именно потому он надеялся удержать меня от обращения к правосудию... Он знает, насколько я боюсь скандалов и какие жертвы я принесла, чтобы сохранить положение в свете, которого он всеми силами пытался меня лишить. Мы по-разному смотрим на вещи: он считает, что скандалы лишь удваивают популярность его книг, и поэтому ищет их так же усердно, как я пытаюсь их избежать. Я настоятельно прошу вас, сударь, сообщить мне, какие неприятные последствия такого

рода может повлечь за собой моя просьба об алиментах. Мне и моим близким было бы очень тяжело выносить нищету, но не менее ужасно было бы видеть, как меня обливают грязью, а я из-за своего отсутствия даже не имею возможности защищаться. Вот уже несколько лет, как я живу среди избранного общества этой страны и должна строго соблюдать приличия, а вы сами, сударь, знаете, сколь чувствителен к подобным вещам свет, законы которого Дюма решается нарушать тем более дерзко, что сам он к нему не принадлежит...»

В лагере сторонников маркизы Иды была ее падчерица Мари, очень привязанная к мачехе и осуждавшая отца за расточительность, и, разумеется, ее собственная мать, вдова Ферран, которой Дюма в свое время обещал пенсию и ни разу ее не выплатил. И мамаша и Мари мечтали съехаться с Идой и жить с ней в Неаполе или во Флоренции, где ее содержали «друзья».

Ида Дюма — мэтру Лакану:

«Мои друзья во Флоренции, так же как и я, считают, что мне невозможно дольше оставаться в городе, где у меня нет никаких средств к существованию и где мое положение в свете, в котором я враждалась столько лет, обязывает меня соблюдать внешние приличия, слишком для меня разорительные. Они были так добры, что пошли на дальнейшие жертвы и устроили мне заем под гарантию, благодаря чему я смогла переехать в Неаполь, куда меня уже давно призывала забота о моем здоровье. Здесь мне на помощь пришли другие люди, иначе я не смогла бы даже дожидаться решения по тому иску, который мы подадим сейчас, — решения, которого я жду, чтобы вернуться во Флоренцию и выписать к себе мать и падчерицу.

Я надеюсь, сударь, суд учтет, что я должна содержать еще двух человек и что алименты, о которых я хлопочу, нужны не только мне. Восемнадцать тысяч франков на жену, тещу и дочь — не так уж много, особенно если сравнить эту сумму с теми гонорарами, которые получает господин Дюма, гонорарами, которые, как он неоднократно признавался, в частности во время процесса против одной из газет, названия ее я не помню (это было зимой 1845 года), превышают двести тысяч франков в год! Впрочем, его заработки известны буквально всем...»

Мари Дюма согласилась подтвердить эти факты и выступить свидетельницей против отца. Она назвала Иду «дорогой и нежно любимой маменькой» и жаловалась на то, что ей, девице шестнадцати лет, приходится быть свидетельницей разгула, царящего в «Монте-Кристо».

Мари Дюма — мачехе, Париж, 28 августа, 1847 года:

«К тому же, дорогая и милая маменька, моя жизнь здесь стала совершенно невыносимой. Прибавьте к этому печаль, которую я непрерывно испытываю от разлуки с той, кого люблю больше всего на свете. Немалое горе также причиняют мне и требования отца — он хочет заставить меня жить с ним. Ах, моя дорогая,

и это в его положении!.. Я никак не могу на это согласиться, меня до глубины души оскорбило, что он не постыдился вынудить меня подать руку дурной женщине. Он не краснел, принуждая меня находиться в обществе женщины, которую — имей он отцовские чувства — он должен был бы изгнать из «Монте-Кристо» в тот же день, как я туда приехала, женщины, имени которой не следовало бы даже упоминать в моем присутствии!.. Я клянусь тобой, которая мне дороже всего на свете, что только силой меня смогут заставить быть в подобном обществе...»

Ида вполне искренне хотела взять на себя воспитание Мари.

Ида Дюма — мэтру Лакану, Флоренция, 1 февраля 1848 года:

«Я еще раз прошу вас добиться того, чтобы мне вернули мою падчерицу. Я прекрасно понимаю, что директриса ее пансиона по корыстным соображениям изо всех сил будет препятствовать этому. Она имела беседу по этому поводу с господином Ножаном де Сен-Лоран. Я умоляю вас, сударь, рассказать ему о подлинном положении девушки, к которой я отношусь, как к дочери. Всем известно, что дела ее отца настолько плохи, что он никогда не сможет дать ей ни одного су. То небольшое, на что она может надеяться, она получит от меня. Молодой девушке придется безвыездно оставаться в Париже, где она ни на один день не сможет покинуть пансион, так как у нее нет ни матери, ни семьи, ни хоть сколько-нибудь подходящего для нее окружения и, что всего важнее, никакого будущего. Возвратившись ко мне, она освободит отца от тяжелой обязанности платить за ее обучение, что для него отнюдь не последнее соображение. Я позабочусь о том, чтобы она могла завершить свое образование... Мари будет вращаться здесь в обществе гораздо более высокопоставленном, чем то, которое она могла видеть в Париже. Если думать о ее устройстве в жизни, надо сказать, что во Флоренции ей в этом смысле будет гораздо лучше, чем в любом другом месте. Удерживая силой это несчастное дитя в Париже, они не только разбивают ее сердце, но и губят ее будущее...»

Мэтру Лакану в конце концов удалось выхлопотать небольшую пенсию для вдовы Ферран, но Ида утверждала, что господин Дюма дает обязательства лишь в тех случаях, когда имеется возможность от них увильнуть. Единственной гарантией для трех женщин был «Монте-Кристо». Маркиза де ля Пайетри была уверена, что рано или поздно Дюма каким-либо ловким маневром ухитрится передать дом подставному лицу. Она не ошиблась. И все же справедливости ради следует добавить, что Дюма не мог жалеть женщину, которая, как он знал, находится на содержании у богатого итальянца, и, помимо всего прочего, сокрытие наличности представлялось ему вполне похвальным делом, так как всякого кредитора он считал своим врагом. Разве Портос платил когда-нибудь долги?

10 февраля 1848 года суд департамента Сены объявил о разделе имущества супругов в пользу супруги и приговорил Дюма: во-первых, возратить жене растраченное им приданое в сто двадцать тысяч франков; во-вторых, платить алименты (в размере шести тысяч в год), обеспеченные недвижимым имуществом. Потерпев поражение в первой инстанции, Дюма обжаловал решение суда. Революция, разорив его, усугубила и его семейные неурядицы. «Монте-Кристо» и вся обстановка виллы должны были пойти с молотка, но Дюма предпринял меры к тому, чтобы продажа была фиктивной.

Александр Дюма — Огюсту Маке:

«Мне необходима ваша помощь в той мере, в какой вы сможете мне ее оказать. Чтобы урегулировать дела с госпожой Дюма, я вынужден продать обстановку моего дома, но собираюсь выкупить все, что смогу. Можете ли вы выручить ваши тысячу франков в «Ле Съекль» и занять еще тысячу у вашего отца или у Коппа и купить на две тысячи франков те предметы, которые я вам укажу? Затем, поскольку все эти вещи следует увезти из «Монте-Кристо», вы переправите их в Буживаль¹, откуда я их заберу... Сегодня я буду целый день дома. Приходите. Я хочу видеть вас еще до вечера...»

«Замок» «Монте-Кристо» был продан по приказу суда за смехотворно малую сумму в 30 100 франков Жаку-Антуану Дуайену, который, несомненно, был подставным лицом Дюма, потому что он так никогда и не вступил во владение домом. 28 июля 1848 года судебная палата (суд второй инстанции) подтвердила решение гражданского суда. Ида одерживала одну победу в суде за другой, но денег у нее от этого не прибавлялось.

Ида Дюма — мэтру Лакану, Флоренция, 9 сентября 1848 года:

«Все наши усилия могут оказаться бесполезными и ни к чему не приведут благодаря уверткам господина Дюма, с помощью которых он обходит закон. Но что бы ни произошло и каковы бы ни были результаты процесса, моя благодарность вам остается неизменной... Если бы не ваша энергичная помощь, если бы не доброты и преданность моих друзей во Флоренции, я не нашла бы в себе сил дожидаться исхода моего дела. Моя мать говорит, что пройдет еще немало времени, прежде чем станет ясно, сможем ли мы получить что-нибудь от продажи «Монте-Кристо». Она не в состоянии добиться даже выплаты пенсии и живет на одолженные деньги, ожидая, пока решится моя судьба.

Моя падчерица живет, увы, с отцом, и то роковое влияние на эту столь юную головку и сердце, которого я так опасалась, уже

¹ Д ю м а — стрекоза, М а к е — муравей. Дом расточителя Дюма продавался с молотка, а Маке приобрел себе виллу в Буживале. Он умер богачом в своем собственном замке в Сен-Меме, неподалеку от Дурдана. (Примеч. автора.)

дает себя знать. Я предвижу, что все усилия, которые я прилагаю, чтобы спасти ее от этой ужасной участи, обречены на провал. Но, как я вам уже говорила, сударь, я не перестаю уповать на вас и на божественный промысел... Моя мать (а она немного разбирается в этих вещах) пыталась мне объяснить, как обстоят наши дела. Она говорит о «необходимой отсрочке в три года», после которой мы сможем вчинить новый иск против этого господина Дуайена. Но на каком основании? Вот этого я совсем не поняла... Я очень опасаюсь, как бы отчуждение [sic!] имущества господина Дюма не разрушило ту последнюю надежду, которая у нас еще оставалась. Да будь мы тысячу раз правы в глазах закона, если господин Дюма не будет владеть никаким осязаемым имуществом, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки...»

Дюма, который и впрямь не обладал более никаким осязаемым имуществом, обладал даром проматывать неосязаемое. Кредиторы понапрасну преследовали его. Сапожник, которому он был должен двести пятьдесят франков, приехал в Сен-Жермен, надеясь заставить Дюма заплатить по счету. Обедневший владелец «замка» принял его крайне любезно:

— Ах, это ты, мой друг, как хорошо, что ты приехал: мне нужны лакированные башмаки и сапоги для охоты.

— Господин Дюма, я привез вам небольшой счетец.

— Конечно, конечно... Мы займемся им после обеда... Но сначала ты должен у меня отобедать...

После обильной трапезы оробевший сапожник снова предъявил счет.

— Сейчас не время говорить о делах... Пищеварение прежде всего... Я прикажу заложить карету, чтобы тебя отвезли на вокзал... Держи, вот двадцать франков на билет.

Эта сцена, как будто взятая из комедии Мольера, повторялась каждую неделю. В конце концов сапожник перебрал у Дюма около шестисот франков и не меньше тридцати раз обедал за его счет. Потом приходил садовник Мишель.

— Должен вам сообщить, сударь, что у нас вышло все вино для прислуги; необходимо сделать новые запасы, в погребе остались только иоганнесбергер и шампанское.

— У меня нет денег. Пусть для разнообразия пьют шампанское.

Вскоре судебные исполнители перешли в наступление. Из «замка» увезли мебель, картины, кареты, книги и даже зверей! Один из исполнителей оставил такую за-

писку: «Получен один гриф. Оценен в пятнадцать франков». Это был знаменитый Югурта-Диоген.

Но вот настал день, когда Дюма пришлось, наконец, покинуть свой «замок»; на прощание он протянул приятелю тарелочку, на которой лежали две сливы. Приятель взял одну из них и съел.

— Ты только что съел сто тысяч франков,— сказал Дюма.

— Сто тысяч франков?

— Ну конечно, эти две сливы — все, что у меня осталось от «Монте-Кристо»... А ведь он обошелся мне в двести тысяч франков...

Бальзак — Еве Ганской:

«Я прочел в газетах, что в воскресенье все движимое имущество «Монте-Кристо» пойдет с торгов; сам дом продан или будет продан в ближайшем будущем. Эта новость повергла меня в ужас, и я решил работать денно и ночью, чтобы избежать подобной участи. Впрочем, во всех случаях я не допущу такого: лучше уеду в Соединенные Штаты и буду довольствоваться сельскими радостями, как господин Бокарме».

Одна из прекрасных черт характера Дюма заключалась в том, что даже в крайней бедности он оставался для всех, за исключением своей супруги и кредиторов, самым щедрым из людей. Он, как мог, поддерживал великих актеров романтического театра, которые приближались к печальной старости. Мадемуазель Жорж, чья толщина приобрела угрожающие размеры, играла в Батиньоле и была так бедна, что у нее часто не хватало двадцати пяти су на фиакр. Бокаж, став директором Одеона, с головой ушел в интриги и административные дела. Только Фредерик Леметр не сдался и, подобно Кину, шокировал публику, обращаясь к ней с подмостков:

— Граждане, сейчас, как никогда, время провозгласить: «Да здравствует республика!»

— Говори свой текст, фигляр!—обрывал его Мюссе.

Леметр играл в пьесе Огюста Вакери «Tragaldabas»¹ — последней романтической драме чистых кровей. Увы, «рапсодия часто оборачивается пародией». Трех десятилетий, за которые драма проделала путь от «Христины» и «Эрнани» до «Tragaldabas», было достаточно, чтобы загубить жанр. Еще не оправившись после смерти своего горячо любимого внука Жоржа, бедная Мари

¹ «Обжора» (исп.).

Дорваль была вынуждена снова зарабатывать себе на хлеб тяжким ремеслом бродячей актрисы. Но в Канне она слегла, не в силах продолжать дальнейшую борьбу. У нее нашли болезнь печени. Когда умирающую Мари привезли домой, она послала за Жюлем Сандо, своим бывшим любовником (остепеневшийся Сандо струсил и отказался прийти) и за своим «славным псом» Дюма, который тут же примчался. «Та, которая в «Антони» столько раз шептала: «Но я погибла, погибла»,— чувствовала, что обречена. Родственники ее были слишком бедны, чтобы купить место на кладбище, и она очень боялась, что ее тело бросят в общую могилу. Дюма поклялся, что не допустит такого позора...» Он достанет деньги.

Когда Дорваль умерла, Дюма отправился к графу Фаллу́, министру народного просвещения, и обратился к нему за помощью. Но министр как официальное лицо не мог ничем ему помочь: фонда, предназначенного для вспомоществования драматическим артистам, не существовало, и он дал сто франков от своего имени. Однако Дюма во что бы то ни стало хотел сдержать обещание, данное умирающей, и, «так как его душевная доброта могла сравниться только с его беспечностью в денежных делах, он кинулся в ломбард, заложил свои награды и добыл таким образом двести франков на похороны». Жертва поистине героическая, потому что добродушный великан обожал свои усыпанные драгоценными камнями кресты и ордена. Затем он написал брошюру «Последний год Мари Дорваль», которую продавали «по пятьдесят сантимов, с тем чтобы собрать деньги на надгробие», и открыл подписку, чтобы выкупить из заклада драгоценности актрисы и передать их ее внукам. «Артистическая подписка» дала 190 франков 50 сантимов. 20 франков добавил от себя Понсар.

Несчастья не умерили предприимчивости Дюма. И он вместе с Арсеном Гуссе, тогдашним директором Комеди Франсез, затеял любопытный эксперимент. Он решил, что до сих пор никто еще не писал комедий о закулисных нравах времен Мольера, и взялся за эту тему. Инженю, разучивающие роли, маркизы, дающие им советы, кокетки, флиртующие под прикрытием вееров, ламповщик, отпускающий шутки,— из всего этого можно было сделать очаровательный спектакль и сыграть его 15 января — на мольеровские торжества. Дюма

предложил сочинить «Три антракта к «Любви-целительнице» и побился об заклад, что напишет их за одну ночь.

Он выиграл пари, и «Антракты» оказались более длинными, чем сама комедия. К сожалению, они были намного хуже ее и настолько запутаны, что публика в них ничего не поняла. Услышав слово «Антракт», публика решила: «Пора прогуляться по фойе». Поэтому после первого акта настоящей «Любви-целительницы» все зрители покинули зал, говоря друг другу: «Недурную комедию написал Дюма, но он явно подражает Мольеру...» Когда поднялся занавес и начался первый акт «Антрактов» Дюма, все, за исключением нескольких самых сообразительных, решили, что это продолжение предыдущей пьесы. Однако между обоими актами не было никакой связи: уж не превратилась ли Комеди Франсез в вавилонскую башню? Некоторое время публика недоумевала, чья же эта пьеса — Дюма или Мольера. Принц-президент, присутствовавший на спектакле, послал за администратором. Луи-Наполеон Бонапарт понял не больше, чем простые смертные. Лишь актеры и критики знали, в чем дело, и немало потешались; но и они возмущались Дюма: «Посягнуть на Мольера! Какая профанация! Какое святотатство!» Зрители освистали второй акт «Любви-целительницы», как будто Мольер был начинающим автором. Они считали, что освистывают Дюма.

Госпожа Арсен Гуссе дала обед, чтобы «вознаградить за все неприятности этого славного Александра Дюма, которого я люблю всем сердцем. Он так старался и был так остроумен... Мадемуазель Рашель была на обеде». Это происходило накануне возобновления «Мадемуазель де Бель-Иль» с участием Рашели. Неистовая Гермiona хотела доказать, что под оболочкой трагической актрисы в ней живет женщина. Она превзошла свои самые дерзкие надежды.

«По окончании пьесы Дюма заключил мадемуазель Рашель в объятия, поднял ее, поцеловал и сказал:

— Вы женщина всех веков, вам по плечу любые шедевры. Вы смогли бы играть всех моих героинь как в драмах, так и в комедиях.

— Нет, не всех,— возразила, смеясь, Рашель.— Мне бы вовсе не хотелось, чтобы меня убил Антони.

— Но Антони никогда не стал бы вас убивать!

— Однако какое самомнение! — сказала Рашель.— Антони — это вы; значит, вы думаете, я не устояла бы перед Антони?

— Никогда,— сказал Дюма,— если бы сейчас был 1831 год... Но эти прекрасные дни миновали...»

Прекрасные дни и в самом деле миновали. Старый певец Беранже морализировал: «Мой сын Дюма так же расточал свой талант, как некоторые женщины — свою красоту, и я очень опасюсь, как бы господину Дюма, подобно этим легкомысленным созданиям, не пришлось кончить свои дни в нищете». Беранже, скрывавший свою натуру под личиной смирения и сердечности, был опасным другом, не упускавшим случая позлословить о своих близких. Он очень легко сносил чужие несчастья.

Глава четвертая ДАМА С ЖЕМЧУГАМИ

В мужчинах, известных своими победами, есть нечто волнующее и привлекающее женщин.

Бальзак

В 1850 году Дюма-отец, за которым гналась по пятам свора кредиторов, жил довольно скромно. Он продолжал издавать газету «*Ле Муа*», в которой нападал на крайности демагогов и на гонения со стороны правительства. Он представил на рассмотрение правительства грандиозный проект объединения под его руководством трех «пришедших в упадок театров»: Порт-Сен-Мартен, Амбигю и Исторического театра. Дюма хотел, чтобы его назначили суперинтендантом всех драматических театров: у этих театров будут общие декорации, одна труппа и одна администрация, что, по его мнению, должно было дать большую экономию. Он обязывался следить за тем, чтобы «все театры придерживались одного направления во всем, что касается истории, морали и религии, целиком соответствующего пожеланиям правительства». Однако эта программа коллективного конформизма не осуществилась.

Дюма-сын разъехался с отцом. Они любили друг друга, часто ссорились и быстро мирились. Сын осуждал отца за то, что он берет себе в любовницы все более и более молодых женщин. Последней фавориткой Дюма была двадцатилетняя актриса Изабелла Констан, хрупкая, бледная и белокожая девица, — приемная дочь парикмахера, чью фамилию она взяла своим сценическим

псевдонимом. С незабвенных времен Мелани Вальдор Дюма ни разу не впадал в такую сентиментальность.

Дюма-отец — Изабелле Констан: «Любовь моя... Ты заставляешь меня вновь переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело — ведь моему сердцу сейчас двадцать пять лет. Я люблю тебя, мой ангел. За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящих любви: первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает. К несчастью, я люблю тебя последней любовью...

Ты ревнуешь меня, мое дорогое дитя [sic!], — человека, который в три раза старше тебя. Посуди сама, как тогда должен ревновать я, по целым дням не видя тебя. Вот, например, вчера я чуть было не сошел с ума, не мог работать и бесцельно ходил из угла в угол... Нет, мой драгоценный ангел, так я не могу любить — я не могу обладать тобой лишь наполовину. Я не говорю о физическом обладании, в моем чувстве к тебе сочетается страсть любовника и привязанность отца. Но именно поэтому я не могу обойтись без тебя... Еще раз повторяю тебе, задумайся над этим, потому что сейчас решается наше будущее, задумайся, если ты хоть немного хочешь связать свою судьбу со мной. Мне необходимо быть рядом с тобой, чтобы принадлежать тебе, даже если ты не можешь принадлежать мне.

Есть и еще одна вещь, которую ты, мой ангел, в своей чистоте и целомудрии не можешь понять: в Париже сотни красивых молодых женщин, которые ради своей карьеры ждут не того, чтобы я пришел к ним, а чтобы я позволил им прийти ко мне. Итак, мой ангел, я отдаю себя в твои руки. Охраняй меня. Простри надо мной твои белые крылья. Огради меня своим присутствием от тех ошибок, которые я могу совершить и неоднократно совершал в минуты безумия или отчаяния и которые отравляют жизнь человека на долгие годы.

Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честолюбия. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с которым я готов мириться. И никогда еще честолюбие ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твое. Ни одна женщина — даже мадемуазель Марс — не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшие три года...»

Влияние старости (о приближении которой свидетельствовала лишь седеющая шевелюра), странное сочетание отцовской нежности с любовным пылом, хрупкое здоровье молодой девушки объясняют этот умиленный стиль письма. «Жеронт при новой Изабелле», Дюма с удовольствием играл в семейную жизнь, приходил к ней стряпать обеды, водил ее как супругу в гости к друзьям, что, впрочем, отнюдь не мешало ему иметь в то же самое время еще десяток интрижек с молодыми дамами, более пылкими и доступными.

Сын метил гораздо выше. Успех «Дамы с камелиями» способствовал его престижу. Его светло-голубые

глаза производили неотразимое впечатление на женщин. В те времена любой художник казался светским женщинам невероятно привлекательным и вместе с тем демонически страшным. Иногда они пытались привязать художника к себе, ничего ему не позволяя, как, например, поступила маркиза де Кастри с Бальзаком. Дюма-сын, тогда еще молодой годами и сердцем, смотрел на «знатных дам» с наивным восхищением. Его по-прежнему печалила и волновала судьба Мари Дюплесси.

«Заблудшие создания, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его и которые готовили себе лишь верное бесчестье, неизбежный позор и маловероятное богатство, в глубине души вызывали у меня желание плакать, а не смеяться, и я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи».

Как-то после обеда у одной особы легкого поведения граф Ги де ля Тур дю Пэн сказал ему:

— Дружеское расположение к вам и мой возраст — я лет на пятнадцать старше вас — позволяют мне дать вам один совет... Мы только что отобедали у этой прелестной и остроумной девицы. У нее бывают самые разные люди, вы можете изучать тут нравы. Изучайте, но, когда вам исполнится двадцать пять лет, постарайтесь, чтобы вас больше не встречали в этом доме...

В 1849 году ему исполнилось двадцать пять лет, и он решил последовать этому совету. Любовницей его в ту пору была дама по фамилии Давен (или Дальвен), особа с весьма неблагоприятным прошлым, однако он вращался в обществе если не в более нравственном, то во всяком случае более блестящем.

Русская аристократия представляла тогда в Париже нечто вроде неофициального посольства красавиц. Молодые женщины — Мария Калергис, ее родственница графиня Лидия Нессельроде, их подруга княгиня Надежда Нарышкина — собирали в своих салонах государственных деятелей, писателей и артистов. В России царь, мужья, семьи обязывали их соблюдать определенную осторожность. В Париже они вели себя, словно сорвались с цепи.

В 1850 году в доме Марии Калергис Дюма познакомился с Лидией Закревской, которая уже три года была замужем за графом Дмитрием Нессельроде. Эта очаровательная женщина, очень остроумная, очень богатая,

не любила своего мужа, который был на семнадцать лет старше ее. Отец Дмитрия — канцлер граф Карл Нессельроде, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел продержаться на своем посту при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить его на юной наследнице с приданым в триста тысяч рублей, отец которой, граф Закревский, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую два могущественных семейства бросили в его постель.

Но брак этот оказался весьма неудачным со всех точек зрения. Молодая графиня начала ездить на воды, лечить слабые нервы. Ее видели в Бадене, в Эмсе, в Спа, в Брайтоне и, наконец, в Париже, который стал для нее самым действенным и в то же время самым опасным из всех лекарств. Муж не смог увести ее из этого города соблазнов и был вынужден отбыть в Россию один. Мария Калергис давно рассталась со своим мужем греком и отдала дочь на воспитание в католический монастырь, благодаря чему могла, не нарушая приличий, поселиться в доме № 8 по улице Анжу. Она обещала Дмитрию неусыпно следить за Лидией. Вместе с Надеждой Нарышкиной они образовали ослепительное трио славянских красавиц. Лидия то и дело ездила из Парижа в Берлин, Дрезден, Санкт-Петербург, но тут же возвращалась обратно. Графиню Нессельроде тревожила семейная жизнь ее сына.

17 июня 1847 года:

«Дмитрий писал мне из Берлина всего один раз,— он, как всегда, не балует меня письмами. С тех пор я от него ничего не получала. Он очень меня беспокоит. Сможет ли он вести себя с достаточным тактом во время этого длительного пребывания вдвоем?.. Ведь их взгляды и понятия несхожи. Ему выпала не легкая задача, а он полагал, что все будет очень просто. Он не учел, сколько понадобится терпения, чтобы удерживать в равновесии эту хорошенькую, но сумасбродную головку. Если он не будет смягчать свои отказы, если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасуюсь. Повторяю, их отношения очень беспокоят меня. Я пишу ему об этом, но это все равно, что бросать слова на ветер».

Прозорливостью, столь естественной у свекрови, не были обделены и золовки Лидии, но они относились к ней еще более враждебно. Елена Хрептович и Мария

фон Зеебах, урожденные Нессельроде, ненавидели Марию Калергис и обвиняли ее (не без оснований) в том, что она играет по отношению к канцлеру, которого она называла не иначе, как «обожаемым дяденькой», ту же роль, что герцогиня Дино, другая заблудшая племянница, играла при престарелом Талейране. Мария Калергис, эта «снежная фея», слишком живо интересовалась поэтами и пианистами; кузины ее относились к ней подозрительно и предостерегали Дмитрия против ее пагубного влияния.

В феврале 1850 года Лидия, к великой радости могущественных семейств, родила сына Анатолия, которого звали Толли. Но Франция обладала неодолимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Лишь на цветы для одного бала, данного ею в ее парижском особняке, она потратила восемьдесят тысяч франков. Она шила только у Пальмиры, каждое платье обходилось ей в полторы тысячи франков, и, отправляясь к портнихе, она заказывала всякий раз не меньше дюжины. Она приобрела превосходные жемчуга длиной в семь метров. К красному платью она носила убранство из рубинов (диадему, ожерелье, браслеты, серьги), к туалету из голубого бархата — убранство из сапфиров. Это, конечно, приводило к несметным долгам.

Сначала Лидии Нессельроде взбрело в голову познакомиться с автором «Дамы с камелиями»; потом стать его любовницей. Дюма-сын не столько завоеватель, сколь завоеванный, потерял голову. Да и кто бы устоял?

Двадцатилетняя красавица, невестка премьер-министра России, беспощадная кокетка, женщина тонкая и образованная, кидается на шею бедному начинающему писателю. Мог ли Александр сомневаться, что встретил истинную любовь?

Дюма-отец рассказывает в своих «Беседах» о том, как сын привел его «в один из тех элегантных парижских особняков, которые сдают вместе с мебелью иностранцам», и представил молодой женщине, «в пеньюаре из вышитого муслина, в чулках розового шелка и казанских домашних туфлях». Ее распущенные роскошные черные волосы ниспадали до колен. Она «раскинулась на кушетке, крытой бледно-желтым дамаском. По ее гибким движениям было ясно, что ее стан не стянут

корсетом... Ее шею обвивали три ряда жемчугов. Жемчуга мерцали на запястьях и в волосах...»

— Знаешь, как я ее называю? — спросил Александр.

— Нет. Как?

— Дама с жемчугами.

Графиня попросила сына прочитать отцу стихи, которые он написал для нее накануне.

— Я не люблю читать стихи в присутствии отца, я стесняюсь.

— Ваш отец пьет чай и не будет на вас смотреть.

Александр начал слегка дрожащим голосом:

Мы ехали вчера в карете и сжимали
В объятьях пламенных друг друга: словно мгла
Нас разлучить могла. Печальны были дали,
Но вечная весна, весна любви цвела.

Затем в поэме описывалась прогулка в парке Сен-Клу, молодая женщина, придерживающая шелковое платье, длинные аллеи, мраморные богини, лебедь, имя и дата, начертанные на пьедестале одной из статуй:

Распустятся цветы — и в сад приду я снова,
Я в летний сад приду взглянуть на пьедестал:
Начертано на нем магическое слово —
То имя нежное, чьим пленником я стал.
Скиталица моя, где будете тогда вы?
Покинете меня? Вновь разлучимся мы?
О, неужели вы хотите для забавы
Средь лета погрузить меня в кошмар зимы?
Зима — не только снег, не только мрак и стужа,
Зима — когда в душе свет радости погас,
И в сердце песен нет, и мысль беспечно кружит,
Зима — когда со мной не будет рядом вас.

Дюма, снисходительный отец, заключал: «Я покинул этих прелестных и беспечных детей в два часа ночи, моля Бога влюбленных позаботиться о них». Надо сказать, что Бог влюбленных плохо заботился о своих подопечных. Вьель-Кастель 29 марта 1851 года записал в своем дневнике следующую сплетню, которую, как он говорил, передают под большим секретом: три знатные иностранки, среди них Мария Калергис и графиня Нессельроде, будто бы «основали общество по разврату на паях» и вербовали для этой цели «героев-любовников из числа самых бесстыдных литераторов. Нессельроде взяла себе в наставники Дюма-сына, Калергис поступила под опеку Альфреда де Мюссе. Дюма-сын обрел в Нессельроде самую послушную ученицу. Но приказ из Пе-

тербурга, призывающий графиню вернуться на родину, положил этому конец...»

Вьель-Кастель охотно раздувал слухи о скандалах, но требование мужа и приказание царя действительно имели место. В марте 1851 года Дмитрий Нессельроде «похитил» свою жену и увез ее из Парижа, чтобы положить конец ее безрассудствам. И все же marito¹ не хотел поверить, что падение свершилось. Он защищал Лидию, «это неопытное и очаровательное дитя», от клеветы: «Один наглый французишко осмелился компрометировать ее своими ухаживаниями, но его призвали к порядку».

В лагере Дюма эту историю представляли, естественно, в ином свете. Дюма-отец рассказывает, как мартовским утром сын пришел к нему и спросил:

— У тебя есть деньги?

— Должно быть триста или четыреста франков; открой ящик и сам посмотри.

Молодой Александр открыл шкаф.

— Триста двадцать франков... С тем, что есть у меня, это составит шестьсот франков. Этого с лихвой хватит на отъезд. Ты не можешь дать мне заемное письмо в Германию?

— Если хочешь, тысячу франков на Брюссель, на Мелина и Кана. Они мои друзья и не оставят тебя в нужде.

— Хорошо. Да и потом, если понадобится, ты перешлешь мне деньги в Германию. Я тебе напишу оттуда, как только прибуду на место.

— Итак, ты едешь...

— Я расскажу тебе все по возвращении.

Александр Дюма пробыл в отъезде почти год. Он проехал через всю Бельгию и Германию, следуя по пятам за своей любовницей. Из Брюсселя он написал своей приятельнице Элизе Ботте, которая была родом из Корси (местечко неподалеку от Вилле-Коттре) и именовала себя Элизой де Корси. Тайная полиция перехватила письмо.

Александр Дюма — Элизе Ботте де Корси, 21 марта 1851 года:

«Дорогой друг, мы прибыли в Брюссель. Бог знает куда она повлечет меня теперь. Сегодня вечером я три или четыре раза видел ее, она казалась бледной и печальной, глаза у нее были заплаканные. Вы огорчились бы, увидев ее. Словом, я влюблен — и этим все сказано!..»

¹ Муж (ит.).

После Бельгии погоня привела его в Германию. Из Дрездена и из Бреслау он вновь и вновь обращался к отцу и наперснику с просьбами о деньгах; отец, сочувствовавший любой аванюре, посылал ему все, что мог.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Мой дорогой друг, Вьейо обращался ко всем, кого ты указывал но никто не захотел дать ни одного су. Так что рассчитывай только на меня, но рассчитывай твердо. Ты правильно сделал, что остался. Раз дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Берегись русской полиции, которая дьявольски жестока и может, несмотря на покровительство наших прекрасных полек, а может быть, и благодаря ему, живо домчать тебя до границы... Вчера я отправил двадцать франков твоей матери. Будь осторожен. Я посылаю тебе все, что могу; через две недели вышло пятьсот франков, которые ты просил. Обнимаю тебя... Ты вырос на сто голов в глазах Изабеллы...»

От станции к станции, от гостиницы к гостинице гнался Дюма за четой Нессельроде, но, прибыв на границу с русской Польшей, в Мысловиц, обнаружил, что граница для него «закрывается, да еще на засов». Таможенники получили инструкцию не пропускать Александра Дюма в Россию. Отец и сын Нессельроде отдали приказ отказывать в проезде «наглому французишке». Дюма-сын в мае 1851 года провел две недели на деревенском постоялом дворе, за пятьсот лье от своей родины. Единственным развлечением его было чтение в подлиннике писем Жорж Санд к Фредерику Шопену.

Дюма-сын — Дюма-отцу:

«В то время, дорогой отец, как ты обедал с мадам Санд, я тоже занимался ею... Представь себе, что у меня здесь оказалась в руках вся ее десятилетняя переписка с Шопеном. К несчастью, эти письма мне дали только на время. Вы спросите, откуда здесь, в Мысловице, в глуши Силезии, переписка, родившаяся в центре Берри? Объясняется это очень просто: Шопен, как тебе известно, а может быть, и не известно, был поляком. Его сестра после его смерти нашла в его бумагах эти письма, бережно хранившиеся в конвертах с отметкой о дне получения, что свидетельствует о самой почтительной и беззаветной любви. Она взяла их себе, но перед тем, как въехать в Польшу, где полиция бесцеремонно прочла бы все, что она везет с собой, оставила их у друзей, живущих в Мысловице. И все же профанация свершилась, так как и я приобщился к тайне... Нет ничего более грустного и более трогательного, чем эти письма с выцветшими чернилами, которых касался и которые с такой радостью получал человек, ныне мертвый!.. На какой-то миг я даже пожелал смерти хранителю писем, между прочим, моему приятелю, чтобы стать обладателем этого сокровища и иметь возможность преподнести его госпоже Санд, которая, возможно, будет рада снова пережить эти давно ушедшие дни. Но презренный (мой приятель), увы, пользуется завидным здоровьем, и, полагая, что уеду отсюда 15-го, я вернул

ему переписку, которую у него не достало даже любопытства прочесть. Чтобы тебе стало понятно подобное безразличие, следует сообщить, что он младший компаньон в одной экспортной фирме».

«Дюма-сын — Жорж Санд, Мысловиц, 3 июня 1851 года:

«Сударыня, я все еще нахожусь в Силезии и счастлив этим: ибо смогу быть хоть в какой-то мере полезным вам. Через несколько дней я буду во Франции и привезу вам лично, разрешит ли мне госпожа Едреевич или нет, те письма, которые вы хотите получить. Бывают поступки столь неоспоримо справедливые, что на них не должно и спрашивать ничего разрешения. Счастливым результатом всех этих неделикатных поступков будет то, что вы получите ваши письма. Но поверьте мне, сударыня, что в этом не было профанации: сердце, которое из такого далека, презрев скромность, стало поверенным вашего сердца, уже давно принадлежит вам, и восхищение, которое я к вам питаю, по силе и давности ничем не уступает чувствам, порожденным самыми старыми привязанностями. Постарайтесь поверить мне и простить...»

Так Жорж Санд получила свои любовные письма к Шопену и сожгла их. Так завязалась дружба Дюма-сына с владетельницей Ноана, которая началась с переписки и продолжалась всю жизнь.

Однажды в июне в кабинет Дюма-отца вошел бородатый молодой человек и сказал:

— Как, ты меня не узнаешь?.. Я так скучал в Мысловице, что решил для развлечения отпустить усы и бороду. Здравствуй, папа!

30 декабря он совершил паломничество в парк Сен-Клу и, вернувшись оттуда, протянул отцу лист бумаги:

— Держи! Вот продолжение стихов, которые я читал тебе год назад.

Дюма-отец прочел:

Год миновал с тех пор, как в ясный день с тобою
Гуляли мы в лесу и были там одни.
Увы! Предвидел я, что решено судьбою
Нам болью отплатить за радостные дни.

Расцвета летнего любовь не увидала:
Едва зажегся луч, согревший нам сердца,
Как разлучили нас. Печально и устало
Мы будем врозь идти, быть может, до конца.

В далекой стороне, весну встречая снова,
Лишен я был друзей, надежды, красоты,
И устремляя я взор на горизонт суровый,
И ждал, что ты придешь, как обещала ты.

Но уходили дни дорогами глухими.
Ни слова от тебя. Ни звука. Все мертво.
Закрылся горизонт, чтоб дорогое имя
Не смело донестись до слуха моего.

Один бумажный лист — не так уж это много.
Две-три строки на нем — не очень тяжкий труд.
Не можешь написать? Так выйди на дорогу:
Идет она в поля, и там цветы растут.

Один цветок сорвать не трудно. И в конверте
Отправить лепестки не трудно. А тому,
Кто жил в изгнании, такой привет, поверьте,
Покажется лучом, вдруг озарившим тьму.

Уж целый год прошел, и время возвратило
Тот месяц и число, что ровно год назад
Встречали вместе мы, и ты мне говорила
Об истинной любви, которой нет преград.

Александр хотел написать свое «Горе Олимпию». Он не обладал талантом Виктора Гюго, но чувство его было сильным и искренним. В его любви к прекрасной иностранке сочетались страсть и гордыня: в двадцать пять лет такая любовь может захватить человека целиком. Можно понять, как он был поражен и обеспокоен тем, что Лидия не подает никаких признаков жизни: ну, пусть прислала хотя бы записку без подниси, несколько засушенных лепестков или жемчужину!

Каким бы опытным и развращенным он ни казался, в глубине души он был сентиментален и не представлял, сколько холодного цинизма может таиться в двадцатилетней кокетке. Пока он предавался отчаянию в Польше, в семействе Нессельроде происходили странные события. Дмитрию, раненному в руку при таинственных обстоятельствах (дуэль? попытка к самоубийству?), грозила ампутация, которой он чудом избежал. Лидия бросила мужа и уехала в Москву, где снисходительные родители укрыли взбалмошную и бессердечную беглянку.

Канцлер Нессельроде — своей дочери Елене Хрептович, 1 июня 1851 года:

«Дмитрия лечили четыре лучших хирурга города, трое из них настаивали на ампутации, четвертый был против, и благодаря ему твой брат сохранил руку... Он был готов к худшему и попросил отсрочку на 48 часов, чтобы причаститься и написать завещание. Он вел себя необычайно мужественно... В разгар этих ужасных испытаний здесь появились Лидия и ее мать, чем я был пренеприятно удивлен: они прибыли сюда, как только прослышали о несчастном случае, разыграли драму и пытались достигнуть примирения. Но все их старания были напрасны, и они отбыли, так и не повидав твоего брата... Но я не считал возможным отказать им в удовольствии видеть ребенка и посылал его к ним каждый день...»

Канцлер, «фаталист, наделенный неистощимой терпимостью», ни словом не обмолвился о скандале. Он терпеть не мог семейных сцен. Да и потом, государственному деятелю, находящемуся у кормила власти, не пристало ссориться с несметно богатым губернатором Москвы, тем более что его собственный внук являлся наследником этого губернатора. И он посоветовал сыну достигнуть соглашения, но не идти на примирение, потому что прекрасная Лидия только и делала, что меняла любовников: за Воронцовым последовал Бярятинский, за Бярятинским — Рыбкин, за ним Друцкой-Соколинский. Дюма-сын никогда больше ее не видел. Узнав, что Лидия порвала с мужем и путешествует по Саксонии, он посылал в Дрезден, потратив на это много денег, Элизу де Корси, но все было напрасно.

Дюма-сын — Элизе де Корси, Брюссель, 12 декабря 1851 года:
«Дорогая Элиза, пишу вам из Брюсселя, где живу вместе с отцом.

Он проиграл процесс, и ему придется, возможно, выложить из своего кармана двести тысяч франков, так что, пока это дело не уладится, ему лучше находиться подальше от Парижа... Я только что отправил письмо графине. Я сообщил ей, что нахожусь в Бельгии... Напоминаю о вашем обещании писать мне правду, всю правду... Красный воск — для ваших, воск другого цвета — для ее писем».

26 декабря 1851 года: «Постарайтесь увидеть графиню, это самое главное...»

Но связаться с графиней оказалось невозможно. Для нее роман с ним был давно забытым приключением. Дюма, наверное, долго и горестно размышлял об испорченности и лживости этого юного существа, которое когда-то казалось ему столь нежным. Эта встреча имела влияние на всю его жизнь. Всю жизнь ему будут нравиться жестокие кокетки и никогда — искренне любящие женщины, на чувства которых он мог бы положиться. На всю жизнь он сохранит отвращение к адюльтеру и его последствиям. И лишь в 1852 году другая славянская красавица, княгиня Надежда Нарышкина, наперсница и соучастница Лидии Нессельроде, на словах передаст ему весть о разрыве. Как вестница заняла место той, которая ее послала, мы узнаем в свое время.

Связь с Мари Дюплесси смягчила сердце Дюма-сына; связь с Лидией Нессельроде иссушила его. Неосторожное слово — и ребенок вырастет, обманутая любовь — и человек ожесточается.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ОТЕЦ И СЫН

Глава первая

БЛЕСТЯЩИЙ ИЗГНАННИК

Той старой набережной я не позабыл,
Теснее круг друзей,

но не иссяк их пыл.

Виктор Гюго

«Александрю Дюма»

1851 год принес Дюма-отцу да и Дюма-сыну много огорчений. Служители правосудия ополчились на добродушного великана. Обычная жизнерадостность ему изменила. Государственный переворот подоспел очень кстати; он дал Дюма возможность ускользнуть от кредиторов и от суда, не уронив своего достоинства. Он эмигрировал в Бельгию подобно Виктору Гюго; однако, как говорили тогда, Гюго бежал от произвола и притеснений тирана, Дюма же — от повесток и предписаний судебных исполнителей. Суждение слишком поверхностное. Хотя покинуть Париж Дюма вынуждали прежде всего личные интересы, отношения его с новым властителем оставляли желать лучшего. Поначалу, когда принц Бонапарт стал президентом, Дюма, как Виктор Гюго, как Жорж Санд, возлагал известные надежды на бывшего карбонария. Позднее он решительно осудил государственный переворот. В Брюсселе он до конца оставался самоотверженным другом изгнанников. Не принадлежа к их числу, он мог, когда ему заблагорассудится, наезжать из Брюсселя в Париж, где он оставил свою новую юную подопечную — Изабеллу Констан, по прозвищу Зирзабель. Но всякий раз он оставался во Франции ненадолго, чтобы кредиторы не успели его настичь.

5 января 1852 года обстановка квартиры, которую Дюма занимал в Париже (и которую тщетно пытался перевести на имя своей дочери Мари, тогда еще несовершеннолетней), была продана по «иску владельца, в возмещение задержанной квартирной платы». Выручка от аукциона превысила сумму долга всего на 1870 фран-

ков 75 сантимов. Это был в то время весь наличный капитал семейства Дюма.

20 января 1852 года «Александр Дюма, писатель, которому постановлением апелляционного суда города Парижа от 11 декабря 1851 года присвоено звание коммерсанта», представил *in absentia*¹ через своего поверенного господина Шерами список долгов. Он был объявлен несостоятельным должником.

Документы, относящиеся к этой драме в духе Бальзака, по сей день хранятся в архивах округа Сены. В списке долгов не значатся ни кредиторы Исторического театра, ни издатели-заимодавцы. Многие старые долги помечены там лишь «для памяти», без указания суммы, как, например, «долг, взыскиваемый госпожой Крельсамер, улица Клиши, 42-бис»². Хотя банкротство Исторического театра — лица юридического — и несостоятельность Александра Дюма — лица физического — были зарегистрированы порознь, объявленный пассив достигал 107 215 франков, а рубрика, обозначенная словами «Общий актив, помеченный здесь для памяти», так и осталась пустой: временный посредник не смог представить в ней ни единой цифры. Этот посредник просит гражданский суд «считать недействительной якобы произведенную Александром Дюма в 1847 году продажу с правом обратного выкупа его сочинений и авторских прав». Посредник рассматривает этот акт как скрытую форму залога и добавляет: «Поскольку не были соблюдены формальности, предусмотренные законом для такого рода сделок, залог нельзя считать действительным. Следовательно, гонорары, на которые предъявляют претензии преемники г-на Александра Дюма, должны входить в имущество должника». Эксперт отмечает, что эти гонорары составляют «значительные элементы актива, ибо общеизвестно, что г-н Александр Дюма — автор большого числа пьес; кроме того, он заключил множество договоров с книгоиздателями и газетами на публикацию его литературных произведений...» Это было неоспоримо.

Процедура так называемого «предъявления долговых обязательств», начатая 12 июня 1852 года, была закончена лишь 18 апреля 1853 года актом о «принятии долговых обязательств». Нет ничего удивительного в

¹ Заочно (лат.).

² Эта госпожа Крельсамер — мать Мари Дюма.

том, что тщательная проверка долговых документов длилась десять месяцев, ибо «физическому лицу» по имени Дюма вчинили иск пятьдесят три кредитора. Список этих Эриний позволяет понять, куда утекли гонорары за «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо»:

Аде, красильщик; Газовое управление; Бако, цветочник; Буссен, столяр; Буррелье, стекольщик; Беше, мастер по укладке изразцов; Бондвиль, скульптор; Брюно, жестянщик; Байони, плотник; госпожа Шазель, торговка кашемировыми шальями; Шаррон, кровельщик; Куапле, угольщик; Катали, медник; Клоар, обойщик в Париже; Дюме, виноторговец; Делольн, сапожник; Дюбьеф, торговец модными товарами; Дютайи, торговец скобяным товаром; Дагоннэ, продавец семян; Девисле, оружейный мастер; Деми-Дуано, владелец фабрики ковров; Дюфлок, поставщик дров; Денье, портной; Феньо и Леруа, часовщики; Гандильо, дорожные товары; Жильбер, поставщик дров; Гуэз, шорник; госпожа Гиршнер, бакалейщица; Гюбетта, печник; Эртье, торговец обоями; Амон, булочник; Лоран, разносчик с рынка; Лемассон и Шеве, съестные припасы; Лоран, портной; Левефр, виноторговец; Леви, белошвейная мастерская; Лион, цветочник; Марле, ювелир; Мишель, сапожник; Муэнзар, каретник; Марион и Бургиньон, ювелиры; Мареско, обойщик в Париже; Пуассо, садовник; Потаж-Иворэ, маслоторговец; Пети, маляр; Пьер и Водо, шитье ливрей; Планте, антрепренер; Руссо, слесарь; Санрефю, обойщик в Сен-Жермене; Сук, прачечная; Той, торговец фарфоровыми изделиями; Труйль, слесарь; мадемуазель Вероника, портниха; Вассаль, обойщик в Париже; госпожа Вайян, торговка цветами, и т. д. и т. п.

Французские изгнанники в Брюсселе — Гюго, Этцель, Дешанель, полковник Шарра, Араго, Шелькер — образовали в начале 1852 года группу воинственно настроенных людей, гордившихся своими лишениями и мытарствами. Гюго, которому жена недавно прислала триста тысяч франков во французских процентных бумагах, спал на убогой койке и столовался в харчевне. Дюма, у которого не было ни процентных бумаг, ни капитала, нанял два дома на бульваре Ватерлоо, № 73, велел пробить разделявшую их стену, снести внутренние перегородки и создал необыкновенно красивый особняк с аркой и балконом. Пушистые ковры покрывали ступени лестницы; ванная комната была облицована мрамором; на темно-синем потолке большой гостиной горели золотые звезды, а занавеси были сшиты из кашемировых шалей. Все — в кредит. «В Брюсселе, — говорил Шарль Гюго, — Дюма пока что удерживается в колеснице Фортуны, которая его так часто выбрасывала».

Он взял в секретари стойкого республиканца, изгнанного из Франции,— Ноэля Парфе. «Ни одного человека еще не называли так удачно: имя, данное при крещении, означает веселье, фамилия — благонаравие»¹. Этот славный малый с жидкой бородкой, всегда одетый в черное, но оттого вовсе не казавшийся мрачным, приехал в Брюссель с женой и двумя детьми. Дюма предложил гостеприимство всему семейству. В благодарность Парфе принял на себя заботу о его делах и с утра до ночи переписывал романы, мемуары, комедии, которые их автор производил на свет куда быстрее, чем успевали воспроизводить переписчики-профессионалы.

Одиннадцать опусов, то есть тридцать два тома, в четырех экземплярах — для Брюсселя, Германии, Англии и Америки. Никто на свете, кроме Дюма, не мог бы столько написать; никто, кроме Парфе — переписать. Экономя время, Дюма никогда не ставил знаков препинания. Парфе расставлял запятые и проверял даты. Кроме того, он играл роль министра финансов и силился в доме расточителя свести концы с концами. Ноэль Парфе требовал своевременной выплаты авторских гонораров, добился возобновления на сцене «Нельской башни», опубликовал все, что осталось от «Путевых впечатлений», и сберег последние луидоры за «Монте-Кристо». С преданной скупостью защищал он деньги Дюма от самого Дюма. Монте-Кристо искал у себя в ящике деньги, но никогда не находил их. Дела его пошли несколько лучше. Однако он чувствовал себя под контролем, а значит — стесненно. Он восклицал со своей добродушной, сердечной улыбкой: «Удивительное дело! С тех пор как в доме моем поселился *безупречно* честный человек, я чувствую себя как нельзя хуже!»

Несмотря на такого сурового управителя (и благодаря ему), Дюма жил в Брюсселе на широкую ногу. Многие изгнанники — среди них Виктор Гюго — у него обедали. Он охотно принимал бы их как гостей, но они, дабы не уронить своего достоинства, предложили ему ту же плату, что в харчевне, — 1 франк 15 сантимов. Дело решил Парфе: 1 франк 50 сантимов. Однако еда была

¹ Слово «ноэль» (poël) означает по-французски праздник Рождества; возгласом «ноэль» в старину французы приветствовали всякое радостное событие; слово «парфе» (parfait) означает — безупречный. (Примеч. переводчика.)

чересчур обильной, и чрезмерное хлебосольство принесло дефицит в сорок тысяч франков. Дюма устраивал у себя празднества в духе Монте-Кристо; одному из них он сам дал название: «Сон из Тысячи и одной ночи». Сешан, декоратор театра Ла Монне, соорудил сцену. В зимнем саду был устроен роскошный буфет. Пьетро Камера поставил испанские танцы. После спектакля Дюма роздал гостям индийские кашемировые шали, которые служили занавесом. Гюго не пришел (уважающий себя изгнанник не мог плясать на карнавале у Дюма), но в его честь был провозглашен тост.

Весь этот тарарам не мешал радушному хозяину с утра до ночи работать за столом из некрашеного дерева на верхнем этаже особняка. Любовные приключения — бесчисленные и одновременные — закружили его в водовороте интриг. Если к этому прибавить, что, неизменно отважный и готовый к услугам, он предоставил себя в распоряжение своих политических друзей, что он взял на себя труд отвозить письма Виктора Гюго к его жене, оставшейся в Париже, и доставлять ему ответы Адели, то нельзя не восхищаться тем, что этот загнанный, переутомленный человек вынашивал более обширные творческие планы, чем когда бы то ни было. Чтобы удовлетворить его аппетит под стать Гаргантюа, понадобилась бы история целой планеты. Вот какое удивительное письмо написал он издателю Маршану:

«Что сказали бы Вы о грандиозном романе, который начинается с Рождества Христова и кончается гибелью последнего человека на земле, распадаясь на пять отдельных романов: один разыгрывается при Нероне, другой при Карле Великом, третий при Карле IX, четвертый при Наполеоне и пятый в будущем?.. Главные герои таковы: Вечный Жид, Иисус Христос, Клеопатра, Парки, Прометей, Нерон, Поппея, Нарцисс, Октавиан, Карл Великий, Роланд, Видукинд, Велледа, папа Григорий VII, король Карл IX, Екатерина Медичи, кардинал Лотарингский, Наполеон, Мария-Луиза, Талейран, Мессия и Ангел Чаши.

Это покажется Вам безумным, но спросите Александра, который знает эту вещь от начала до конца, каково его мнение о ней...»

Неизвестно, каково было мнение сына, но отец был уверен в себе. Разве не мечтал он с ранних лет написать полную историю Средиземноморья? И почему эти сверхчеловеческие планы должны вызывать улыбку? Другой гигант, Бальзак, тоже любил носиться с титаническими замыслами. «Я мерил будущее, заполняя его своими сочинениями,— говорил Бальзак и прибав-

лял: — Оседлав свою мысль, я скакал по свету, и все было мне подвластно». Дюма даже в зрелые годы сохранил этот божественный огонь. Разница состоит в том, что у Бальзака не было потребности претворять свои мечты в действительность. Он грезит о любовницах, но в глубине души счастлив, когда они, подобно Эвелине Ганской, его «Полярной звезде», остаются на другом конце Европы. Дюма хочет, чтобы они были рядом с ним, во плоти. Бальзак мечтает о грандиозных спекуляциях; Дюма спекулирует, строит, обольщает. Отсюда — нагромождение обязательств. Поистине приходится выбирать что-нибудь одно. Нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того и другого, терпит фиаско.

Во время пребывания в Брюсселе Портос еще выдерживает, не сгибаясь, огромную тяжесть, которая обрушилась на него. Кредиторы загнали его в глубь пещеры; глыба долгов вот-вот сломает ему хребет; женщины гроздьями виснут у него на шее. Выполнить обязательства, которые он принял на себя по отношению к издателям, не под силу не то что одному — десяти, ста человекам, а у этого неустрашимого великана есть только одно желание: затевать все новые и новые дела. Он готовит «Мемуары», пишет пьесы для театра, задумывает основать газету, покоряет новых женщин, не оставляя прежних. Дюма брюссельского периода словно говорит: «Я обременен долгами, связан договорами, и вот — я творю». Есть что-то благородное и подкупающее в силе этой уверенности, в облике этого стареющего человека, сохранившего иллюзии и безрассудство молодости. Монте-Кристо уже давно бы сдался, а его двойник Дюма ушел в партизаны. Он продолжал героически сражаться.

Он взял с собой в Бельгию свою дочь Мари (двадцати одного года), намереваясь сделать ее поверенной в своих любовных связях, бесчисленных и одновременных. Когда он инкогнито наезжал в Париж, то в промежутке между двумя поездками писал дочери в Брюссель, возлагая на нее странные поручения:

Дюма-отец — Мари Дюма:

«Я возвращаюсь с г-жой Гиди. Если портрет Изабеллы снова в моей комнате, прикажи его убрать».

Правда, он говорил ей и другое: «Я люблю тебя больше всего на свете, больше самой любви». Но девушка

очень плохо относилась к отцовским фавориткам и, притворяясь неловкой, ухитрялась вызывать целые сражения между дамами. Это было нетрудно. Анне Бауэр Мари говорила, что отец у госпожи Гиди; госпоже Гиди — что в Париже, в отеле Лувуа, Дюма один; на самом деле там жила с ним больная Изабелла Констан. Нередко Мари Дюма совершала ошибки умышленно. Отсюда вспышки ярости у отца, столь же бурные, сколь мимолетные. Впрочем, примирение наступало очень быстро.

Дюма-отец — своей дочери Мари:

«Дорогая моя, любимая! С первого дня, что я здесь, я был сиделкой и работником; обе эти обязанности я выполнял так добросовестно, что не находил времени написать тебе, не желая делать это второпях и кратко.

Я уехал от тебя, родная, в немного расстроенных чувствах... Несколько дней кряду у меня не клеилась работа, и я не представлял себе, где раздобыть денег. Но все обернулось к лучшему; и я даже надеюсь, что смогу завтра выслать вам тысячу франков и столько же привезти с собой, не сказав никому ни слова об этом. Из тех денег, что я пошлю тебе завтра, надо немного дать столяру и слесарю (столяру — чтобы иметь право заказать ему шкаф для маленькой зеркальной гостиной; слесарю — чтобы взять у него железную кровать такой ширины, как матрац, который находится в сарае)...

Я надеюсь возвратиться в ночь с субботы на воскресенье. Наши дела идут чудесно. С г-жой Дюма и г-жой Ферран покончено. Теперь мы можем рассчитывать на соглашение. У нас будут деньги, может быть, много денег, и тогда мое дорогое дитя в первую очередь получит все, что только пожелает.

Тебе привезут мое пальто — не удивляйся! Дело в том, что сегодня вечером я сделал вид, будто уезжаю, и Изабелла (она не выходит) послала мне вдогонку пальто, которое я забыл у нее. Его передали одному человеку, который отправлялся в тот вечер, и человек этот (он тщетно искал меня по всем вагонам) вручит тебе сей предмет...»

В Париже связи налаживал Дюма-сын, возвратившийся из собственного «сентиментального путешествия».

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Изабелла благодарит тебя миллион раз; она говорит, что ты был с нею очень мил. Она мне действительно необходима — иногда. Я не хочу здесь ничем обзаводиться... Завтра я въезжаю в дом. Он обставлен — и не единого су долга. Все квитанции на твое имя. Равно как и договор...»

Когда отец наезжал в Париж, они обедали у принца Наполеона (который слегка фрондировал против своего кузена-императора) в обществе Рашели, Биксио и Мориса Санда. Однажды вечером они отправились все вместе в Одеон смотреть пьесу их марсельского друга

Мери «Дон Гусман Отважный». Спектакль успеха не имел, и в антракте Александр спросил: «Мы дождемся похорон?» — что привело в восторг Александра Первого, который всегда гордился остроумиями своего мальчика.

Он писал Мари: «Александр — голодранец, вечно без гроша в кармане», но был счастлив, что может воспользоваться помощью сына — этого надежного и ловкого друга, чтобы избавиться от прежней фаворитки Беатрисы Пьерсон и освободить место для Изабеллы.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«М-ль Пьерсон не будет играть в «Асканию»... Само собой разумеется, что я не хочу давать ролей людям, которые довели меня до банкротства... Изабелла будет играть Коломб — эта роль словно создана для нее. Если ее не хотят ангажировать на год, пусть ангажируют на одну роль; мне это больше по душе. Пятнадцать франков в день ей не повредят. Прошу тебя ничего не менять в условиях, а также уговорить Мериса, чтобы он поставил на афише только свое имя. Пусть получит мою долю гонорара вместе со своей и отдаст деньги прямо тебе, без расписки...»

Отказываясь подписать пьесы и получая гонорар тайком из рук своего соавтора Поля Мериса, Дюма избегал необходимости делиться с кредиторами. Все имеет свои границы, даже честность.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой мой мальчик, Изабелла с каждым днем все больше восхищается тобою. При сем прилагаю письмо для г-жи Порше. Можно поручить ей продать билеты на «Асканию» при условии, что все деньги сверх тысячи двухсот франков, которые она должна послать мне, будут перечислены на наш счет. Я видел г-жу Прадье. Посылаю тебе окончание «Совести». Условлено, что Антенор передаст тебе пятьсот франков. Что касается остальной тысячи, то: 200 франков — Мари, 300 франков — Шерами, 300 франков — г-же Гиди и двести оставшихся по возможности мне...»

14 марта 1852 года: «Дорогой мой, раз уж мы перешли на язык цифр, считай:

Комната — 6 франков.
Алексис — 4 франка.
Лампы и уголь — 3 франка.
Завтрак — 3 франка.
Услуги — 1 франк.
Письма — 2 франка.

— 19 франков в день (sic!).

Считай все 20 франков с непредвиденными расходами. Ты уехал 9 января. Значит, 9 марта было два месяца... Двадцать франков в день составят шестьсот франков в месяц, то есть тысячу двести франков за два месяца. Прибавь сюда расходы на две поездки г-жи Гиди (гостиница), две поездки Шерами и две поездки Изабеллы, и ты получишь ровным счетом тысячу семьсот франков. Но теперь особняк уже готов, и я не должен за него ни единого су...»

«Асканио», сыгранный 1 апреля 1852 года в театре Порт-Сен-Мартен, в ходе репетиций был переименован и превратился в «Бенвенуто Челлини». Это была драма, написанная Дюма и Мерисом по роману, который Дюма издал в 1843 году. Главную роль играла Изабелла Констан; она служила моделью для статуи Гебы, над которой Мелинг — исполнитель роли Бенвенуто Челлини — почти весь вечер трудился на сцене. Этой актрисе, официальной любовнице своего отца, Дюма-сын взялся передавать более чем скромные субсидии.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Прежде всего прилагаю при сем письма к Морни. Затем: дал ли ты и можешь ли дать сто франков Изабелле? Она ждет не дожидается этих несчастных ста франков! Сразу же, как получишь это письмо, постарайся передать Изабелле сто франков. Потрудись отправить мне вазы, скульптурную группу и две картины... Изабелла должна приехать ко мне сюда. Навести ее в утро отъезда, помоги ей — она неопытна в путешествиях... Если она поедет во вторник, как я надеюсь, ты сможешь проследить, чтобы вазы были отправлены в ее багаже. Сделай надпись: «Обращаться с осторожностью: стекло».

Как на сей раз встретит незваную гостью Мари Дюма, ненавидящая Изабеллу Констан? Неисправимый донжуан подумывал об этом не без тревоги. В своем особняке на бульваре Ватерлоо он написал письмо дочери, спавшей в том же доме этажом выше, и ночью подсунул под дверь ее комнаты.

Дюма-отец — своей дочери Мари:

«Моя любимая детка, я так боюсь огорчить тебя, что решил письменно сообщить тебе то, чего не посмел сказать: несмотря на все мои старания помешать приезду Изабеллы, она все же завтра приезжает!

Что делать, дитя мое? Это печалит меня уже несколько дней, ибо я уже давно понял, что как только ей станет немного лучше, она примчится сюда. Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы ты на меня сердилась, как в последний ее приезд. Я так люблю тебя, мое дорогое дитя, что в выражении твоего лица черпаю все: и радость и печаль. Так наберись же мужества и не огорчай меня в течение тех трех-четырех дней, что она пробудет здесь. Только вот как мы устроимся с завтраками и обедами?

Если тебя не будет со мной за столом, как обычно, это меня глубоко печалит. Нельзя ли нам есть в твоей мастерской, чтобы надежнее спрятаться от возможных гостей?

Во всяком случае, на время трапез мы будем запира́ть двери... Наконец, если тебе это больше по душе, я воспользуюсь тем предложением, что она больна, и велю подавать нам с ней в гостиную Александра.

Поступай, как хочешь, только постарайся причинить мне как можно меньше огорчений. Я люблю тебя больше и сильнее, чем

самого себя, но и это еще далеко не выражает того, что мне хотелось бы сказать».

Дюма-сыну приходилось выколачивать из редакций газет суммы, которые причитались его отцу, подталкивать театральных директоров и время от времени усыплять подозрения Изабеллы, которая ревновала к госпоже Гиди, к Анне Бауэр, к Берте, к Эмме, к госпоже Галатри, к актрисам, выступавшим в Брюсселе, и ко всем женщинам Брабанта. Иногда он восставал против отцовских «комбинаций» или же против требований госпожи Гиди. «Послушай, дружок,— отвечал отец,— у меня было много любовниц. Ты знал их всех. Со всеми ты поначалу был хорош. Со всеми ты в конце концов ссорился. У меня сохранилось письмо, где ты мне пишешь, что г-жа Гиди — очаровательная женщина!..»

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Изабелла собирается завтра прийти к тебе, и я намерен составить ей компанию. В котором часу? Этого я пока не знаю... Ни слова Изабелле о моей позавчерашней поездке. Предупреди своих друзей, чтобы они невзначай не обмолвились об этом...»

Мари Дюма, строптивая наперсница, была в курсе другой, более тщательно законспирированной связи. В 1850—1851 годах Дюма-отец признался ей, что молодая замужняя женщина, Анна Бауэр, ждет от него ребенка. Мари заняла в этом деле позицию, которая пришла не по душе ее отцу.

Дюма-отец — своей дочери Мари:

«Дорогая Мари... В ответ на твое письмо я хочу поделиться с тобой кое-какими мыслями. Я совершенно не разделяю твоих взглядов на этот вопрос. Ты рассматриваешь его с точки зрения чувства. Я буду рассматривать его с точки зрения социальной и главным образом человеческой.

Каждый прежде всего сам отвечает за свои ошибки, даже за свои недуги, и не имеет никакого права заставлять других страдать из-за них. Если какой-то несчастный случай или физический недостаток сделал того или иного человека импотентом, то он должен нести все последствия этого физического недостатка и мужественно встретить все события, могущие отсюда проистечь.

Если женщина повинна в ошибке, если она забыла о том, что почитала своим долгом, то ей самой надлежит искупить свою слабость проявлением силы, как искупают преступление раскаянием. Но женщина, совершившая ошибку, равно как мужчина, страдающий импотентностью, не вправе возлагать на третьего человека бремя своей личной вины или своего несчастья.

Я высказывал эти соображения еще до того, как был зачат ребенок. Они были взвешены и подытожены следующими словами: «Ради того, чтобы иметь ребенка, я найду в себе силы все сказать и все устроить к лучшему». Именно благодаря этой решимости и

было зачато существо, которое пока еще не появилось на свет и которое наперед осуждается обществом.

Ничего не могло быть легче, чем не дать родиться ребенку, которого уже теперь, когда он существует, но еще не явился на свет, лишают места в обществе. Дети, родившиеся от адюльтера, не могут быть узаконены ни отцом, ни матерью. Этот ребенок родится от двойного адюльтера.

Как же сложится его жизнь, когда у матери такое состояние здоровья — она и сама считает, что может вот-вот умереть, — а отец уже настолько стар, что, испрашивая себе еще пятнадцать лет жизни, делает, пожалуй, слишком высокий запрос?

В четырнадцать лет этот ребенок скорее всего очутится на улице без всяких средств, во враждебном мире.

Если это окажется девушка, к тому же красивая, у нее будет возможность получить номер в полиции и стать дешевой проституткой. Если это будет юноша, ему придется играть роль Антони до тех пор, пока он, быть может, не станет Ласенером.

В таком случае лучше уничтожить эту жизнь, но еще лучше было бы не создавать ее вовсе. Я был бы крайне огорчен, если бы под этим ханжески-сентиментальным предлогом было принято подобное решение. Оно опрокинуло бы все мои представления о справедливости и несправедливости. Оно лишило бы тебя значительной доли моего уважения, и я очень опасаясь, что вместе с уважением испарилась бы и вся моя любовь.

Муж — импотент, тем хуже для него. Жена проявила слабость — тем хуже для нее. Но никто не посмеет сказать: «Тем хуже для того, кто обязан своим рождением этому бессилию и этой слабости». Каждый из нас шел в этом деле на известный риск. Г-жа Х. готова была развехаться с мужем и так твердо на это решилась, что собиралась прислать мне копию своего брачного контракта — правда, этого она не сделала. А мне грозил удар шпагой или пистолетный выстрел, и я по-прежнему готов принять любой вызов».

Дело не получило трагической развязки. Анри Бауэр родился в 1851 году. Ему суждено было всю жизнь носить имя мужа своей матери, но черты его лица и великодушные характера поразительно и неоспоримо свидетельствовали об отцовстве Дюма.

Когда Дюма начал в Бельгии писать свои «Мемуары», он стал собирать документы. Все могло пригодиться, даже угасшая любовь.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой! Если ты еще помнишь стихи, которые я посвятил в свое время малютке Вальдор, пришли их мне. Я вставляю их в свои «Мемуары». Если ты можешь раздобыть ее «Эпитафию», я хотел бы получить и ее...»

Читатель помнит, что романтически настроенная Мелани в момент разрыва сочинила свою собственную эпитафию, но все-таки не пожелала умереть. Вопль скорби стал достоянием литературы.

В короткие часы досуга Дюма по-прежнему встречался с изгнанниками. В доме бельгийца Коллара он виделся с Гюго, Дешанелем, Кине, Араго. Зачастую он сиживал с ними на террасе кафе «Тысяча колонн». Прохожие узнавали Гюго, Дюма и почтительно приветствовали их. Изгнанники колебались: ходить ли им в кафе «Орел», название которого напоминало об империи? Тогда Араго сказал: «Орел — эмблема всех великих людей». Гюго, с детства чтивший орлов, согласился с этим. Кафе «Орел» тоже стало местом встреч великих изгнанников.

Позднее эта маленькая группа распалась. В июле 1852 года Гюго уехал на остров Джерси. В Антверпене Дюма-отец посадил его на пароход. Сам он тосковал по Парижу. «Что останется от нашего века? — спрашивал он. — Почти ничего. Лучшие люди — в изгнании. Тит Ливий — в Брюсселе, а Тацит — на Джерси». Он торопился оформить соглашение с кредиторами, чтобы Тит Ливий мог вернуться восвояси с высоко поднятой головой. Дюма предложил кредиторам половину гонорара за свои произведения, как настоящие, так и будущие. Бывший секретарь Исторического театра Гиршлер, опытный и преданный Дюма бухгалтер, добился для него несколько более выгодных условий: 55 процентов ему, 45 процентов — кредиторам. Посредник писал в своем заключении: «Г-н Александр Дюма проявляет максимальную готовность и максимальные старания к выполнению своих обязательств». Это почти соответствовало действительности.

В начале 1853 года соглашение было подписано, и Дюма дал своим брюссельским друзьям превосходный прощальный обед. Так как дом на бульваре Ватерлоо был снят до 1855 года, Дюма предложил его Ноэлю Парфе. Министр финансов потребовал счет; его монарх бросил все квитанции в кухонную печь. Должник Монте-Кристо не утратил чувства долга.

Глава вторая

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ «ДАМЫ С КАМЕЛИЯМИ»

Вернувшись в Париж, Дюма застал своего сына в ореоле новоиспеченной славы. В 1851 году Александр все еще влачил жалкое существование. И не потому, что последние несколько лет он мало работал. Он издал то-

мик стихов («Грехи молодости»). «Это не плохие и не хорошие стихи — это юношеские стихи», — говорил он впоследствии. Нет, почти все стихи были явно плохими. Публика равнодушно встретила и другие его вещи: длинный рассказ, по замыслу — юмористический («Приключения четырех женщин и одного попугая»); исторический роман «Тристан Рыжий»; вычурную повесть «Учитель Мюстель». Успех имела только «Дама с камелиями». Но пришлось ждать до февраля 1852 года, пока пьеса, написанная автором по его собственному роману, удостоилась постановки.

Читатель помнит, что Дюма-отец принял пьесу в Исторический театр. Директор его, Остен возражал. «Эта же «Жизнь богемы» минус остроумие», — говорил он. В 1849 году Исторический театр прекратил свое существование. Юный Александр предлагал рукопись во все театры: в Гетэ, Амбигю, Водевиль, Жимназ. Всюду он потерпел фиаско. «Не сценично», — говорили столпы театра. «Аморально», — говорили столпы общества.

Он пытался увлечь достоинствами роли знаменитую актрису Виржини Дежазе — остроумную гризетку, обожаемую публикой. Однако Дежазе уже перевалило за пятьдесят, и она была полна здравого смысла. Она заявила, что роль превосходная, но она могла бы играть ее только в трех случаях: будь она на двадцать лет моложе, будь в пьесе куплеты и счастливая развязка. Она предсказала драме успех, однако для этого, по ее словам, требовались три условия: «чтобы произошла революция, которая уничтожит цензуру; чтобы Фехтер играл роль Армана и чтобы я не играла роль Маргариты, в которой буду смешна».

Шарль Фехтер, молодой обаятельный актер, с лицом меланхоличным и нежным, покорила Дежазе в один прекрасный вечер, когда играл капитана Феба де Шатопер в «Соборе Парижской Богоматери». Вплоть до падения занавеса он не отрываясь смотрел на стареющую актрису; она пришла и на следующий вечер; она ходила всю неделю. Они стали любовниками. Фехтер совсем недавно женился; Дежазе была вдвое старше его. Но она была все еще привлекательна и в театре пользовалась неограниченной властью, а юного Фехтера снесло честолюбие.

Виржини Дежазе — Шарлю Фехтеру:

«Ты собрал в Дьеппе всего девяносто шесть франков! Но ведь это ужасно, хоть я и знаю, что Дьепп — скверный городишко. Тамошние женщины предпочитают театру гостинье... При всем том 96 франков — это ничтожно мало! Так зачем же нам разъезжать вдвоем? Ты увеличиваешь тем самым свои расходы и лишаешь себя поэтического ореола. Публика не любит парочек... Надо быть одиноким, надо быть свободным, чтобы воздействовать на ее искрящее романтическое воображение. Это ужасно, но это правда...»

Дежазе дала Дюма хороший совет — взять Фехтера на роль Армана Дюваля. Но этого было мало — требовался еще и театр. В 1850 году Александру не удалось его найти, и, поскольку отец теперь не мог ему помогать, он чувствовал себя все более и более стесненным в деньгах. Он стал очень мрачен. Иногда он проводил вечера в «Балах Мабий». Под звуки шумливого оркестра молодые девушки танцевали с приказчиками. Он пожира глазами эти двадцатилетние создания, «источавшие сладострастие из всех пор», и предавался горьким размышлениям. «Как сделать, чтобы они перестали быть такими, перестали волновать всех этих самцов? Какие страсти они возбуждают! Сколько крови льется по их следам!.. Какую гнусную заднюю мысль тайла природа, создавая красоту, молодость и любовь?»

Дело кончилось тем, что он с грустью сунул свою рукопись в ящик. Однако 1 января 1850 года он вновь перечитал ее. Рано утром он отправился на могилу Мари Дюплесси. Будущее его тонуло в тумане, он растрачивал силы своего ума и своей души на посредственные произведения и начинания. Покоясь в могиле, несчастная девушка приняла его исповедь. Вернувшись домой, он закрыл жалюзи, зажег свечи и снова взялся за пьесу. Позже, когда к нему зашел его приятель Миро, он прочел ему «Даму с камелиями». Оба плакали. Пьеса удалась. Но кто сумеет разглядеть ее достоинства и кто осмелится похвалить?

Немного времени спустя, весной 1850 года, проходя по Итальянскому бульвару мимо кафе «Кардинал», Дюма заметил за одним из столиков актера Ипполита Вормса и толстяка Буффе, Лукулла богемы, одного из тех театральных директоров, которые никого не удивляют, став вдруг миллионерами или разорившись дотла. Буффе подозвал к себе молодого Дюма и пригласил его за стол.

— Вормс сказал мне, что из вашей «Дамы с камелиями» вы сделали превосходную пьесу. Вскорости я стану директором Водевиля; подержите для меня с полгода вашу пьесу — обещаю вам ее сыграть.

Шло время. 1851 год был отмечен связью с графиней Нессельроде и поездкой в Германию. Когда Александр вернулся, Буффе, как он и предсказывал, был уже директором Водевиля. Он начал репетировать «Даму с камелиями». Фехтер согласился играть Армана; роль Маргариты Готье была поручена Анаис Фаргей. Актриса была в должной мере красива, но раздражала Дюма своей глупостью.

— Ах, скажите,— спрашивала она,— неужели эта девица все пять актов будет выплевывать свои легкие?

— Простите, мадемуазель, но ведь это происходит с ней только в пятом акте — когда она при смерти.

— Пусть так. Но коль скоро вы вращались в этом кругу, сделайте милость, расскажите мне о нравах этих девиц — я о них ничего не знаю.

— Честное слово, мадемуазель, если вы не узнали их до сих пор, пока вы молоды, то не узнаете уже никогда.

Она стала до того невыносима, что автор и директор единодушно порешили искать другую Маргариту. Фехтер предложил госпожу Дош.

— Вот это мысль! — сказал Буффе.— Дош крайне соблазнительна. Это как раз то, что нужно. Но где, черт возьми, ее отыскать? Я не знаю, куда она девалась.

— А я знаю,— заявил Фехтер.— Она в Англии. Я поеду за ней.

Карьера госпожи Дош была весьма необычна. Урожденная Мари-Шарлотта-Эжени Планкет, она происходила из знатной ирландской семьи, обосновавшейся в Бельгии. Там она и родилась. Когда ей было четырнадцать лет, умер ее отец, и она решила «податься в театр». Ее приняли. В возрасте семнадцати лет, она вышла замуж за композитора Александра Доша¹, главного дирижера Водевиля, сорокалетнего вдовца, но этот брак окончился катастрофой. Два года спустя Дош эмигрировал в Россию, бросив жену-подростка, которая

¹ Александр Пьер Жозеф Дош (1799—1849 гг.). Его жена, которая ухитрялась всю жизнь уменьшать свой возраст на два года, родилась в Брюсселе в 1821 году; умерла она в Париже в 1900 году. (Примеч. автора.)

обманывала его с поистине изумительной ловкостью. Публика продолжала рукоплескать «малютке Дош», ее лебединой шее и осиной талии. Эта актриса-аристократка восхитительно одевалась, составила себе прекрасную библиотеку, покупала картины мастеров и помогала своим бедствующим товарищам-актерам.

Разочаровавшись в ролях, которые ей предлагали в Париже, она уехала в Лондон, по слухам, приняв решение больше не появляться на подмостках. Фехтер отправился к ней и рассказал о «Даме с камелиями». «Все актрисы Парижа отказались от этой роли. Не хочешь ли ты попытаться счастья?» Она прослушала пьесу, аплодировала, плакала, немедленно уложила чемоданы и на следующий же день по приезде в Париж начала репетировать. «Все у нее было в избытке,— говорил позднее Дюма-сын,— молодость, красота, обаяние и талант... Когда она играла эту роль, казалось, будто она написала ее сама». Но директор театра Буффе не очень-то обнадеживал.

— Да что там! — говорил он госпоже Дош.— Вы будете играть «Даму» в очередь с «Уистити», то есть через два дня на третий, а быть может, и всего только раз двенадцать-тринадцать.

Остальные исполнители не скрывали тревоги. Смелый сюжет казался им неприемлемым. И цензура — увы! — разделяла это мнение. Суровый и надменный Леон Фоше, занимавший в 1851 году пост министра полиции, запретил пьесу. Это произошло до государственного переворота, и Дюма-отец был еще в довольно хороших отношениях с принцем-президентом. Сын, придя в отчаяние, послал на переговоры отца. Однако цензор, господин де Бофор, заявил, что не может допустить такого скандала, хотя бы ради репутации обоих Александров Дюма.

— Если мы разрешим представить подобную пьесу, то публика еще до конца второго акта начнет швырять на сцену скамейки.

— В один прекрасный день,— заявил Дюма-сын,— появится министр, достаточно умный для того, чтобы разрешить мою пьесу. Приглашаю вас на спектакль, он будет иметь грандиозный успех.

— Я желаю вам этого, сударь, но не могу в это поверить.

Госпожа Дош близко познакомилась в Лондоне с

Луи-Наполеоном и его министром внутренних дел Персиньи. Она принялась хлопотать за свою пьесу.

— Пусть этой девочке вернут ее роль,— заявил Персиньи.

На одну из репетиций явился Морни. Он был не робкого десятка, но потребовал «на всякий случай» свидетельство о морали за подписью трех видных писателей. Дюма-сын отправился к Жюлю Жанену, Леону Гозлану и Эмилю Ожье; они прочитали пьесу и рекомендовали ее к постановке. Несмотря на тройное поручительство, Леон Фоше оставался непоколебим. Наступило 2 декабря. Луи-Наполеон провозгласил себя пожизненным президентом, затем — императором. Морни занял место Фоше. Три дня спустя после своего назначения сводный брат императора снял запрет с пьесы.

Успех ее был поразителен; автора наперебой вызывали, забрасывая его мокрыми от слез букетами, «которые женщины,— говорит Теофиль Готье,— срывали со своей груди».

«Мари Дюплесси удостоилась, наконец, памятника, которого мы для нее добивались. Поэт заменил скульптора, только вместо тела мы получили душу, и госпожа Дош дала ей очаровательное воплощение... Наивысшую честь поэту делает то, что во всех пяти актах его пьесы нет ни малейшей интриги, ни малейшей неожиданности, ни малейшего усложнения... Что касается идеи, то она такая же древняя, как сама любовь, и такая же вечно юная. По правде говоря, это не идея, а чувство. Должно быть, драмеды крайне изумлены успехом этой пьесы, которого они не могут себе объяснить и который опровергает все их теории. Бессмертная история влюбленной куртизанки, ты всегда будешь искушать поэтов!.. Понадобилось немалое искусство, чтобы в наше время — время засилья англо-женевского ханжества — представить на театре сцены современной жизни так, как они происходят в действительности, не сглаживая их никакими увертками... Диалог усеян свежими островами, которые поражают своей неожиданностью, полон словесных стычек, реплики звенят и мечут искры, как скрещенные клинки. Во всем чувствуется молодой, ясный ум, который не маринует свои остроты по три года в записной книжке, дожидаясь возможности пустить их в ход».

Госпожа Дош на самом деле потеряла сознание, а Фехтер в неистовстве отчаяния порвал ей кружев на шесть тысяч франков. У выхода Александра ждали друзья, чтобы вместе с ним отпраздновать успех. Но он попросил извинить его. «Я ужинаю с одной женщиной», — сказал он им. Эта женщина была его мать — Катрина Лабе. «В тот вечер мы пировали по-венециански! Чудесная еда — ломтик ветчины, чечевица с прованским мас-

лом, швейцарский сыр и чернослив. В жизни своей так вкусно не ужинал!» Отцу, который не хотел покидать Брюсселя, пока не будет подписано его соглашение с кредиторами, он телеграфировал:

«Большой, большой успех! Такой большой, что мне казалось, будто я присутствую на премьере одного из твоих произведений!» Дюма-отец ответил: «Мое лучшее произведение— это ты, мой дорогой сын!»

Некоторое время спустя Дежазе, находившаяся в Брюсселе, присутствовала там на премьере «Дамы с камелиями» и встретила в театре старшего Дюма. Он сиял от радости.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой друг! Весь вчерашний вечер я провел в обществе госпожи Паска. Мы только и говорили что о тебе, о твоём успехе, о твоих венках, о вызовах публики, о таланте госпожи Дош, о гении Фехтера. Все это великолепно. Г-жа Паска сказала мне, что ты дважды виделся с Морни. Постарайся все же получить крест¹: он тебе не помешает. Ещё одно преимущество, какое я вижу во всем этом,— у тебя заведутся деньги, и ты сможешь немного развязать себе руки. Если ты упорядочишь свой бюджет, отнеси сто франков, что я однажды прислал тебе (с улицы Энгьен) на улицу Лаваль...»

Готье был не единственным критиком, восхвалявшим «Даму с камелиями». Жюль Жанен говорил «о живости тона, о безупречной правдивости, благодаря которым эта пьеса о легких связях стала событием в литературе». Господин Прюдом был шокирован и нападал на автора за то, что он возвеличил куртизанку. В том же самом Водевилье в следующем сезоне была поставлена пьеса-антитезис «Мраморные девы» Теодора Барьера и Ламберта-Тибу, где девиц легкого поведения ставили на место: «Черт побери! Этому пора положить конец. Ну-ка, барышни, отойдите в сторонку, откатите свои экипажи! Дорогу порядочным женщинам, которые ходят пешком!»

В действительности, когда Дюма-сын писал «Даму с камелиями», он не собирался ни нападать на куртизанок, ни защищать их. В то время он был глубоко удручен смертью обаятельного и беззащитного создания, которое он любил. Он живописал жизнь и собственное сердце. Разве эта смерть была аморальна? Или эта по-

¹ Дюма-сын был награжден орденом только 14 августа 1857 года.

пытка искупления достойна порицания? Почему? «Автор здесь не становится ни адвокатом, ни публичным проповедником; он всего только художник, и тем лучше...» Он трепещет от сочувствия к своей героине. Он не судит ее: он полон дружеских чувств и жалости. Лишь много лет спустя пьеса переродится в сознании автора, и романтический юноша, постарев, станет беспощадным моралистом.

Глава третья

«МУШКЕТЕР»

Творение твое, блестяще, необъятно,
Играет красками, исполнено огня.

Виктор Гюго

Случается, что исторические потрясения производят глубокие трещины в обществе. Тем, у кого хватает сил, удается через них перебраться, но зачастую им приходится нелегко на другой стороне. Революция 1848 года обозначила четкий рубеж в жизни Франции. *Смена декораций*: небесный машинист спрятал в колосники двор Луи-Филиппа. *Смена актеров*: правят новые люди. Меняются вкусы публики. Виктор Гюго оказался на высоте: уйдя в изгнание, он обновил свое творчество, исполненное пафоса политической борьбы. Бальзак избежал новых треволнений, скончавшись в пятьдесят один год. Что касается Дюма-отца, то он вернулся из Брюсселя все тот же — полный надежд и планов.

Ему не терпится вновь увидеть друзей, бульвары, милую его сердцу сутолоку. Но на что жить? Первой его мыслью было основать ежедневную вечернюю газету «Мушкетер». Подписная цена — 36 франков для Парижа, 40 — для провинции. Редакция в «Золотом доме», улица Лаффит, № 1. «Золотой дом» был знаменитый ресторан; в прилегающей к нему четырехугольной башне помещалась редакция, а этажом выше — квартира Александра Дюма. Название для газеты было выбрано удачно. Публика тотчас же вспомнила Дюма-отца и самый знаменитый из его романов. Над заголовком был нарисован сидящий мушкетер. Первый номер возвещал, что

в ближайшее время выйдут в свет пятьдесят томов «Мемуаров» Александра Дюма. «Пятьдесят томов! — воскликнул Мери. — Это значит, что он выплеснет на публику двадцать пять бутылок воды...»

Не приходилось сомневаться, что в «Мемуарах» окажется «вода» и крепкое вино авторского темперамента будет разбавлено; однако публика любила «воду» Дюма, а кроме того, список остальных сотрудников редакции был блистателен: Александр Дюма-сын, Жерар де Нерваль, Октав Фейе, Роже де Бовуар, Морис Санд, Анри Рошфор, Альфред Асслин, Орельен Шолль и Теодор де Банвиль. С первых же дней успех газеты стал очевиден.

— В наши дни основывать газету? Невозможно, — изрекали авгуры.

— Если бы это было возможно, разве я бы за это взялся? — отвечал Дюма.

На первом этаже «Золотого дома» на двери красовалась белая картонная табличка, надписанная рукою патрона: «МУШКЕТЕР». Пожалуйста, поверните ручку». Поворачивали ручку и попадали в небольшую прихожую, где помещался стол из некрашеного дерева, а за ним — двое-трое служащих. За так называемой кассой на соломенном табурете восседал Мишель, бывший садовник из замка «Монте-Кристо». Почему именно Мишель? Требовался бухгалтер — на его место посадили садовника. «Я нашел то, что мне нужно, — заявил Дюма. — Мишель не умеет считать. Я сделаю его кассиром «Мушкетера».

В самом деле, умение считать было здесь ни к чему: касса неизменно пустовала. Дюма основал «Мушкетера», имея капитал в три тысячи франков: ни один человек в редакции не получал жалованья.

И все же «Мушкетер» выходил ежедневно и неукоснительно. Каким чудом? Денег в редакции не видели, однако ни в бумаге, ни в перьях недостатка не было. Сотрудники, не получавшие ни гроша, добросовестно сидели на своих местах. Дюма довольствовался тем, что сулил им всем славу, был с ними на «ты», — и все работало. Поначалу администратор Мартине в растерянности время от времени забегал к Дюма, чтобы сообщить ему:

— Мсье Дюма, у меня нет денег.

— Как? — восклицал Дюма. — А подписка? А розничная продажа?

— Дорогой мэтр, десять минут назад вы забрали у меня триста франков — все утреннее поступление.

— Конечно! Я отдал вчера тысячу франков за переписку.

В самом деле, Дюма, живший на третьем этаже, день-деньской просиживал за еловым столом, одетый лишь в панталоны со штрипками и розовую рубашку, и без устали строчил километры своих «Мемуаров». Он получал удовольствие, возрождая к жизни своего отца, свою мать, Вилле-Коттре, свое детство в лесной глуши, браконьеров, свои первые шаги в театре. Мимоходом он набрасывал портреты: портрет Левена, портрет Удара, портрет Луи-Филиппа, портрет Мари Дорваль. Он делал пространные отступления, рассказывая со всеми подробностями жизнь Байрона, юность Виктора Гюго. Все это было весьма бессистемно, но живо, красочно, увлекательно, а некоторые страницы (например, те, что посвящены Дорваль) просто превосходны. Одновременно с воспоминаниями он опубликовал романы «Парижские могикане» (совместно с Бокажем), «Соратники Иегу», серию очерков «Великие люди в домашнем халате», для которой с блокнотом в руках отправился интервьюировать Делакруа. Тот стонал: «Этот ужасный Дюма, который не выпускает из рук свою добычу, явился ко мне в полночь с расспросами, размахивая блокнотом. Бог его знает, как он воспользуется подробностями, которые я по глупости ему сообщил! Я очень его люблю, но сам сделан из другого теста...»

Его читатели сохраняли ему верность, и тираж «Мушкетера» достиг десяти тысяч экземпляров. По тем тяжелым временам это было много. Самые серьезные люди интересовались газетой. Ламартин писал Дюма:

«Вы спрашиваете мое мнение о вашей газете. У меня есть мнение о вещах, посильных человеку, у меня его нет о чудесах. Вы совершили нечто сверхчеловеческое. Мое мнение — это восклицательный знак! Люди искали вечный двигатель, вы нашли нечто лучшее — искусство вечно изумлять! Прощайте. Живите, то есть пишите. Вы всегда найдете во мне восторженного читателя...» Виктор Гюго прислал ему с острова Джерси свое высочайшее благословение: «Дорогой Дюма, читаю Вашу газету. Вы вернули нам Вольтера. Это огромное утешение для униженной и загубленной Франции. Vale et me ama!»¹.

¹ Будьте здоровы и любите меня (лат.).

Поначалу дела с газетой шли так хорошо, что влиятельные газетные директора Мильо, Вильмессан предложили Дюма купить у него «Мушкетера», сохранив за ним место сотрудника с очень высоким окладом. Это была неожиданная улыбка фортуны, надежная гарантия от его собственных сумасбродств. Он отказал не без выскомерия.

«Мой дорогой собрат,— писал он Вильмессану.— То, что предлагаешь мне ты и что предлагает Мильо — этот превосходный человек с поистине золотым сердцем,— великолепно. Однако я всю жизнь мечтал иметь свою газету, собственную газету, наконец-то она у меня есть и самое меньшее, что она может мне принести,— это миллион франков в год. Я еще не взял ни одного су из гонораров за мои статьи; если считать по сорок су за строку, то со дня основания «Мушкетера» я заработал двести тысяч франков; я преспокойно оставляю эту сумму в кассе, чтобы через месяц взять оттуда сразу пятьсот тысяч. При этих обстоятельствах я не нуждаюсь ни в деньгах, ни в директорах; «Мушкетер» — это золотое дно, и я намерен разрабатывать его сам...»

Чудеса не могут длиться вечно — тогда бы они перестали быть чудесами. Самым преданным сотрудникам надоело дружеское «тыканье» вместо жалования. Они исчезали один за другим. Подписчики — тоже. Их потчевали одним только Дюма-отцом. При всей их любви к нему они не желали довольствоваться его стряпней в качестве единственной духовной пищи. В конце концов сотрудники и рассыльные обратились в массовое бегство. Дюма горько сетовал на их «неблагодарность». В 1857 году «Мушкетер» пошел ко дну.

В поисках утешения Дюма часто выезжал в свет, обедал в обществе, упивался собственным красноречием. Он «проговаривал» статьи, которые ему больше нигде было печатать. Его можно было встретить у принцессы Матильды; будучи двоюродной сестрой Наполеона III, она тем не менее разрешала у себя в доме фрондировать против Второй империи. Дюма рядился там в тогу политического деятеля; он заявлял, что благодаря своей популярности столь же могуществен, как император. «Зовите меня просто Дюма,— говорил он принцессе Матильде,— вот уже двадцать пять лет, как я тружусь ради этого».

Он сочинял политические эпиграммы:

На родственников этих глядя,
Мы видим разницу одну:
Захватывал столицы дядя,
Племянник захватил казну.

Это не нравилось ни принцессе, ни высокомерному Вьель-Кастелю, который злобно отмечал в своем «Дневнике»:

«Большая ошибка — принимать Дюма и разрешать ему такой заносчивый тон». Но в глазах принцессы и в глазах толпы он оставался великим Дюма. Он с презрением отзывался о Наполеоне III. «Гюго,— говорил он,— опубликовал великолепные вещи о Наполеоне; я посвящаю ему еще более сильные строки в своих мемуарах... Этот комедиант оказался попросту малодушным: будучи претендентом, он глупейшим образом позволил себя арестовать. Ему надо было поступить по-моему — вооружиться пистолетом. В 1830 году я один взял город Суассон, пригрозив коменданту, что пристрелю его...»

В конце концов он и сам в это поверил.

Он поносил императора за то, что тот недостаточно почитает художников. После одного из таких страстных выпадов против режима кто-то спросил у принцессы Матильды, не поссорилась ли она с Дюма. Она ответила с улыбкой: «Думаю, что поссорилась насмерть... Сегодня он у меня обедает». Начиная с 1857 года она стала принимать у себя Дюма-сына. Она хотела представить его императору, чтобы тот наградил его орденом. Дюма-сын отказался, ссылаясь на свою гордость, на свою робость. И все же 14 августа 1857 года он был награжден; в качестве поручителя он избрал своего отца.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой мой сын! Три дня назад я получил твой крест и разрешение произвести тебя в кавалеры. Когда ты вернешься, я обниму тебя нежнее обычного, если только это возможно, и церемония будет совершена».

У Дюма-отца поводов для гордости было хоть отбавляй. Когда во Францию прибыла английская королева и ее просили назвать пьесу, которую можно было бы представить в ее честь в Сен-Клу, Виктория выбрала «Воспитанниц Сен-Сирского дома». Эту комедию сыграли на официальном приеме в замке, и монархиня изъявила свой восторг. «Я знаю,— говорил Дюма (которого император не удостоил приглашения),— я знаю, что было бы королеве еще приятнее, чем увидеть мою пьесу,— увидеть меня самого, и, по правде говоря, мне это было бы тоже приятно. Женщина столь замечательная, которая, быть может, станет самой знаменитой женщиной нашего века, должна была встретиться с величайшим человеком Франции. Досадно, что она уезжает, не увидев лучшего, что есть в нашей стране».

Для Дюма-отца не было тайной, что Дюма-сын частенько навещал Катрину Лабе. Бывшая белошвейка с Итальянской площади, уйдя на покой, достойно встретила старость. Большой успех «Дамы с камелиями» позволил молодому драматургу поселить мать в Нейи, Орлеанская улица, № 1. У нее была залитая солнцем комната-фонарь, выходившая в Булонский лес. В течение некоторого времени она держала небольшую читальню на улице де ля Мишодьер. Добродетельный Александр — примерный сын — оставался также преданным и почтительным другом Мелани Вальдор, которая публиковала книгу за книгой: ее романы и пьесы приносили ей славу и почести. Франсуа-Жозеф Вальдор, обреченный стараниями своей жены пребывать в дальних гарнизонах, завершил свою военную карьеру в качестве коменданта острова Экс.

Публикация нашумевших «Мемуаров» Александра Дюма Первого глубоко оскорбила двух женщин, которые только и любили его по-настоящему. Автор «Мемуаров» совершенно опустил Катрину Лабе. Чтобы ввести в повествование своего сына, он упомянул обиняком: «29 июля, в тот час, когда в Пале-Рояле явился на свет герцог де Монпансье, у меня, на Итальянской площади, родился герцог Шартрский». Мать он не назвал. Что касается Мелани Вальдор, то она прочла о себе следующие уничижительные строки: «Когда я создавал «Антони», я был влюблен в женщину далеко не красивую, но ужасно ее ревновал... так как она находилась в положении Адели и ее муж-офицер был в армии...»

Автор словно забавлялся, оскорбительно смешивая двух своих любовниц 1830—1831 годов. Читатель помнит, что Белль Крельсамер приняла в театре псевдоним Мелани Серре. В «Мемуарах» Александра Дюма мать его внебрачной дочери неизменно называется Мелани С***. «Моя дорожная спутница намеревалась взять подряд на девять месяцев. Бедняжка Мелани, быть может, это и не было ошибкой!..» Когда появился этот текст, госпожа Вальдор, почтенная бабушка, была на пороге шестидесятилетия, она только что потеряла единственную дочь и воспитывала внучку. Она негодовала.

Что касается его законной супруги Иды, то после долгой тяжбы с «господином Дюма Александром» она продолжала жить в Италии на средства ничего для нее

не жалевшего князя де Виллафранка, более влюбленного и более щедрого, чем когда бы то ни было. Читатель помнит, что в начале своей связи с Идой Ферье Дюма привез ее в Ноан, где молодая актриса сумела понравиться Жорж Санд. Когда в марте 1855 года знаменитая романистка, путешествуя по Италии со своим сыном (Морисом Сандом) и своим личным секретарем (Александром Мансо), приехала в Рим, она застала там свою «дорогую Иду», которая встретила ее с цветами. «Записная книжка» Жорж Санд за 1855 год сообщает нам, что в пятницу 30 марта писательница была в гостях у своей подруги. Женщины бросились друг другу на шею и целый час злословили о своих мужьях (Дюма и Дюдеване), затем отправились обедать к Фраскати в сопровождении Мориса, Мансо и князя де Виллафранка. 19 апреля Жорж обедала «в обществе», у госпожи Дюма, и охарактеризовала этот вечер четырьмя словами: «Поэтические истории. Музыка. Автографы».

Дневник Мансо, 22 апреля 1855 года:

«Вечер у госпожи Дюма. Музыка Алессандро. Были барон де Гассио, принц дон Пьетро, какой-то скульптор и два священника, один из них — страстный гимнаст. Макароны в огромном количестве... Распрощались в одиннадцать часов, унося с собой окорок и пирожные. Прелестный вечер!»

В понедельник 23 апреля Жорж Санд покинула Рим. Она пометила в своей записной книжке: «Прощание отняло много времени. Пришли Ида, князь и барон. Душили друг друга в объятиях. Они очаровательны...»

В 1857 году князь де Виллафранка, которому хотелось провести несколько месяцев в Париже, снял там красивый особняк с колоннами (он существует и по сей день) на авеню Габриель, № 38. Ида была больна, и вначале ее болезнь принимали за водянку; на самом деле это был рак матки, от которого ей вскоре суждено было умереть. Ее «очаровательный князь» (по выражению Жорж Санд) преданно ухаживал за ней и показывал ее самым знаменитым врачам. В течение этого последнего пребывания Иды во Франции ее отношения с Дюма были отношениями «кредитора и должника». Она возвратилась в Италию, где ее болезнь стала прогрессировать угрожающим образом. В Генуе (дом Пикассо, улица Аква Сола, приход церкви Утешения) она приняла последнее причастие и отдала Богу душу. Это случилось 11 марта 1859 года.

Жорж Санд — князю де Виллафранка, 14 марта 1859 года:
«Мой дорогой несчастный друг, мы безутешны... Боже мой, какой удар для Вас и какое горе, какая огромная скорбь для всех тех, кто ее знал! Такое большое сердце, такой глубокий ум! Какую Вы понесли утрату... Что Вы намерены делать? Вы не можете оставаться там, где все, решительно все каждую секунду будет Вам напоминать ее. Надо вернуться во Францию, в Париж... Здесь Вы сможете говорить о ней с нами, как ни с кем другим... Если бы мы могли пожать Вашу руку, это было бы утешением в смертельной скорби, которую испытываем мы все...»

Овдовевший Дюма-отец некоторое время ничего не знал о своем вдовстве, так как в те дни он гостил у своей дочери в Шатору. 4 мая 1856 года Мари Дюма вышла замуж за беррийца Пьера Олинда Петель, и свидетелями ее бракосочетания были Ламартин и (через поверенного) Виктор Гюго.

Дюма-отец — Виктору Гюго:

«Мой самый дорогой и самый великий друг!.. 28-го числа сего месяца моя дочь выходит замуж. Она просит Вас в письме, дорогой Виктор, чтобы Вы через поверенного были ее свидетелем вместе с Ламартином. Мы часто видимся с ним, и не было случая, чтобы мы не говорили о Вас. В конце концов Вы, мой дорогой Виктор,— частица моей души. И я, Ваш старый друг, говорю о Вас, как нескромный юный любовник о своей любовнице. Одно из великих и прекрасных таинств природы, одно из самых трогательных проявлений милосердия Божьего заключается в том, что разлука бессильна расторгнуть духовные узы.

Как я говорил, как я писал, как буду говорить и писать без конца, мой великий и дорогой друг, тело мое — в Париже, душа — в Брюсселе и Гернси, там, где Вы были, где Вы сейчас.

Я хотел бы, мой дорогой великан, чтобы Вы переписали на большой лист бумаги те прекрасные стихи, которые Вы посвятили мне. Я заключил бы их в рамку и повесил между двумя Вашими портретами, и тогда Ваш образ был бы всегда у меня перед глазами.

До свидания, мой друг. Мари ждет от Вас письма, в котором Вы сообщите ей, что согласны через посредство Буланже быть ее свидетелем. Это будет ее дворянской грамотой... Передайте госпоже Гюго, что я — у ее ног. Ее письмо — это письмо поэта, супруги и матери в одно и то же время. Я храню его, но не для того, чтобы заключить в рамку, а чтобы перечитывать, подобно влюбленному, прижимая его к сердцу... До свидания, мой добрый Виктор. Да соединит нас Бог — во Франции ли, в изгнании или на небесах...»

О смерти Иды Александр Дюма узнал от Альфонса Карра, поселившегося в Ницце, городе, расположенном поблизости от Генуи.

Дюма — Карру:

«Мой добрый друг! Когда пришло твое письмо, я находился в Шатору. Я нашел письмо по возвращении... Спасибо! Госпожа Дюма приезжала сюда год назад и заставила заплатить ей долг —

120 тысяч франков! У меня есть ее расписка. Я уезжаю в Грецию, потом в Турцию, Малую Азию, Сирию и Египет...»

Дюма, женившийся когда-то по принуждению и уже так давно расставшийся с женой, испытывал некоторое облегчение оттого, что стал совершенно свободным человеком. А князь де Виллафранка — безутешный любовник — горько оплакивал умершую, похороненную на кладбище в Стальено. Неисповедимы пути Господни! Князь написал Жорж Санд, прося ее составить эпитафию, которая будет высечена на памятнике его погибшей подруге.

Жорж Санд — князю де Виллафранка:

«Дорогой друг, самые лучшие слова — всегда самые короткие, и того, что Вы мне написали о Ней, — достаточно. Если Вы хотите добавить к этому еще несколько слов, подводющих итог ее жизни, не пишите: «Здесь покоится» или «Здесь нашла упокоение», — ибо души не находят упокоения в земле, а напишите: «В память о...» — и после всех имен: «чей высокий ум и благородная душа оставили глубокий след в жизни тех, кто ее знал. Большая артистка и великодушная женщина, она ушла от нас молодой и прекрасной, обаятельной и самоотверженной... В этой гробнице похоронено сердце мужчины».

Добряк Тео, так восхищавшийся двадцать лет назад белокурой пышнотелой Идой, тоже горевал о ней: «После смерти г-жи Эмиль Жирарден и г-жи Дюма в этом мире не осталось ни одной умной женщины...»

Слова, свидетельствующие лишь о том, что Теофиль Готье постарел.

Глава четвертая

«ДИАНА ДЕ ЛИС»

- Ты не страдаешь желудком?
 - Нет.
 - Напишешь еще несколько пьес, тогда посмотришь, что с тобой будет.
- Лабииш*

«Дама с камелиями», несмотря на весь ее успех, не обогатила Дюма-сына, у которого хватило порядочности (глупости, как сказал бы его отец) воспользоваться этой улыбкой Фортуны, чтобы расплатиться со всеми своими долгами. В 1853 году, снова оставшись без денег, он поселился на Сен-Жерменской дороге на вилле

«Монте-Кристо», которую все еще оспаривали друг у друга кредиторы. Дом пустовал. Дюма-сын обставил его кое-какой мебелью, взятой напрокат, и устроился там вместе с тремя друзьями, одним из которых был художник Маршалль. «Расходы мы делили между собой; столовые приборы у нас были из простого металла; стряпал для нас садовник. Там-то я и написал «Диану де Лис».

Сын не обладал ни легкомыслием, ни жизнерадостностью отца. Творческий труд всегда вызывал у него настоящую физическую усталость, доводившую до головокружения и спазм в желудке. Раннее знакомство с куртизанками, а вслед за тем мучительный роман с госпожой Нессельроде превратили его в человека разочарованного. Не отличаясь могучим воображением, которое позволяло его отцу оставаться лучезарным в мрачном мире, он взирал на людей с печальной суровостью. У него был тот же идеал, что у его матери, — честность и прямота. Ему хотелось основать семью, которая была бы противоположностью его собственной.

Дюма-сын стремился найти в каждой женщине Прекрасную Даму рыцарских романов. Но живая женщина — не Дама, так же как живой мужчина — не Рыцарь. Самая лучшая по-своему сумасбродна. Шекспира и Мюссе это сумасбродство вдохновляло на стихи; Шатобриан восхищается «смещением слабости и лент». Дюма-сын был не столь мудр и не столь терпим. Вступив в связь с графиней Нессельроде, он узнал человеческую самку в ее самом соблазнительном и самом ужасном виде. Он прошел школу аморализма. Он наблюдал мир Второй империи, населенный бесстыдными распутниками вроде герцога де Морни, ограниченными и тупыми мужьями, ловкими и развращенными женщинами. Светский человек глуп, празден, безнравствен, в молодости он делает детей портнихам, а женившись, обманывает жену. «Женщина, несчастливая в браке и соблазненная девушка; соблазненная девушка и женщина, несчастливая в браке, — из этого круга Дюма не выйти»¹.

¹ Заметки к лекции «Театр Александра Дюма-сына», которую Бек должен был читать в Марселе 27 ноября 1895 года. Лекция эта была отменена, так как Дюма находился при смерти. Он умер на следующий день.

Кем хотел стать он сам? Честным человеком, счастливым отцом семейства. Этого не случилось, и он стал Вершителем Правосудия, Другом женщин, но также их Судьей. Его персонажи, подобно мушкетерам, готовы были служить тому, что он считал подлинной справедливостью. Удары они будут наносить словами, подчас жестокими. Какова их цель? Спасти наивных молодых людей от опасных любовниц, белошвеек — от прожигателей жизни, простодушных молодых девушек — от развратных отцов семейства. В нем появится что-то от полководца и укротителя. Дюма-сын будет с хлыстом в руках входить в клетку со львицами. Но прежде чем взять на себя эту видную и неприятную роль, он должен был окончательно изжить эпизод с графиней Нессельроде — рассчитаться с ним в своих произведениях.

В первый раз он сделал это в 1852 году в романе «Дама с жемчугами», где он повествовал о своем приключении, почти ничего в нем не изменив. Героиня — иностранная герцогиня, в восемнадцать лет вышла замуж за человека, который, как и Дмитрий Нессельроде, носил знатное имя и занимал в своей стране видное положение. Там было все: ненавистная золовка, «очаровательно-неразборчивый» почерк Лидии, наперсница любовников Элизабет де Норси, в жизни — Элиза де Корси. Автор книги явно стремился к тому, чтобы его узнали в герое — Жаке де Фейле, так как герцогиня говорила последнему: «Если вы когда-нибудь опишете мою историю, вы назовете ее «Дама с жемчугами»; эта книга будет парой к той, которую вы написали раньше и героиня которой — куртизанка...» Разница только в одном: развязка романа более лестна для Дюма, чем действительный конец его связи, ибо в книге герцогиня Аннет, разлученная с любимым, умирает от горя, тогда как настоящая графиня Лидия преспокойно жила и успела забыть его.

«Диана де Лис» — поначалу короткая новелла, затем драма в пяти действиях. Это снова история несчастной патрицианки, влюбленной в художника Поля Обри. Покинутая мужем, Диана де Лис пускается в разгул. Поль Обри — еще один автопортрет — с благородной деликатностью удерживает ее от «позорных походов». Тогда в дело вмешивается муж. Он не любит свою жену, но это не важно, он муж, у него есть права. Он намерен увести Диану подальше от Поля «с помощью всех

тех средств, какие предоставляет в его распоряжение закон», совершенно так же, как увез свою жену Нессельроде. Когда Поль и Диана пытаются бежать, чтобы обрести свободу, граф де Лис холодно дает им юридическую консультацию.

«ГРАФ: Сударь, возможно, что общество устроено плохо, что вам хотелось бы исправить его ошибки, что мне и графине не следовало вступать в брак. Все это возможно, но в действительности я — муж этой женщины, она останется со мной, и ничто не может этому помешать, ибо она — моя жена... Даю вам честное слово, что если еще когда-нибудь я застану вас с госпожой де Лис, как застал сейчас, — даю вам слово, что я воспользуюсь правом, которое дает мне закон, и убью вас».

Как закончить пьесу? Выстрелом из пистолета без комментариев? Такая концовка искушала Дюма-сына отчасти потому, что она была бы симметрична развязке «Антони». В «Антони» любовник убивал жену; в «Диане де Лис» муж убьет любовника. Отчасти же потому, что моралист при всем своем отвращении к невыносимому мужу в душе оправдывал его. Но публика, без сомнения, предпочитала, чтобы победа оказалась на стороне симпатичных любовников.

Автор долго колебался. После триумфа «Дамы с камелиями» директора театров охотно взяли бы у него вторую пьесу. Но цензура снова поставила рогатки. Не потому, что сюжет был аморален: Персиньи, когда-то покровительствовавший молодому Дюма, не мог простить ему, что тот отказался написать для Оперы слова к верноподданнической кантате, приуроченной к какому-то случаю. Причины, которые выставил Дюма-сын, были основательны. Во Франции жили тогда великие поэты: Ламартин, Виньи, Гюго, Мюссе. Если они отказывались или если к ним не обращались, не подобало начинающему, к тому же очень слабому поэту, который дорожил своей независимостью, лезть на их место. Директор Оперы Нестор Рокплан настаивал: «В конце концов будете вы писать, да или нет?» — «Нет». — «Что же, — ответил он, смеясь, — вы правы».

За «Диану де Лис» вступился Монтиньи, директор театра Жимназ. Это был добрейший из людей, силач с квадратным лицом, с короткими волосами, бакенбардами и усами щеткой. Он походил на сторожевого пса. Его театр назывался Жимназ¹, ибо когда-то, на заре

¹ По-французски «Gymnase» означает «гимназия».

своего существования, должен был в силу дарованной ему привилегии стать театром-школой, где могли бы практиковаться учащиеся консерватории. Позднее там начали играть водевили с куплетами. С 1844 года Монтиньи боролся за то, чтобы привлечь туда публику, которой надоело видеть на сцене полковников, крестьянок и опереточных канонисс. В 1847 году он женился на очаровательнейшей актрисе Мари-Розе Сизо; родители ее тоже были актеры; совсем еще юная, она выступала под псевдонимом Розы Шери. Скриб — автор, которого много играли в театре Жимназ, взялся сделать ей предложение от имени Монтиньи.

— Я принес вам,— сказал Скриб юной Розе,— очаровательную и оригинальную роль.

— Драматическую?

— Надеюсь, что нет.

— Пьеса кончается свадьбой?

— Наоборот, со свадьбы она только начнется.

Директор и актриса составили образцовую чету. Мягкая и сдержанная, Роза Шери оказалась примерной матерью семейства. Ее неподдельный талант, благородный и отточенный, нравился публике Жимназ. Она преобразила театр. Присутствие за кулисами жены директора заставляло всех вести себя пристойно, хотя беспорядок, царивший в театре, поощрял свободу нравов. Артистическое фойе походило на неприбранную контору омнибусов с одним-единственным стулом для хозяйки. В кабинете директора всевозможные рукописи громоздили бархатный диван, стол и все углы. Монтиньи увидел в Диане идеальную роль для своей жены, потребовал снятия запрета и добился его.

За время репетиций между Монтиньи, Розой Шери и Дюма-сыном завязались прочные узы дружбы. Автор нашел обоих супругов столь умными, надежными, справедливыми и добрыми, что Жимназ стал его «собственным» театром. Он способствовал созданию легенды, превратившей Розу Шери в святую покровительницу корпорации актеров. Монтиньи молил Дюма дать «Диане де Лис» счастливую развязку. Однако автор упрямо держался за выстрел из пистолета и сохранил его. Публика и критика были сбиты с толку; успех пьесы, хотя и значительный, не шел в сравнение с триумфом «Дамы с камелиями». Граф де Лис мог сколько угодно говорить: «Этот человек был любовником моей жены; я отомстил

за себя; я убил его»,— столь свирепое правосудие ошеломляло.

Автор защищался от обвинений в том, будто он доказывал определенный тезис: «Разве искусство, в особенности театр, призвано очищать нравы трудящихся классов?.. Волнение, вызываемое зрелищем подлинной страсти, каков бы ни был ее характер, если только эта страсть говорит прекрасным языком, если она выражается пластическим движением,— такое волнение стоит больше, чем любые тирады... и оно совершенно по-другому воздействует на человека, заставляя его заглянуть в собственную душу, глубоко затрагивая самые глубины его существа...» До сих пор, в своих первых двух пьесах, он воспроизводил события собственной жизни. В пьесе «Полусвет», которая последовала за «Дианой де Лис», он описал среду, которую пристально наблюдал.

Это среда, в которой вращаются женщины, занимающие промежуточное положение между светскими дамами и куртизанками. Полусвет, по определению Дюма-сына,— это «не скопище куртизанок, а класс деклассированных». Когда позднее «дамами полусвета» стали называть женщин, сделавших любовь профессией, это слово потеряло смысл. Полусвет у Дюма — еще до некоторой степени свет. Там встречаются любовницы, которые не предъявляют счетов к немедленной уплате, ибо любовь здесь — добровольная. Но бесплатная ли? В основном — да, однако женщины, отвергнутые за неверность, молодые девушки «с пятном», составляющие полусвет, должны на что-то жить. Они ищут мужа-спасителя или же, если это необходимо, постоянного покровителя. «Этот свет начинается там, где кончается законный брак; он кончается там, где начинается продажная любовь. От порядочных женщин он отделен публичным скандалом, от куртизанок — деньгами...»

По отношению к несчастным созданиям, образующим полусвет и отделенным от так называемых светских женщин всего только барьером случая, Дюма-сын проявляет такую жестокость, которая вызывает возмущение. По его мнению, первейший долг — помешать порядочному человеку жениться на авантюристке. Долг столь настоятельный, что для исполнения его Вершитель Правосудия готов пойти на подлость. Чтобы вырвать своего друга Раймона де Нанжак, доверчивого и

наивного любовника, из сетей баронессы д'Анж, Оливье де Жален (который здесь олицетворяет автора) не побрезгует никакими средствами. Он считает такую женщину ядовитой гадиной, ее надо безжалостно раздавить.

Оливье де Жален открывает собой блестящую плеяду резонеров в пьесах Дюма-сына. Это ясновидящие, прозревшие тайны сердца, воинствующие моралисты, раздражающие своим самодовольством, уверенностью в своей непогрешимости и присвоенным себе правом руководить совестью. На первый взгляд они кажутся скептиками и нигилистами; на самом же деле они защищают общепринятую мораль. Некоторые их черты есть уже у Поля Обри, однако Поль Обри еще сам участвует в игре. Оливье де Жален хочет быть вне игры и управлять ею.

В первой редакции пьесы он был еще более невыносим и догматичен. «Есть многое такое, чего человек моего возраста чаще всего не знает, но что я уже познал и оценил по достоинству. И, повторяю вам, это прежде всего любовь, как ее понимают в мире, где мы живем. Я признаюсь, что такую любовь — любовь, которую женщина ищет в браке, жажда которой заставляет ее опускаться до адюльтера, которая обрекает ее на повседневную ложь... признаюсь, что я не способен почувствовать такую любовь даже к вам, менее всего к вам... Видя вас такой чистой, верной, доверчивой, я понял, сколько зла может эта любовь причинить женщине...» Таким был в тридцать лет сам Дюма-сын, пресыщенный легкой любовью, измученный любовью трудной, всецело занятый женщинами, старающийся, чтобы его поведение по отношению к ним соответствовало его идеалу, и изображающий на театре героя, каким бы ему хотелось быть: д'Артаньяна, для которого любая авантюристка — Миледи.

«Полусвет» ужаснул Монтиньи своей «дерзостью», но вдохновил Розу Шери: она увидела в баронессе д'Анж выигрышную роль, весьма отличную от тех, которые она привыкла играть. В течение нескольких недель министр Ашиль Фуль пытался вырвать у Дюма его пьесу для Французского театра, который он мечтал омолодить. Дюма, желая сохранить верность Жимназ, прибегнул к маленькой хитрости: он передал Фулю рукопись, вставив туда несколько крепких слов; сами по себе

вполне безобидные, слова эти в то время считались неприемлемыми для сцены. Император и императрица приказали прочесть им пьесу; они вскрикивали от ужаса. Жимназ был спасен.

Во время репетиций Дюма восхищался чудесной интуицией, с какою добропорядочная Роза Шери, с лицом наивного и шаловливого ребенка, угадывала и выражала чувства, казалось, ей совершенно неизвестные; Оливье де Жален, несомненно, сказал бы, что в каждой добродетельной женщине дремлет авантюристка. Что касается Монтиньи, то он был не способен отделить «госпожу Монтиньи» от персонажа, который она воплощала и который, по его мнению, бросал на нее тень. Дюма требовал от актрисы ярких красок, Монтиньи сдерживал ее. За спиною мужа Роза делала Дюма знаки, чтобы тот не уступал. С обоюдного согласия автор и актриса прибегали для премьеры некоторые смелые эффекты, которые на репетициях могли бы испугать мужа. «Она заранее наслаждалась ими, как школьница — какой-нибудь шалостью и говорила: «Только бы патрон ни о чем не догадался!» Успех был ошеломляющий. Неожиданная развязка обеспечила триумф. Даже Дюма-отец был в восторге. Он только что вернулся в Париж и с приятной гордостью наслаждался успехом сына.

Моралист предполагает; случай и страсть располагают. В то время как Дюма-сын в своих пьесах присуждал адюльтер к смертной казни, сам он вступил в связь с замужней женщиной и оторвал ее от мужа. Это снова оказалась русская, на сей раз — княгиня, уроженка Прибалтики, дочь статского советника. Красавице Надежде Кнорринг, «сирене с зелеными глазами», было двадцать шесть лет, когда Дюма сделался ее любовником. Проведя годы юности в глуши, она почти девочкой была выдана замуж за старого князя Александра Нарышкина. Этот неравный брак превратил ее в существо неудовлетворенное и необузданное. Она была подругой, наперсницей и соучастницей Лидии Нессельроде. Так как она скучала под сенью икон, то без колебаний бросила все, чтобы открыто жить во Франции с молодым Александром Дюма. Однако, бежав из Москвы, она не забыла взять с собой ни свою дочь, Ольгу Нарышкину, ни фамильные драгоценности.

«Больше всего я люблю в ней то, — писал Дюма-сын Жорж Санд, — что она целиком и полностью женщина, от кончиков ног

тей до глубины души... Это существо физически очень обольстительное — она пленяет меня изяществом линий и совершенством форм. Все нравится мне в ней: ее душистая кожа, тигриные когти, длинные рыжеватые волосы и глаза цвета морской волны...» Было что-то опьяняющее в том, что в его власти оказалась эта «великосветская дама», готовая пожертвовать всем ради того, чтобы принадлежать ему. Если браком с Эвелиной Ганской Бальзак брал реванш у надменной маркизы де Кастри, то Надежда Нарышкина должна была искупить измену ветреной графини Нессельроде. Чтобы прочнее утвердить свою победу над русской знатью, Дюма-сын демонстрировал крайнее презрение к аристократии, владевшей необозримыми степями и потерявшей счет золотым рублям. Это не уменьшало его нежной привязанности к «Великороссии» (Надежде) и «Малороссии» (Ольге) — так он называл их в письмах к Жорж Санд. «Мне доставляет удовольствие,— писал он владельце Ноана,— перевоспитывать это прекрасное создание, испорченное своей страной, своим воспитанием, своим окружением, своим кокетством и даже праздностью...» Пигмалион полагал, что изваял себе любовницу; позднее статуя отомстила скульптору.

«Я знаю ее не со вчерашнего дня, и борьба (ибо между двумя такими натурами, как я и она, это именно борьба) началась еще семь или восемь лет тому назад, но мне только два года назад удалось одолеть ее... Я изрядно вывалялся в пыли, но я уже на ногах и полагаю, что она окончательно повержена навзничь. Последнее путешествие доконало ее...»

Поездки в Россию были для княгини неизбежны. Чтобы взять денег из своих личных доходов и получить новое разрешение на пребывание за границей, Надежда Нарышкина должна была раз в год ездить в Санкт-Петербург. Там один услужливый врач предписывал ей лечение в Пломбьере, объявляя русский климат «вредным для ее легких», и рекомендовал ей длительное пребывание на юге Франции. Дюма-сын хотел жениться на своей иностранке, чтобы привести свое поведение в соответствие с собственными принципами, однако князь Нарышкин отказался дать ей развод. Царь, враждебно относившийся к открытому разрыву супружеских уз, требовал, чтобы среди аристократии браки были нерасторжимыми, а воспротивиться самодержцу — значило немедленно подвергнуться репрессиям. Развестись, сказал Нарышкин, значит лишить его дочь Ольгу части тех владений, коих она является единственной наследницей.

Замужняя любовница, мать семейства... Ничто не могло так противоречить идеям Дюма-сына, как его личная жизнь. Любовники страдали от сложившейся ситуации. Они скрывали свою любовь. В 1853 году мать княгини Ольга Беклешова, «проживающая в Москве, от имени своего мужа Ивана Кнорринга, российского статского советника», купила в Люшоне красивую виллу

в английском георгианском стиле (ионические пилястры, треугольный фронтон). Этот дом, называвшийся тогда «Санта-Мария», известен по сей день под именем «виллы Нарышкиной». С 1853 по 1859 год можно было видеть, как на газоне и посыпанных песком дорожках перед домом играют в мяч красивый молодой человек, красивая девочка и женщина с глазами цвета морской волны.

Глава пятая

ПОЕЗДКА В РОССИЮ

После того как эпизод с «Мушкетером» завершился и газета перестала существовать, Дюма охватила охота к перемене мест. Он всегда любил путешествия и умел возвращаться домой с объемистыми рукописями. На сей раз его влекла к себе Россия.

Отношения Дюма-отца с Россией восходят ко времени его первых шагов в театре. С 1829 года в Петербурге с успехом шел «Генрих III и его двор». Великий актер Каратыгин играл роль герцога Гиза, его жена — герцогини Екатерины. Затем, после того как Каратыгин перевел на русский язык «Антони», «Ричарда Дарлингтона», «Терезу» и «Кина», драматургия Дюма произвела в России настоящую литературную революцию. Чтобы увидеть пьесы Дюма, в театры повалила знать. Позднее Гоголь — по соображениям эстетическим — и официальная критика — по соображениям политическим — холодно отзывались о Дюма. Все эти недовольные (Антони, Кин), объявлявшие войну обществу, противники брака, тревожили официальные круги. Однако демократы — Белинский, Герцен — приняли Дюма всерьез и восторженно хвалили его.

В 1839 году Дюма пришла в голову мысль преподнести Николаю I, императору всея Руси, рукопись одной из своих пьес, «Алхимик», в нарядном переплете. И вот почему: художник Орас Верне незадолго до этого совершил триумфальное путешествие по России и получил от царя орден Станислава второй степени. Дюма, страстный собиратель регалий, всей душой жаждал этого ордена. Некий тайный агент русского правительства в Париже сообщил о желании Дюма министру, графу

Уварову, добавив, что, по его мнению, было бы весьма кстати удовлетворить это желание, ибо в этом случае Дюма, самый популярный писатель во Франции, мог бы оказать известное воздействие на общественное мнение этой страны, в тот момент неблагоприятное для России по причине симпатии французов к Польше. «Орден, пожалованный его величеством,— писал агент,— будет куда виднее на груди Дюма, чем на груди любого другого французского писателя». Эти слова свидетельствуют о том, что агент хорошо знал Дюма и его широкую грудь.

Министр дал благоприятный ответ, и рукопись, украшенная виньетками и ленточками, была отправлена в Санкт-Петербург в сопровождении письма за подписью: «Александр Дюма, кавалер бельгийского ордена Льва, ордена Почетного легиона и ордена Изабеллы Католической». Это был недвусмысленный намек. Но требовалось еще соизволение императора. Министр просил его: «Если бы Вашему Величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему лицу Вашего Величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему uznанию России и ее государя, то я, со своей стороны, полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена св. Станислава 3-й степени...» На полях докладной император Николай написал карандашом:

«Довольно будет перстня с вензелем».

Довольно будет? Кому? Уж никак не Дюма. Но дело было в том, что царь питал инстинктивное отвращение к романтической драме. Как-то раз он сказал актеру Каратыгину: «Я бы чаще ездил тебя смотреть, если бы не играли вы таких чудовищных мелодрам. Например, сколько раз зарезал ты в нынешнем году или удушил жену твою на сцене?» Дюма был уведомлен о пожаловании ему алмазного перстня с вензелем его императорского величества. Так как перстень долго не высылали, Дюма затребовал его и в конце концов получил. Он поблагодарил очень холодно, посвятил «Алхимика» не царю, а Иде Ферье (тогда еще фаворитке) и вскоре напечатал в «Ревю де Пари» роман «Записки учителя фехтования», который не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов — гвардейского офицера Анненкова и его жены, юной французской модист-

ки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. (В романе они выведены под вымышленными именами.) Рассказ велся от лица учителя фехтования Гризье, чьим учеником был Анненков. Роман был запрещен в России, где, разумеется, все, кто только мог его раздобыть, читали его тайком, в том числе и сама императрица.

Таким образом, при жизни Николая I Дюма был в России *persona pop grata*¹. Он не отдавал себе в этом отчета, и, когда в 1845 году его друзья Каратыгины приехали в Париж, он снова выразил желание увидеть Россию и быть представленным императору. Каратыгины поспешили отговорить его, и в течение нескольких лет он больше об этом не думал. Позднее, в 1851 году, любовные связи его сына, влюбившегося подряд в двух русских знатных дам — графиню Нессельроде и княгиню Нарышкину, снова напомнили ему о России.

Эти связи усилили искреннюю и глубокую симпатию Дюма к русским. Они были ему по душе. Мужчины-великаны пили горькую, женщины слыли самыми красивыми в Европе. История страны изобиловала борьбой страстей и кровавыми драмами, мало известными во Франции (где только Проспер Мериме, у которого был небольшой круг читателей, познакомил публику с некоторыми из них). Сочетание, заманчивое для Дюма как человека и как писателя.

И когда в 1858 году случай свел его в гостинице «Три императора» на Луврской площади с графом Кушелевым-Безбородко и его семьей, которые путешествовали по Европе, имея на два миллиона векселей на все банкирские дома Ротшильда в Вене, Неаполе и Париже, он увязался за ними следом. Кушелевы-Безбородко уже насчитывали в своей свите одного *illustrissime*² итальянского маэстро и одного шведского спирита — Дэниела Денгласа Юма (того самого медиума, которого любила Элизабет Баррет Броунинг), с детства обладавшего даром ясновидения и способностью заклинать духов. Они поспешили присоединить к этой свите такого знаменитого и занятого француза, как Дюма.

— Мсье Дюма, — заявила графиня, — вы поедете с нами в Санкт-Петербург.

¹ Нежеланное лицо (лат.).

² Знаменитейшего (ит.).

— Но это невозможно, мадам... Тем более что если бы я и поехал в Россию, то не только для того, чтобы увидеть Санкт-Петербург. Я хотел бы также побывать в Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Севастополе и возвратиться домой по Дунаю.

— Какое чудесное совпадение! — заявила графиня. — У меня есть имение под Москвой, у графа — земли под Нижним, степи под Казанью, рыбные тони на Каспийском море и загородный дом в Изаче...

Это способно было вскружить голову путешественнику, который всегда держался в Париже только на волоске — да и то на женском. Поскольку Николай I сменил Александр II, стало легче получить визу. Дюма-отец согласился. Через несколько дней поезд увез его в Кельн, Берлин и Штеттин, а оттуда на пароходе он поплыл в Санкт-Петербург. В дороге, читая книги и слушая рассказы своих спутников, он познакомился с историей Романовых, настолько трагической и скандальной, что лучшего нельзя было и желать.

Наконец пароход вошел в устье Невы. Дюма высадился на берег. Его привели в восхищение дрожки, кучера в длинных кафтанах, их шапки, напоминавшие паштет из гусяной печенки», и ромбовидные медные бляхи, висевшие у них на спине. Он познакомился с мостовой Санкт-Петербурга, которая в те времена за три года выводила из строя самые прочные экипажи. Вместе с графом и графиней он присутствовал в большой гостиной их дома на «молебствии по случаю благополучного возвращения», которое служил домашний поп. Хозяева Дюма были более Монте-Кристо, чем он сам. Их парк имел в окружности три мили. У них было две тысячи крепостных.

Из Санкт-Петербурга он отправился в Москву, где его принял у себя граф Нарышкин, у которого была подруга француженка Женни Фалькон, «грациозная фея», сестра знаменитой певицы Корнелии Фалькон. Дюма настойчиво ухаживал за своей хозяйкой. «Я целую вам только руку, завидуя тому, кто целует все то, чего не целую я». Пятьдесят лет спустя Женни Фалькон, которой было тогда уже восемьдесят, проговорила, что не устояла перед пылкими домогательствами Мушкетера.

Дюма пообещали, что его свозят на Нижегородскую ярмарку. Обещание было выполнено. В излучине Волги

Дюма увидел, как река внезапно исчезла, — на ее месте вырос лес расцвеченных флагами мачт. На пристани стоял оглушительный гомон двухсот тысяч голосов. «Единственное, что может дать представление о человеческом муравейнике, кишашем на берегах реки, — это вид улицы Риволи в день фейерверка, когда добрые парижские буржуа возвращаются восвояси...»

Александр Дюма сразу стал нижегородским львом. Генерал-губернатор Александр Муравьев представил его графу и графине Анненковым, которых Дюма, никогда не видев в глаза, сделал героями своего романа «Записки учителя фехтования», опубликованного в 1840 году. Супруги Анненковы были помилованы Александром II; они с распростертыми объятиями приняли человека, превратившего их в персонажей романа.

Самое большое счастье за время этого путешествия доставило Дюма открытие, что образованные русские знают Ламартина, Виктора Гюго, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и его самого так же хорошо, как парижане. В Финляндии он встретил игуменью, которая зачитывалась «Графом Монте-Кристо». Всюду и везде именитые князья, губернаторы провинций, предводители дворянства и помещики оказывали ему теплый прием. Чиновники величали его генералом, так как на шее у него всегда болтался по меньшей мере один орден. Он давал русским — и, в свою очередь, получал от них — уроки кулинарии, учился готовить стерлядь и осетрину, варить варенье из роз с медом и с корицей. Он оценил шашлык (ломтики баранины на вертеле, поджаренные на углях, после того как их сутки вымачивали в уксусе, с мелко нарезанным луком), но водка ему не понравилась.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой мой сын! Твое письмо догнало меня в Астрахани. Локруа сказал: «Из Астрахани не возвращаются». Был момент, когда я подумал, что Локруа — пророк из пророков. Момент, когда мне показалось, что я заперт здесь на всю зиму. Но успокойся, завтра я отправляюсь в путь.

Хочешь ли ты получить представление о путешествии, которое я совершил? Возьми карту России — не пожалеешь. Тебе известен мой маршрут до Москвы, и я постараюсь больше о нем не говорить. На пути из Москвы в Бородино ты увидишь две скрещенные сабли. Так знай же, здесь произошла знаменитая битва 1812 года. Из Бородина — в Москву, из Москвы — в Троицу. Ты найдешь Троицу, поднявшись на север. Возле озера изобилующего сельдью. Ты ведь знаешь, что я люблю сельдку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею.

Из Переславля — в Апатино (не ищи — не найдешь). Это имение в тридцать тысяч арпанов, не стоящее того, чтобы быть обозначенным на карте России. Из Апатина — в Калязин (ты найдешь Калязин на «матушке» Волге, как говорят русские, они еще не настолько хорошо говорят по-французски, чтобы знать, что по нашему Волга — мужского рода). Из Калязина в Кострому (смотри «Алжедимитрия» Мериме; до самой Костромы — по Волге). Из Костромы — в Нижний Новгород: здесь — ярмарка из ярмарок, целый город, состоящий из шести тысяч ларьков, к тому же публичный дом на четыре тысячи девиц. Как видишь, все на широкую ногу.

Из Нижнего, где я встретил Анненкова и Луизу — двух героев «Учителя фехтования», возвратившихся в Россию после тридцатилетнего пребывания в Сибири... в Казань, неизменно вниз по «матушке» или по «батюшке» Волге. Затем — в Камышин. В Камышине — внимание! — я отправляюсь к киргизам... Найди на карте озеро, вернее — три озера; первое из них — озеро Эльтон. Там я ночевал в палатке посреди степи и пировал с очаровательным человеком, господином Беклемишевым, атаманом астраханских казаков. Из Астрахани привезли солончакового барана, в сравнении с которым нормандские бараны ничего не стоят... Хвост нам подали отдельно — он весил четырнадцать фунтов. За десертом Беклемишев подарил мне свою шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту. Ты ее увидишь.

От озера Эльтон следуй за мной на озеро Баскунчак. Это очень красивое озеро, имеющее две мили в окружности. Когда мы объехали вокруг этого озера, меня спросили, не хочу ли я увидеть еще одно озеро, третье по счету. Но в тот момент я был по горло сыт водой и степью. Я снова поплыл по Волге и прибыл в Царицын. Ты найдешь Царицын на том месте, где Волга близко сходится с Доном. Там я сел на судно, которое доставило меня в Астрахань.

Прибыв в Астрахань, я немного поохотился на берегах Каспия, где в таком же изобилии водятся дикие гуси, утки, пеликаны и тюлени, как на Сене — лягушки и камчатки. Возвратясь, я нашел у себя приглашение от князя Тюмена. Это в некотором роде калмыцкий царь; у него пятьдесят тысяч лошадей, тридцать тысяч верблюдов и десять тысяч баранов, а сверх того очаровательная восемнадцатилетняя жена с раскосыми глазами и жемчужными зубами; говорит она только по-калмыцки. Она принесла в приданое мужу полторы тысячи шатров — у него их было десять тысяч — со всеми их обитателями. Этот милый князь, у которого, кроме пятидесяти тысяч лошадей, тридцати тысяч верблюдов, десяти тысяч баранов и одиннадцати тысяч шатров, имеется двести семидесят священников, из коих одни играют на цимбалах, другие — на кларнетах, третьи — на морских раковинах, четвертые — на трубах длиною в двенадцать футов, — прежде всего устроил нам в своей пагоде *Te Deum*¹, огромное достоинство которого заключалось в его краткости. Еще пять минут — и я вернулся бы к тебе, лишенный одного из своих пяти чувств.

После *Te Deum* он дал, ей-Богу, отличный завтрак; главным блюдом была лошадиная ляжка. Если увидишь Сент-Илера,

¹ Тебя, Бога [славим] (лат.) — начало католической молитвы; здесь: в значении молебен.

передай ему, что я присоединяюсь к его мнению, будто в сравнении с кониной говядина — та же телятина. Я говорю телятина, ибо я полагаю, что из всех сортов мяса ты более всего презираешь телятину. После завтрака для нас устроили скачки, в которых участвовало сто пятьдесят лошадей с юными калмыками обоего пола в качестве наездников... В этих скачках приняли участие четыре придворные дамы-княгини... Приз, состоявший из молодого коня и коломянкового халата, получил тринадцатилетний мальчишка...

После этого нам показали скачки шестидесяти верблюдов, на которых без седла сидели калмыки в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет — один безобразнее другого. Если бы приз присуждался не за скачки, а за уродство, князю пришлось бы наградить их всех.

После этого мы переправились на другой берег Волги, которая перед дворцом князя Тюмена имеет не более полумили в ширину, и увидели табун диких лошадей в четыре тысячи голов... Князь извинился, что не может показать мне больше: его только накануне предупредили о моем приезде, и это все, что удалось согнать за ночь.

Тут началось изумительное зрелище: ловля диких лошадей с помощью лассо. Неоседланные кони с всадниками калмыками мчались прямо в Волгу. Десять, двадцать, пятьдесят лошадей бесновались в воде, катались по песку, лягались, кусались, ржали; целый шквал всадников; кто его не видел, не может даже представить себе этой картины.

Мы снова переплыли Волгу и приняли участие в соколиной охоте на лебедей. Все это — охота, костюмы князя, княгини и ее придворных дам — производило какое-то средневековое впечатление и привело бы тебя в совершеннейший восторг, хоть ты и поклонник современности. Потом сели за стол. Начали с куриного бульона, который живо напомнил мне наши ужины в Сент-Ассизе; будь он сварен из ворона, сходство было бы полное. Остальные блюда за исключением лошадиной головы, начиненной черепахами, были заимствованы из европейской кухни. Одновременно с нами триста калмыков поедали во дворе мелко нарезанную сырую конину с луком, мясо двух коров и десять жареных баранов. Мне не довелось видеть свадебного пира Гамачо, но теперь, побывав на празднестве у князя Тюмена, я не жалею об этом.

Поверишь ли ты, что я ел сырую конину с зеленым луком и нашел ее необыкновенно вкусной? Не скажу этого о кумысе. Фу!!! Легли поздно: вечером пили чай в шатре у княгини. У меня в саду мы будем пить чай в совершенно таком же шатре. Поскольку я был героем праздника, меня обрядили в шубу из черного каракуля. Два калмыка изо всех сил затащили на мне серебряный пояс, и талия у меня сделалась, как у Анны. Наконец, мне вложили в руки хлыст, которым князь Тюмен одним махом убивает волка, хватив его по носу. Ты увидишь все это. Я одолжу тебе хлыст, чтобы прикончить Рускони, если он еще не помер.

Легли спать (о, это не такое простое дело!). Знаешь ли, с тех пор как я нахожусь в России, я в глаза не видел матраца. Кровать здесь — совершенно неизвестный предмет обстановки, и я видел кровати только в те дни, вернее — ночи, которые проводил с французами. Но имеются спальни с прекрасным паркетом, и со временем начинаешь понимать, что на паркете иногда не так уж плохо

спится. Я предпочитаю всем другим сосновый, несмотря на то, что он вызывает не слишком веселые мысли.

На другое утро каждому из нас принесли прямо в постель большую чашку верблюжьего молока. Я проглотил его, вручив себя Будде. Скажу тебе по секрету, что Будда — ненадежный Бог, и если бы его алтарь находился на открытом воздухе, я воздал бы ему должное. Наконец после завтрака я распрощался с князем Тюменом, потеревшись своим носом о его нос, что означает по-калмыцки: «Твой навсегда», — распрощался также и с княгиней, прочитав ей следующий экспромт:

Для царства каждого Бог начертал границы;
Там высится гора, а здесь река струится;
Но был Всевышний к вам исполнен доброты:
Степь он бескрайнюю вам дал, где в изобилие
И трав и воздуха. Вы царство получили,
Достойное и вас и вашей красоты.

Сам понимаешь, что, когда эти стихи были переведены на калмыцкий, сестра княгини, Груша (по-нашему — Агриппина), захотела, в свою очередь, получить мадригал. Я тотчас же отчеканил ей следующее:

Распоряжается Господь судьбою каждой:
В глуши вы родились, мир одарив однажды
Улыбкой неземной и взором колдовским.
Так стали обладать пески счастливой Волги
Одной жемчужиной, а степь — цветком одним.

Все это вознаграждалось улыбками, которые ничуть не стали хуже оттого, что сияли не в Париже. Однако, как сказал своим собакам король Дагобер, и с самой лучшей компанией рано или поздно приходится расстаться. Пришлось расстаться с калмыцким князем, сестрой калмычкой, с калмыцкими придворными дамами... Я было попытался потереться носом о нос княгини, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами.

Как я сожалел об этом!..»

Дюма никогда не отличался точностью, однако его рассказы по возвращении из России превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто прибыл издалека. Впрочем, какое это имеет значение? Слушатели были зачарованы. Он так увлекательно рассказывал, с таким пылом и такой убежденностью, что все верили, и прежде других — сам рассказчик.

Радость возвращения очень скоро остыла. Париж разочаровал Дюма. Навестившая его в эти дни Селеста Могадор, бывшая танцовщица из «Балов Мабий», а в прошлом — наездница в цирке Франкони, ставшая благодаря капризу одного знатного сына графиней де Шабрийян, застала его печальным. «Денежные затруднения мэтра, — пишет она, — угадывались по разбитым

стеклам на картинах, по высохшим и запыленным растениям, по грустно раскачивавшимся насестам, где уже не было разноцветных птиц...»

— Это ты, неверная? — спросил Дюма.

Она протянула ему руку. Он обнял ее.

— Я пожимаю руку только мужчинам, — заявил он.

У него был как раз Александр Дюма-сын. Он совсем не понравился гостье — она нашла его язвительным, ей показалось, что он твердо намерен удержать отца от всякой новой привязанности. Однако ловкой Селесте удалось впоследствии стать подружкой обоих Дюма. Она предпочитала отца, которого находила более «добрым и порывистым». Дюма-отец учил ее, как обеспечить себе душевный покой: лучше быть снисходительным и великодушным, говоря себе: «Я болван», — чем бить себя в грудь, выкрикивая: «*Mea culpa!*»¹ и твердя: «Я негодяй, подлец!» Она пришла показать ему свой роман «Эмигранты и ссыльные» и спросить, не согласится ли он отредактировать рукопись, поставить свое имя и разделить с нею гонорар.

— Нет, — ответил он, — я проделываю это только с новичками. Кроме того, ты поступила бы лучше, взявшись за драму. В романах приходится делать отступления, это необходимо, но очень скучно... Гораздо легче сочинять для театра... Не надо рисовать пейзажи и портреты, не надо описывать наряды... Для этого существуют декораторы...

Тут же он предложил записать ее в качестве стажера в Ассоциацию драматических писателей, он даже согласился сам представить ее. Это было с его стороны большой любезностью: он терпеть не мог выезжать с официальными визитами и повязывать шею широким галстуком из черного шелка. Спускаясь вместе с ним по Амстердамской улице (Дюма нанял там небольшой особняк, который существует по сей день под № 77), Селеста отметила, что многие прохожие узнают седую курчавую гриву и почтительно приветствуют папашу Дюма.

— Как все эти люди рады вас видеть! — сказала она.

¹ Моя вина (лат.).

— Они приветствуют меня,— галантно ответил Дюма,— но восхищаются тобою.

На углу улицы Сен-Лазар он хотел нанять фиакр. Кучер оглядел пузатого великана, мысленно прикинул его вес и отказался «погрузить», опасаясь сломать ресоры своей колымаги. В это время мимо проходил один из друзей Дюма; он остановился и воскликнул:

— О, это вы, Дюма! А я как раз шел к вам!

Услыхав знаменитое имя, кучер просиял.

— А! Вы господин Дюма? Господин Александр Дюма? Садитесь! Я отвезу вас, куда вы пожелаете.

Селеста Могадор подметила, что великий человек не безразличен к таким маленьким изъявлениям народной любви. Они его глубоко трогали и заглушали его внутреннюю тревогу. Светское общество Второй империи относилось к нему не столь благосклонно, как общество времен Луи-Филиппа. Принцесса Матильда заявляла теперь, «что он стал совершенно невыносим, что она всегда приглашала его к себе только как *шута*». Герцог Орлеанский и герцог Монпансье были более деликатны в своих речах и чувствах.

Глава шестая ОТЕЦ СВОЕГО ОТЦА

Я знаю драматурга, чьи недостатки и достоинства почти в точности повторяет Дюма-сын,— это Дюма-отец.

Леон Блюм

К 1859 году оба Дюма — отец и сын — были одинаково знамениты. Они походили друг на друга чертами лица, шириной плеч, тщеславием. Но во всем остальном они были очень несхожи и подчас даже осуждали друг друга. «Я черпаю свои сюжеты в мечтах,— говорил Дюма-отец,— а мой сын находит их в действительности. Я работаю с закрытыми глазами — он с открытыми. Я рисую — он фотографирует.— И он прибавлял: — Александр не сочиняет свои пьесы, а разыгрывает их словно по нотам: перед глазами у него сплошные нотные линейки». Отец создал великолепные образы Вершителей Правосудия, но его совсем не трогало то, что

сам он отнюдь не праведник; сын даже в жизни играл роль великодушного Атоса.

Они нередко ссорились. Сын упрекал отца, что тот плохо воспитал его: «Само собой разумеется, я делал то же, что на моих глазах делал ты; я жил так, как ты научил меня жить». Он порицал отца — человека более чем зрелого — за долги и бесчисленные любовные связи. Иногда Александр Второй адресовал Александру Первому поистине отцовские упреки. В таких случаях седеющий старый сатирик сокрушенно опускал голову, а вечером отец являлся к сыну с дарами — с роскошными яблоками, подобно тому, как некогда явился с дыней к Катрине Лабэ, чтобы вымолить у нее прощение.

Дюма-сын черпал в своих отношениях с Дюма-отцом сюжеты для пьес. Пьесы «Внебрачный сын» (1858 г.) и «Блудный отец» (1859 г.) автобиографичны в той мере, в какой это возможно для произведения искусства, то есть со значительными отклонениями. Дюма-отец аплодировал. Он знал, что сын любит его. Да сын и сам говорил об этом: «Ты стал Дюма-отцом для людей почтительных, папашей Дюма — для наглецов, и среди всевозможных выкриков ты порою мог слышать слова: «Право же, сын куда талантливей, чем он сам». Как должен был ты смеяться!

Однако нет! Ты был горд, ты был счастлив, как всякий отец; ты хотел только одного — верить в то, что тебе говорили, и, быть может, верил. Дорогой великий человек, наивный и добрый, ты поделился со мной своей славой, так же как делился деньгами, когда я был юн и ленив. Я счастлив, что, наконец, мне представился случай публично склониться перед тобой, воздать тебе почести на виду у всех и со всей сыновней любовью прижать тебя к груди перед лицом будущего...»

Забыв всю свою злость и все обиды, Дюма-сын видел в отце своего лучшего друга, своего учителя и даже ученика. Ибо старый писатель, живое чудо, переживал обновление. Подобно тому как сын глубоко изучил структуру отцовских драм, так и отец под влиянием сына все больше склонялся к реализму. Он отказался от своих королей и герцогинь ради буржуа и маленьких людей. «Мраморных дел мастер» — пьеса бытовая и простая; «Граф Германн» — это «Монте-Кристо» без мести, без тирад. У отца и сына была «семейная жилка», на которой держались их драмы и комедии. Оба — а в особен-

ности сын — считали также, что писатель может и должен защищать определенные тезисы. Как раз это и возмущало Гюстава Флобера: «Заметьте, люди делают вид, будто путают меня с молодым Алексом. Моя «Бовари» стала «Дамой с камелиями». Вот те на!..» Гюго после смерти Дюма-отца сравнивал двух Дюма: «Отец был гений, — сказал он, — и у него было даже больше гениальности, чем таланта. В его воображении рождалось множество событий, которые он вперемешку бросал в печь. Что выходило оттуда — бронза или золото? Он никогда не задавался этим вопросом. Пыл его тропической натуры не остывал оттого, что он расточал его на свои удивительные произведения; он испытывал потребность любить, отдавать себя, и успех его друзей был его успехом». «А Дюма-сын?» — спросили Гюго. «Тот совсем другой... Отец и сын находятся на разных полюсах. Дюма-сын — это талант, у него столько таланта, сколько его может быть у человека, но ничего, кроме таланта».

Такие же чувства примерно в 1859 году выразила графиня Даш. Вот что она сказала про Дюма-отца:

«На Дюма можно досадовать только издали. Являешься к нему в праведном гневе, в настроении самом враждебном; но, увидев его добрую и умную улыбку, его сверкающие глаза, его дружелюбно протянутую руку, сразу забываешь свои обиды; через некоторое время спохватываешься, что их надо высказать; стараешься не поддаваться его обаянию, почти что боишься его — до такой степени оно смахивает на тиранию. Идешь на компромисс с собой — решаешь выложить ему все, как только он кончит рассказывать».

Он в одно и то же время *искренен и скрытен*. Он не фальшив, он лжет, подчас и не замечая этого. Он начинает с того, что лжет (как мы все) по необходимости, из лести, рассказывает какую-нибудь апокрифическую историю. Через неделю эта ложь, эта выдуманная история становится для него правдой. Он уже не лжет, он верит тому, что говорит, он убедил себя в этом и убеждает других...

Чему никто не захочет поверить и что тем не менее истинная правда — это баснословное постоянство великого романиста в любви. Заметьте — я не говорю *верность*. Он установил коренное различие между этими двумя словами, которые, по его мнению, не более схожи между собой, чем определяемые ими понятия. Он никогда не способен был бросить женщину. Если бы женщины не оказывали ему услугу, бросая его сами, при нем и по сей день состояли бы все его любовницы, начиная с самой первой. Никто так не держится за свои привычки, как он... Он очень мягок, и им очень легко руководить, он нисколько не возражает против этого.

Дюма искренне восхищается другими: когда заходит речь о Викторе Гюго, его физиономия оживляется, он счастлив, превознося Гюго, он крепко сцепился бы с теми, кто стал бы ему перечить. И это не наиграно — это правда. Он и себя ставит в тот же пер-

вый ряд, но хочет, чтобы и Гюго непременно стоял бок о бок с ним. Он испытывает потребность разделить с Гюго фамию, воскуряемый им обоим. Гюго и некоторые другие составляют частицу его славы, без них она показалась бы ему неполной...»

А о Дюма-сыне та же писательница заметила:

«Дети кондитеров и пирожников не бывают лакомками. Сын Александра Дюма, банкира всех тех, кто никогда не отдает долгов, не мог бросать на ветер ни своих экую, ни своей дружбы. Крайняя сдержанность Александра — следствие полученного им воспитания и тех примеров, которые он видел. Жизнь его отца для него — фонарь, горящий на краю пропасти.

Дюма-сын прежде всего — человек долга. Он выполняет его во всем... Вы не найдете у него внезапного горячего порыва, свойственного Дюма-отцу. Он холоден внешне и, возможно, охладел душой с того времени, как в его сердце угас первый пыл страстей.

Его юность — я едва не сказала: его отрочество — была бурной... Он остепенился с того момента, как к нему пришел успех.

Он стал зрелым человеком за одни сутки, в свете рампы, под гром аплодисментов. Теперь это человек рассудительный и рассуждающий; подсчитывающий свои ресурсы, ничего не делающий с налету, изучающий людей и вещи, остерегающийся всяких неожиданностей и увлечений и опасющийся привычек, даже если они приятны и сладостны.

Он человек чести. Он выполняет свои обещания... Он серьезен, положителен; он экономит, помещает деньги в банк, интересуется биржевыми курсами и подготавливает свое будущее. Его мечта — жить в деревне. Он уже теперь помышляет об отдыхе и покое...

Он недоверчив. Он весьма невысокого мнения о роде человеческом. Он доискивается до причин всего, что видит... Ирония его глубока; он не насмехается — он жалит. У него есть друзья, которые любят его сильнее, чем он любит их. Его профессия — разочарование, горький плод опыта...

Неизменный предмет его нападок — страсть, как ее понимали двадцать пять лет тому назад. Женщины непонятые и неистовые не вызывают у него никакого сочувствия. Он готов сказать им, когда они плачут: «Что вы этим хотите доказать?»

Отец и сын были блистательными собеседниками, но разного стиля. Дюма-отец, говоря, сочинял, как бы набрасывал главу из романа.

«Я слышал, — вспоминает доктор Меньер, — как Александр Дюма рассказывал о Ватерлоо генералам, которые были в сражении. Он говорил без умолку, объяснял, где и как стояли войска, и повторял произнесенные там героические слова. Одному из генералов удалось, наконец, перебить его:

— Но все это не так, дорогой мой, ведь мы там были, мы...

— Значит, мой генерал, вы там решительно ничего не видели...»

Дюма-сын, не столь многословный, достигал того же эффекта своими едкими, нередко — блестящими островами.

Дневник Гонжуров, 20 мая 1868 года:

«Сегодня вечером у принцессы мы впервые услышали остро-ты Дюма-сына. Остроумие у него грубое, но неиссякаемое. Своими ответами он рубит направо и налево, не заботясь о вежливости; его апломб граничит с наглостью и обеспечивает его словам неизменный успех; и ко всему примешивается жестокая горечь... Однако бесспорно, что остроумие у него самобытное, жальщее, колющее, живое, на мой взгляд, оно выше сортом, чем то, которым насыщены его пьесы, благодаря краткости и отточенности, отличающим его только что родившиеся остроу-ты...»

Он защищал тезис, что у всех без исключения людей все чувства и впечатления зависят от состояния желудка — хорошего или плохого; в подтверждение он рассказал об одном из своих друзей, которого он привел к себе обедать в день смерти жены этого человека, горячо любимой жены. Он положил ему кусок мяса, но гость вдруг протянул свою тарелку и с нежной мольбой в голосе сказал:

— Дайте, пожалуйста кусочек пожирнее!

— Что поделаешь, желудок! — добавляет Дюма.— У него был великодушный желудок; он не мог испытывать сильную скорбь... Вот и Маршаль... Маршаль при его желудке никогда не умел огорчаться...»

Частная жизнь Дюма с зеленоглазой княгиней была нелегкой. Но он по-прежнему восхищался «русскими дамами, которых Прометей, должно быть, сотворил из найденной им на Кавказе глыбы льда и солнечного луча, похищенного у Юпитера... женщинами, обладающими особой тонкостью и особой интуицией, которыми они обязаны своей двойственной природе — азиаток и европейнок, своему космополитическому любопытству и своей привычке к лени... эксцентрическими существами, которые говорят на всех языках... охотятся на медведей, питаются одними конфетами, смеются в лицо всякому мужчине, не умеющему подчинить их себе... самками с низким певучим голосом, суеверными и недоверчивыми, нежными и жестокими. Самобытность почвы, которая их взрастила, неизгладима, она не поддается ни анализу, ни подражанию...»

Эпоха накладывает свою печать на характеры. Дюма-отец поднялся на подмости в те дни, когда Фортуна щедро раздавала дары. Скучающий Париж 1828 года завоевать было легко. Только-только минули времена, когда солдат за четыре года становился генералом. Люди торопились все увидеть и всем овладеть. Всякая экстравагантность была по вкусу, ибо действительность превосходила самую смелую фантазию. Дюма-отец, бесшабашная богема, сочетавший в себе патетику и юмор, невзначай стал драматургом. Сын лелеял другой честолюбивый замысел: он хотел заставить людей отказаться от

укоренившегося мнения, что Дюма — это несерьезно, и убедить их, что драматург может быть порядочным человеком в классическом смысле этого слова. Он стал защитником того, чего ему более всего недоставало, — семьи; безжалостным противником всего, что его оскорбляло, — прожигателей жизни, куртизанок, адюльтера.

К тому же все больше страданий причиняли ему скандальные выходки отца. В 1858 году разыгрался тягостный процесс, в котором противниками выступали Дюма и его бывший соавтор Маке. За десять лет до того Маке дал Дюма нечто вроде дарственной на все прежние произведения, но лишь в виде аванса за будущее сотрудничество, которого Дюма не продолжил. Дюма-отец, содержащий целый гарем и кормивший десяток бывших и настоящих любовниц, растратил вместе со своей долей авторского гонорара и то, что причиталось Маке — расчетливому буржуа, который довольствовался одной любовницей (замужней женщиной, отбитой им у мужа), был ей верен и прятал ее в деревне, чтобы не скомпрометировать. Отчаявшись, он в конце концов начал процесс против Дюма, требуя, чтобы тот признал за ним авторство «Трех мушкетеров», «Графини де Монсоро», «Графа Монте-Кристо» и всех других романов.

Многие взяли его сторону. Бывший главный редактор газеты «Сьекль» Шарль Матарель де Фьенн писал ему:

22 января 1858 года: «Дорогой господин Маке! Пишу несколько строк, чтобы сообщить Вам, что я только что прочел отчет о Вашем процессе и что мое свидетельство может исправить одну ошибку. В 1848 году «Сьекль» публиковала «Виконта де Бражелона». Как-то раз в шесть часов вечера мне сообщили, что фельетон (за ним ездили в Сен-Жермен, к Александру Дюма) утерян! Но «Сьекль» не могла выйти без фельетона... я знал обоих авторов: один жил в Сен-Жермене, другой в Париже; я отправился к тому, кто был рядом. Вы как раз собирались сесть за стол. Вы были столь добры, что не стали обедать и устроились в кабинете дирекции. Я как сейчас вижу Вас за работой: Вы писали, отпивая попеременно то бульон из чашки, то бордо, которое редакция уделила Вам из своих запасов. С семи часов до полуночи ко мне непрерывно поступал лист за листом. Каждые четверть часа я передавал их наборщику. В час ночи вышла газета, где была глава из «Бражелона». На следующий день мне принесли сен-жерменскую рукопись — она была найдена на дороге. Разница между текстом Маке и текстом Дюма составила не более *тридцати слов* — на все пятьсот строк, которые насчитывал отрывок!

Такова правда. Делайте с этим заявлением все, что Вам угодно. На тот случай, если мои воспоминания будут сочтены неточны-

ми, я просил заведующего редакцией, мастера наборного цеха и ректора засвидетельствовать факты...»

Заявление Фьенна сочли бездоказательным, и Маке проиграл процесс. Но переговоры между соавторами продолжались. Эти два человека нуждались друг в друге. Безупречный Ноэль Парфе сделал попытку вмешаться.

Ноэль Парфе — Дюма-отцу, 6 октября 1860 года: «Я твердо, искренне верю в то, что, советуя тебе вновь сойтись с Маке, даю хороший совет — никто из людей, любящих тебя, не осудит меня за это... Скажи только слово — и дело будет сделано, я на это надеюсь. Кому, как не тебе, пристало уступить добродушному побуждению? Я был бы несказанно удивлен — ведь я хорошо знаю тебя — тем, что ты ведешь процесс против Маке, если бы не подозревал причину в твоём дурном окружении. Вырвись, наконец, из когтей деловых людей, стань опять самим собой, то есть добрым, превосходящим Дюма, готовым открыть свое сердце даже тому, кто, быть может, не сразу его распознает...»

Дюма-отец было согласился, но потом одумался.

Дюма-отец — Дюма-сыну, Неаполь, 29 декабря 1860 года:

«Маке — человек, с которым я больше не желаю иметь ничего общего.

Маке по договоренности получил за меня гонорар и должен был его тут же мне передать, но вместо того, чтобы оставить себе третью часть денег за «Гамлета»¹, в создании которого он никогда не участвовал, и две трети денег за «Мушкетеров», он присвоил все. В моих глазах он — вор.

Мои книги принадлежат мне, и мне они стоят довольно дорого. Это ваша собственность, твоя и твоей сестры, и для того, чтобы никто этого не оспаривал, я в один прекрасный день продам их тебе, за что нам придется уплатить лишь налоговый сбор. Но пока я жив, мой приятель Маке не будет иметь ничего общего ни со мной, ни с моими книгами».

Ноэлю Парфе Дюма написал как раз обратное:

«Покажи Маке твое письмо и скажи, пожав его руку, что ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем твое предложение...»

Все эти грязные тяжбы претили Дюма-сыну. Приданое, обещанное отцом его сестре (120 тысяч франков), так и не было выплачено, и это ставило в очень трудное положение Мари, которая жила в Шатору, у своей свекрови, госпожи Петель, — та с утра до вечера попрекала невестку бедностью. Поскольку Дюма-отец всегда пребывал в путешествиях или в нежном уединении с какой-

¹ Драма в 5 актах, 8 картинах, представленная в Историческом театре 15 декабря 1847 года.

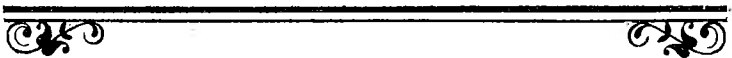
нибудь юной девицей, Дюма-сыну приходилось вести за него процессы, утихомиривать журналистов. Иногда он роптал. Санд успокаивала его.

Жорж Санд — Дюма-сыну, Ноан, 10 марта 1862 года:

«Поверьте, что избытком таланта папаша Дюма обязан лишь той расточительности, с какою он его тратит. Да, у меня невинные склонности, но я создаю вещи простые, как дважды два. А его, человека, который носит в себе целый мир событий, героев, предателей, волшебников, приключений; человека, олицетворяющего собой драму,— не думаете ли Вы, что невинные склонности погубили бы его как писателя, погасили бы его фантазию? Ему необходимы излишества, чтобы непрестанно поддерживать огонь в очаге жизни. Право же, Вам не удастся изменить его, и на Вас ляжет бремя двойной славы — его и Вашей: Вашей — со всеми ее плодами, его — со всеми шипами. Что поделаешь! Он передал Вам свое большое дарование и потому считает себя в расчете с Вами... Это жестоко, да и трудно — волей-неволей становиться иногда отцом своего отца...»

Как было не питать глубокую привязанность к этому великолепному человеку? С массивной золотой цепью на белом пикейном жилете, обтягивавшем огромный живот, он сидел в театре и рукоплескал «Блудному отцу»; когда публика вызывала автора, он стоя аплодировал сыну и своим радостным гордым видом словно говорил всем: «Знаете, ведь эту пьесу написал мой мальчик!»

Мальчик, в свою очередь, восхищался отцом, обожал его: «Он такой, какой есть, не осознавая себя. По этому узнается настоящий самобытный гений». Того, что отец расточителен и беспутен — увы! — нельзя было отрицать. Но сын не сомневался в том, что это лучший из людей, а из писателей — самый великодушный в наиболее полном смысле этого прекрасного слова. И в хорошие дни его жизни это делало его счастливым.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Э. Кирнозе, В. Пронин. Мастер биографического жанра</i>	5
<i>ТРИ ДЮМА. Части I—VII. Перевод Л. Беспаловой и С. Шлапоберской</i>	29

Моруа А.

М 79 Собр. соч. в шести томах. Том 1. Три Дюма. Части I—VII. Пер. с фр. / Сост. и общ. ред. М. Н. Ваксмахера; Вступ. ст. З. И. Кирнозе и В. Н. Пронина.— М.: Пресса, 1992.— 320 с.

ISBN 5—253—00560—9

Андре Моруа (1885—1967) — выдающийся французский писатель, один из признанных мастеров культуры XX века, член Французской Академии, создал за полвека литературной деятельности более полутора ста книг.

В первый том вошел роман «Три Дюма» — художественная биография трех поколений одной французской семьи: наполеоновского генерала, его сына и внука, знаменитых писателей.

М 4703010100—2706 2706—92
080(02)—92

84.4 Фр.

Литературно-художественное издание

МОРУА Андре

Собрание сочинений в шести томах

Том первый

ТРИ ДЮМА

Части I—VII

Составитель

Морис Николаевич Ваксмахер

Редакторы

С. А. Суркова, Г. Ф. Фролова

Оформление художников

А. В. Лепятского, Л. В. Брылева

Художественный редактор

Л. В. Брылев

Технический редактор

К. И. Заботина

ИБ 2706

Сдано в набор 19.11.91. Подписано к печати 02.03.92.

Формат 84×108^{1/32}.

Гарнитура «Академическая». Печать высокая.

Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,43. Уч.-изд. л. 18,90.

Тираж 770 000 экз. Заказ № 952. Цена 10 руб.

Набрано и отпечатано в типографии издательства «Пресса», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

